

МИХАИЛ РИНСКИЙ

ТЯЖЁЛЫЙ XX ВЕК



ТЕЛЬ-АВИВ
2012

Михаил Ринский

ТЯЖЁЛЫЙ XX ВЕК

Эта книга – о XX веке, самом тяжёлом и кровавом в истории человечества и тяжелейшем для семьи автора этой книги. Оба деда Михаила Ринского погибли в погромах. Бабушка вместе с её дочерью и внуками – в нацистской душегубке. Его отец, все дяди и старшие братья воевали. Из шести фронтовиков трое погибли, трое стали инвалидами. Ещё один дядя пропал в магаданских лагерях. Обо всём этом – в захватывающих повестях «Тяжёлый век», «Война глазами мальчишки», в прилагаемых очерках автора, в военных рассказах и повести брата Иосифа Одина. В послевоенный период семье автора и ему самому пришлось немало пережить. Коренной москвич, свидетель и участник событий послевоенных 1940-60-х годов, Михаил Ринский интересно рассказывает о годах «борьбы с космополитизмом» и «дела врачей», о похоронах Сталина и Всемирном фестивале в Москве, о Е. Евтушенко, о российской глубинке. Все повести, очерки и рассказы книги ранее опубликованы в центральных русскоязычных газетах Израиля.

Книга предлагается историкам XX века, очевидцам событий и их детям и внукам, а также широкому кругу читателей.

Текст и фото книги защищены авторскими правами

На обложке - бабушка Хана Ринская, патриарх семьи - погибла в нацистской душегубке вместе с дочерью и внуками

Контактные телефоны автора: +972 (0)54 5529955, +972 (0)3 6161361

e-mail: rinmik@gmail.com mikhael_33@012.net.il

Printed in Tel-Aviv, Israel 2012

Print: Shlomo Levy Ltd. 052-5471060

Оба моих деда погибли в погромах. Бабушка вместе с её дочерью и внуками – в фашистской душегубке. Мой отец, все дяди и старшие братья воевали. Из шести фронтовиков трое погибли на фронте, трое стали инвалидами и преждевременно скончались. Ещё один пропал в магаданских лагерях.

Светлой памяти моих родных - тех, кто воевал и боролся против нацистов и антисемитов всех мастей, и тех, кто погиб от их рук.

Одновременно эта книга адресована нашим потомкам: выросль, окрепнув, интересуется своими корнями, со временем поняв, что «чем выше дерево, тем корни должны быть глубже». Внукам обязательно надо знать, как всё было, чтобы не допустить повторения того, чего больше никогда не должно быть.



ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ СКВОЗЬ СЕРДЦЕ

Судьбы людей поколения войны, история их семей – основная тема творчества Михаила Ринского. Более ста его очерков на эту волнующую тему написаны по устным рассказам героев, их родственников и друзей, иллюстрированы семейными фотографиями и документами участников тех событий, которыми была насыщена история каждой еврейской семьи в России и в Советском Союзе не только во времена войн, но и на протяжении всего тяжёлого XX века. Недаром так и назвал автор свою очередную книгу. Как и предыдущие, она составлена из повестей, очерков, рассказов, опубликованных в русскоязычных газетах Израиля.

Но, в отличие от вышедших ранее, в этой новой книге Михаила Ринского прослеживается судьба его собственной семьи. Она порой полна настоящих трагедий, которые даже в те жестокие периоды выпадали не каждой семье. Но семья Ринских-Одиных, обезглавленная в погромах времён гражданской войны, когда оба деда автора были жестоко убиты, проявила удивительную стойкость. Разбросанные революционным взрывом по разным землям и странам, все ветви семьи продолжали, как могли, поддерживать связь и оказывать помощь друг другу.

Однако автор не пытается представить стойкость семьи, поступки каждого её члена, (например, участие в создании еврейского отряда самообороны), как отдельный героизм. Он подчёркивает массовый характер и трагедий еврейских семей, и их стойкости в тяжёлых обстоятельствах.

Особенно нелегко было выстоять московской ветви Ринских-Одиных, находившейся все 30-е годы прошлого века на грани выживания, а то и просто – изгнания новой советской властью из столицы. Автор подчёркивает, что и в этих обстоятельствах родители его сохраняли достоинство, мало того – не забывали традиций и не порывали с национальными корнями. Отец продолжает не только посещать, но и вести службу в подпольном молельном доме.

Тяжело было вначале и американским эмигранткам – матери, одной из бабушек автора, и четырём сёстрам Одиным, её дочерям, но и они выстояли, а затем их ждала благополучная жизнь. Советских же евреев вновь жестоко сорвал с едва обжитых мест вихрь войны. В нацистской душегубке погибла одна из бабушек, тётя и два маленьких брата Михаила Ринского. Его мать, сестра, родственники и он сам едва выжили в сибирской глухомани.

При всём трагизме событий автор доносит до читателя не только эхо борьбы за выживание, но и дух стойкости, живший в этой семье. И подтверждение тому - участие их всех, от мала до велика, на фронте и в тылу, в том, что обеспечивало и приближало Победу.

Михаил Ринский специально подчёркивает, что в семье Ринских – Одиных не было ни одного мужчины, который бы не воевал в одну из мировых, а то и в обеих мировых войнах - за Россию и за Советский Союз, но одновременно и за свой народ. Среди них и его отец, добровольцем, несмотря на уже непризывной возраст, воевавший и во Вторую мировую. Дядя автора, Моисей Один, кавалерист - один из немногих евреев, награждённых Георгиевским крестом в Первую мировую войну. Другой дядя, Майор Ринский - участник боёв на Халкин-Голе, озере Хасан, погиб во Вторую мировую. В книге – и документальная повесть брата автора Иосифа Одина, воевавшего пулемётчиком. Половина из воевавших мужчин погибла на фронте, другая половина вернулась инвалидами. Книга Михаила Ринского, как и всё его творчество, подтверждает, что евреи не только в полной мере отдавали силы и жизни борьбе против общего нацистского врага, но и сражались на

передовой линии этой борьбы.

Повесть «Война глазами мальчишки», написанная лёгким, доступным языком, где проза перемежается со стихами, как бы погружает читателя в атмосферу сибирского тылового поселка: холод, голод и одновременно - романтика. Чувствуется, что автор пережил всё это лично.

Такое же ощущение лично пережитого и в описании послевоенной обстановки в Москве. Это был период «борьбы с космополитизмом», в которой пострадал отец и которая отравила лучшие юношеские годы Михаила. В то же время, он правдиво рассказывает об послевоенном настрое советской молодёжи, повествует, с каким энтузиазмом сам участвовал во Всемирном фестивале молодёжи. Пишет он и о том, как искренне, не ведая многого, горевал в день смерти Сталина. Два очерка об этих событиях, очевидцем которых был автор, заслуживают особого внимания. Как и очерк, посвящённый Евгению Евтушенко, написанный также на основе лично сохранных автором публикаций и "самиздата" 1960-х годов.

Книга Михаила Ринского «Тяжёлый XX век» - весомое дополнение к его творческому собранию художественно-документальных произведений, безусловно интересных не как пособия для всех изучающих историю России и российских евреев в XX веке, но и как талантливые и честные свидетельства человека, и жившего в те времена, и сохранившего о них семейную память.

Лазарь Данович,
редактор еженедельника "Ветеран и воин"
(приложение к газете "Вести"), в котором
были опубликованы многие произведения
Михаила Ринского

О СЕБЕ И ПО СЕБЕ

вместо предисловия автора.

Начинаю книгу о тяжёлом XX веке на примере истории моей семьи. Точнее – книгу заканчиваю, собирая опубликованное ранее, а это - лохматый ворох очерков, повестей, рассказов о разных этапах и эпизодах жизни моих предков, родных и моей собственной, напечатанных в разное время в разных газетах и журналах. Многое из использованного или полностью вошедшего в книгу можно найти в Интернете – в моём блоге и на различных сайтах, причём опубликованное там порой и без ведома автора.

Мне – 79. Не верится, но приходится считаться. 24 июля 1933 года я появился на свет у моих родителей, незадолго до этого выселенных из столицы в подмосковный тогда городок Перово и в тот год ещё снимавших комнатку в деревянном домике. Отец был меховщиком, мама – простой швей, они приехали в Москву из Украины в гражданскую войну, спасаясь от погромов. Никаких капиталов у них не было, но молодая ещё советская власть всё равно выселила отца из Москвы как частника. Родителям было нелегко, но они и вида не подали: произвели меня, в дополнение к сестре, подвесили в люльке и шутили на своём родном идише.

*Чем еврею горше,
Тем он шутит больше.*

Эту прописную истину я срифмовал на живом примере моих родителей. Оба их отца, моих деда, погибли в погромах, мать отца – в нацистской душегубке. Сам отец едва не погиб на фронтах двух мировых войн, в 1948-м – на Лубянке, а умер в 1954-м от передозировки радиации на «трудфронте», куда его отправили в разгар войны обогащать уран. И до конца дней своих отец шутил, фантазировал, пел. И мама с ним.

Сравнительно недавно, заранее заготавливая «Эпитафию себе», чтобы не напрягать потомков, писал:

*...Я, родившийся в ветхом бараке
На четыре безвестных семьи;*

*Я, проживший в тиши, в полумраке
Безмятежные годы мои...*

А потом была война. Отец, несмотря на свои 50 лет, ушёл добровольцем на фронт. В сентябре 1941-го я пошёл в первый класс, но меньше чем через месяц меня пересадили во второй: «слишком много знал». В ноябре уехали с мамой на восток. Холод и голод сибирской эвакуации, а вслед за тем, как говорили, «страшнее войны»:

*...Я, прошедший сквозь школьные годы
В армячишке с чужого плеча;
Я, наученный вместе с народом
Строить, рушить, терпеть и молчать...*

Терпели и молчали, когда отца вдруг в годы «борьбы с космополитизмом» арестовали неизвестно за что, потом вдруг выпустили, и он вынужден был «на всякий случай» уехать, а мама, сестра-студентка и я, тогда школьник, скрывали это от соседей, сверстников и даже добрых знакомых.

В 1950-м закончил школу. Мечтал пойти в медицинский вслед за сестрой, но, как бы предвидя «дело врачей», тогдашний министр здравоохранения дал ясно понять... Не искушая судьбу, подал документы в Московский транспортный (МИИТ), на трудный, но престижный факультет «Мосты и тоннели» и, как ни странно, успешно сдал и прошёл по жёсткому конкурсу. Потом были тяжёлые, полуголодные, но чрезвычайно интересные годы учёбы и подработок, где удастся. Были летние практики, военные лагеря, работа в экспедициях и стопоездах. Был спорт, соревнования и даже победы. Были стихи в стенгазетах, кружки. Были очереди за самыми дешёвыми билетами на галёрки театров.

В 1955 году окончил институт и совершенно неожиданно был оставлен в Москве, в числе десятка счастливиц из восьми десятков выпускников факультета. Проектировал новые и реконструировал мосты, в том числе крупные, как например через Оку в Горьком, ныне Нижний Новгород. Параллельно с подъёмом по служебной лестнице - хобби: тяга к стихам, прозе, самиздату, бдения в Ленинке и Исторической библиотеках, поэтические семинары. Ну и, конечно, попыт-

ки самовыражения везде, где только можно: от периодики до нового тогда КВН, турпоходов и капустников. Один из активистов на Всемирном фестивале молодёжи 1957 года и Олимпиаде-80, хотя бы из желания поучаствовать в их открытиях и закрытиях. объездил Союз, за кордон не посылали, а сам и не пытался: был «допуск».

Ещё учась на последнем курсе института, познакомился со студенткой-медичкой Ириной, однако наше взаимное влечение, рождение сына Вадима оказались недостаточны для преодоления центробежных сил работы и командировок, увлечений и различных интересов. Но главное – не было своего жилья. Учтя первый горький семейный опыт, согласился сменить профессию мостовика на гражданское проектирование при условии получения квартиры. Личную жизнь пришлось строить сначала. Тамару знал с тяжёлых военных лет. Через год родился сын Александр.

С 1961 года и затем 35 лет подряд - проектирование в Моспроекте застройки магистралей и кварталов Москвы. Интересная работа бок о бок с талантливыми архитекторами над проектами уникальных зданий и комплексов. В должности главного конструктора и главного инженера проектов построил комплексы Марксистской улицы, Строительной академии, Цирковое училище, кварталы Черёмушек и многое другое. И не только в Москве: на БАМе и в Армении, на Кольском полуострове, в Ставропольском крае. Перечень только основного, созданного за эти годы, занимает несколько страниц.

Помните, Данко у Горького: «Что сделаю я для людей?!». Грудь свою по-горьковски не рвал, но порядком сделано: спроектировал и построил в целом город как минимум на полмиллиона жителей, как автор проектов, в том числе уникальных зданий и комплексов. Понятно, разрабатывал проекты не один, а как один из руководителей коллективов Моспроекта. Четыре десятка лет своей работы и всех своих соратников, «сверху» и «снизу», вспоминаю только с самыми добрыми чувствами.

Естественно, - были премии, дипломы, медали... Присуждали по разнарядке, с ограничением коллективов конкурсан-

тов в каждой специальности по поголовью, и, бывало, уступал свои заслуженные по праву места тем, кто их жаждал. Уступал не так по доброте, как по недомыслию: за эти звания и поныне получал бы немалую надбавку к российской пенсии. «По совместительству» преподавал на кафедрах конструкций московских Архитектурного и Строительного институтов.

Интереснейшие командировки и туристские бродяжничества по самым разным регионам страны, но не за кордон: был допуск, значит – не положено. О психологии властей в отношении «невъездных» уже тогда писал в басне:

*...А что поют? Какие песни?
Вдруг не про то? Вдруг не о том?
Да разве можно поручиться?
Иной козе глядишь в глаза –
Коза на рыльце – как коза,
А у самой в душе – волчица!...*

После «окна в Европу» - Всемирного фестиваля 1957 года - кумиром стали шестидесятники. Рост самосознания. Самиздат. Вечера в Союзах литераторов, журналистов, архитекторов, встречи в Домах работников искусств, актёров, учёных, в знаменитом Политехническом. Новогодние и пасхальные празднества у Большой синагоги. В результате – мотивы в стихах:

*«Давай уедем куда-нибудь,
Куда – не знаю, скажу по чести...»*

Когда же съездил всё-таки в Финляндию и Швецию, ещё сильнее потянуло к свободе.

И уже не так хотелось работать хотя и интересно, но «на дядю», когда твоим творческим, но нелёгким трудом созданное способствует возвеличению и без того уже титулованной элиты. А когда многие «поехали», в том числе старший сын Вадим с семьёй и близкие друзья, написал, пока ещё не о себе – о них:

*Уезжают близкие.
Слёзы – как в войну.
Едут в сионистскую
Странную страну...*

Друзья в Израиле прочли, показали авторитетнейшей среди русскоязычных в этой стране Шуламит Шалит, и с её небольшой, но ёмкой статьёй об авторе мой довольно про-
странный стих был опубликован в ведущей в те годы русско-
язычной газете «Наша страна», и тут же с доброжелательным юмором прокомментирован «Бесэдером», юмористическим приложением к газете «Вести». Так что в 1993 году, приехав туристом, я уже имел «творческие корни» в стране. И ещё через три года, не ощущая понимания со стороны младше-
го сына Александра и его мамы Тамары, но тепло принятый друзьями, опередившими меня, я со скромным сорокакило-
граммовым багажом прилетел на «постоянное местожитель-
ство», полный энтузиазма, творческих и профессиональных планов.

Но, к сожалению, никак не поспособствовали мне ни пу-
бликации, ни весомые трудовые и научные рекомендации, когда я приехал в 1996-м как новый репатриант. Впрочем, сам виноват: иврит, что называется, «не пошёл», а значит и про-
ектная работа. Зато в «Новостях недели» меня приютили и охотно печатали Владимир Добин (зихорона ле-враха – свет-
лой памяти) и Леонид Школьник. Правда, когда я принёс та-
кое, навеянное профессиональной невестребованностью:

*«Когда впилась осколком в тело
Неполноценность бытия...»*

Владимир, тогда ещё не ответственный редактор, резон-
но заметил:

- Ты что, хочешь, чтобы меня уволили?

Убедившись в «свободе слова» в нашем образце демокра-
тии, я поискал себе применение «на стороне», издал книжку
стихов и лишь в середине 2004-го вновь предложил себя. За

последние лет шесть опубликовал две повести, свыше ста пятидесяти очерков, свыше полусотни статей, стихи, басни и пару сотен юмористических «мелочей». Много публикаций и в иностранной периодике. На моих блогах и на чужих сайтах – десятки моих очерков. В Израиле изданы шесть моих книг.

За ближневосточный период своей жизни объездил Европу, западную и восточную, а недавно побывал в Китае и в США. Под впечатлением опубликовал десятка два «географических» очерков.

Итак, сделано за 79 лет немало. Но главное моё наследие – мои отличные сыновья и их дети, мои внуки. Я от души благодарен Ире (мир праху её), маме старшего сына Вадима, и Тамаре, маме младшего – Александра. Дети и внуки уже «на собственных ногах». Я очень рад тому, что оба моих сына, Вадим и Александр, ныне трудятся бок о бок.

Я благодарю судьбу за то, что со мной рядом Лия, друг ещё с молодых лет, соратник во всех начинаниях и планах. А их – ещё минимум на полвека.

* * *

Эта – седьмая – книга посвящена тяжёлому XX веку моей семьи. Книга охватывает её историю с начала XX века до начала его 60-х годов. в том числе и период моей жизни до тех же 60-х, то есть всего-то до 27-летнего моего возраста. Так что если я продолжу свои воспоминания, – мне ещё писать и писать о 35 годах жизни в Москве и 15-ти – на сегодня – в Израиле. В книгу включены ранее опубликованные две повести и очерки. Первая часть книги – на основе повести «Тяжёлый век»; при этом из неё события, относящиеся к периоду Второй мировой войны, перенесены в часть 2-ю книги, основанную на повести «Война глазами мальчишки». Послевоенным годам посвящена часть 3-я книги, также составленная из очерков, отражающих пятнадцатилетний период, насыщенный важными событиями в жизни страны, повлиявшими в немалой степени и на жизнь семьи и мою.

В четвёртой части этой книги я частично выхожу за 50-е годы несколькими своими очерками, чтобы приоткрыть двери навстречу потеплению российского климата в 60-х годах. И

чтобы не останавливать на полпути повествование об истории нашей семейной ветви Одиных: несправедливо прерывать на полуслове рассказ о них в ожидании, пока я буду вспоминать подробности своей непростой жизненной истории. Здесь же, в четвёртой части, считаю необходимым приложить отличные, высокого литературного уровня военные рассказы и повесть моего двоюродного брата Иосифа Одина.

Читатели, возможно, обратят внимание на короткие повторы, изредка встречающиеся в разных повестях и очерках книги. Они не случайны: очерки публиковались в разные годы, многие – в разных газетах, и для цельности и законченности каждой главы, как самостоятельного события или периода, необходимо было познакомить читателей с теми и иными эпизодами.

Автор глубоко благодарен главному редактору «Новостей недели» Леониду Белоцерковскому и редакторам Геннадию и Владимиру Плетинским, ответственному редактору газеты «Вести» Лазарю Дановичу и редактору Даниилу Давидзону за публикацию в газетах повестей и очерков, составивших эту книгу, и ценные правки при их редактировании.

Особая благодарность Лазарю Дановичу за предисловие к книге «Тяжёлый XX век».

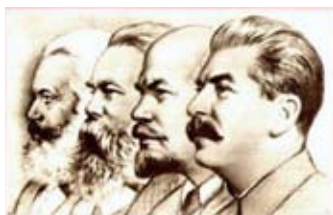
В заключение хочется отметить чёткую, качественную работу издательской фирмы «Shlomo Levy Ltd» и поблагодарить лично Шломо Леви и его дочь, прекрасную компьютерщицу Ревиталь Авив, с которой автор выпускает уже пятую книгу.

Михаил Ринский

Часть 1

ТЯЖЁЛЫЙ ВЕК

1900 - 1941



В УКРАИНСКОЙ ГЛУХОМАНИ

Казалось бы, что общего между двумя семьями: богатого лесоторговца Моисея Ринского и скромного переплётчика Иосифа Одина. Разве то, что обе они – еврейские и многодетные. И ещё то, что у них одна была общая забота: в глухом казачьем городке Чигирине местным евреям, хотя их и немало было, всегда приходилось быть начеку.

Куда только ни забрасывало еврея ещё в конце XIX столетия, во времена черты оседлости. С Бердичевом, Черновцами, Жмеринкой – понятно: там наших было столько, что хоть Еврейскую автономию провозглашай. Но какими ветрами занесло евреев, и немало, в небольшой городок Чигирин сначала Киевской, а позднее Черкасской губернии, сейчас вряд ли кто объяснит. И по сей день двенадцатитысячный городок на речке Тясмин, километрах в сорока от ближайшей железнодорожной станции, без единого мало-мальски крупного заводишка. А в начале XX века местным казакам если и было чем гордиться, так тем, что ещё в XVII веке Чигирин был столицей гетманского государства, резиденцией самого Богдана Хмельницкого, и он правил здесь целых сорок лет, пока в 1678 году и дворец его, и церковь, и ратуша, да и сам город не были разрушены турецко-татарским войском. А то, что освободил гетман город с помощью русского воинства, не все здесь любили вспоминать. А ещё событием в жизни городка, уже на памяти Моисея Ринского, было то, что он едва не стал центром крупного крестьянского восстания, но заговор народников, сочинивших поддельный царский манифест, раскрыли. Любые бунтарские события отзывались и на евреях. В тот раз обошлось.

СЕМЬЯ ЛЕСОТОРГОВЦА

В этом городке Чигирине умудрялся безбедно жить и делать неплохие гешефты лесоторговец Моисей Ринский. Дом у него был большой и крепкий, семья зажиточная, хотя и большая: каждый год его Хана добавляла кого-нибудь, а не раз и по двойне, а было – и тройню. Но на всех, данкн Гот

- слава Богу, хватало. И ещё оставалось, чтобы ладить со всеми, с кем надо: Моисея Ринского уважали и управляющие окружающих имений, у которых он скупал лес и пушнину, и в городских кругах, хотя местная власть и казачьё не раз напоминали порой жиду, кто он и кто они, и чьи они потомки - всё того же Хмельницкого.

А в общем-то евреи в украинских местечках так привыкли, что нет-нет, да их то там, то здесь «потрясут», что у Моисея даже статья расходов была предусмотрена на взятки да откупы. Благодаря этому семья была сравнительно защищена, поэтому и настроение в семье было нормальное. Конфликты разрешались быстро: положительно влияла теща Хая, которую все дети очень любили, да и сам Моисей её уважал:

Мэхытэнэстэ майнэ,

Мэхытэнэстэ гетрайе...

- *Моя тещенька, моя дорогая...* – пел зять ей одну из любимых в семье песен.

И жена его Хана была не из капризных, хотя приходилось ей нелегко: всё-таки не так-то просто женщине рожать ежегодно, а всего 22 ребёнка. Но две трети из них умерли по разным причинам – эпидемии тогда свирепствовали, да и рождались не все здоровыми. В конце концов, до самостоятельного возраста удалось довести семерых: сыновей Мордко (Матвея, или Мотэлэ, как его звали в детстве), Иосифа и Меера и дочерей Соню, Марьям, Рахель и Симу.

Хане, беременной большую часть времени, трудно было управиться с большой семьёй. Но и она, и сам Моисей были людьми энергичными и не только справлялись с хозяйством, но любили и танцевать, и особенно петь еврейские, украинские и русские песни. Один эпизод, передаваемый в семье из поколения в поколение. На свадьбе у соседей Хана танцевала наравне со всеми, и вдруг - нет её. А через полчаса – весть: Хана родила очередную двойню! Жизнерадостность родителей передавалась детям: они часто устраивали в доме самодельные концерты, и это поощрялось.

Семья была религиозная, но не слишком: кашерность соблюдали, но праздники – только основные. Моисей сам читал

и хорошо пел молитвы не хуже иного кантора и научил этому мальчиков. Как и отец, они знали и идиш, и иврит. В доме говорили на идише и хорошем русском, так что когда многие из детей со временем оказались в Москве, проблем с акцентом у них не было. Родители старались дать детям хорошее образование. В доме любили книги, была неплохая библиотека. Книги разрешали давать читать и детям из других еврейских семей, в том числе и небогатых, с которыми дети Ринских учились или просто общались – не так уж много евреев было в городке, и все знали друг друга.

Кроме того, отец приобщал старшего сына Матвея к своим делам, готовя его в свои преемники. Посвящал сына в искусство лесоторговли и пушного дела, которым также занимался. Матвей так и проработает всю жизнь хорошим специалистом по пушнине. А Хана, прекрасная рукодельница, передала своё искусство дочерям.

СЕМЬЯ ПЕРЕПЛЁТЧИКА

Придёт время, и подружатся дети Ринских со своими



Моисей Один - юноша

сверстниками из такой же многодетной семьи переплётчика Иосифа Одина и его жены Розы. Но пока – начало века, и так же как Хана Ринская, Роза Одина рождает одного ребёнка за другим, но по одиночке и всё больше девочек. Последней семья прирастёт в 1907 году, а всего Иосифу и Розе посчастливится вывести в люди восьмерых: только двух будущих мужчин – Моисея и Шимона, но зато шесть девушек – Басю, Женю, Соню, Риву, Фриду и Феню.

Конечно, семья переплётчика Одина по своим возможностям не могла сравниться с семьёй солидного лесоторговца. В небольшом городке не так много работы было для Иосифа. Так что и дом у него был тесен для большой семьи, и ели всё самое простое, а порой просто голодно было. К тому же Иосиф и Роза, люди религиозные, изо всех сил старались соблюдать кашрут, а при их возможностях это было нелегко. Зато через руки отличного мастера своего дела проходили интереснейшие книги, и дети с малых лет приобщались к чтению. Немало попадало и еврейских религиозных книг на иврите и на идише, и в доме родители говорили на идише, и в хедере учили на идише, так что дети знали идиш как родной. Но Иосиф и Роза следили за тем, чтобы дети успевали и по другим предметам, прежде всего – по русскому. Ещё раз забегая вперёд, хочется отметить, что Рива, например, лет в восемнадцать уехавшая в Америку, до самой кончины - до 97-летнего возраста - прекрасно писала по-русски.

Думая о завтрашнем дне своих девочек, Роза учила всех их швейному делу и домоводству. Старшие девочки помогали и отцу в переплётном деле и, кроме того, ухаживали за младшими. Все эти "науки" им пригодятся в жизни.

«ДЭР ИДИШЕР БАНДИТ»

Из детей Иосифа и Розы Одиных сын Моисей был самым старшим и самым непутёвым. Отец его иначе как «бандитом» не называл – полушутя. Начать с того, что был он плечистым, высоким, сильным, и с виду – гой гоем. И с ребятами-казаками своего украинского городка Чигирина дружбу водил, а в драке – постоять за себя мог. Надеждой он был у отца: всего два сына, остальные – девчонки, да к тому же второй сын Шимон (Семён) с малых лет чахоточный, слабый – какой из него помощник. У Шимона – туберкулёз позвоночника. Толковый, смыслённый парень, но болезнь сгибает его всё больше. Так что первым помощником отец прочил Моисея.

И вот этот непутёвый сын выкинул номер – «гемахт а штык»: в пятнадцать лет тайком уехал с друзьями в Одес-



*Моисей Один - Георгиевский
кавалер*

су. Там устроились в порту простыми грузчиками. Еврейский парень в такой компании мало чем отличался от остальных и пил с ними на равных. Правда, оставался верным семье, присылал деньги.

Кто знает, как бы сложилась судьба Моисея, не попади он с друзьями в политическую историю. При подготовке восстания на броненосце «Потёмкин» и затем во время событий 1905 года революционеры использовали молодых портовиков как связных, а когда восстание было подавлено, чтобы спасти ребят от ареста, их устроили на пароходы, направлявшиеся на Даль-

ний Восток. Моисея - помощником кочегара.

Прошло немало времени, прежде чем ему удалось связаться с семьёй. А между тем уже подросток второй сын Семён, и, как тогда требовал закон, один из сыновей должен был служить в армии. Семёну, несмотря на его болезнь, грозил призыв и, скорей всего, предстояла многолетняя служба, которая окончательно подорвала бы его здоровье. Отец написал «бандиту», чтобы он немедленно, любыми путями возвращался домой. Каким Моисей не был непутёвым, но он был еврейским сыном, воспитанным в религиозных традициях, и ослушаться отца не мог. К тому же его мучила совесть: он знал, что в его отсутствие в 1905 году волна погромов на юге России докатилась и до Чигирина, и только по счастью не пострадали семьи Одиных и Ринских. А в семье его, кро-

ме отца, защитников не было. Больной Шимон – не в счёт. «Бандит» вернулся, и в первый же призыв его «забрили» в кавалерию. Немало евреев служили в царской армии, но в кавалерии их было наперечёт. А тут как раз началась Первая мировая война. Но Моисей ничуть не уступал даже казакам, всю юность готовившимся в лихие рубаки. Недаром заслужил еврейский «бандит» орден - Георгиевский крест.

Между тем, больной брат Шимон ещё до начала Первой мировой войны уехал лечиться в Америку, подключившись к группе еврейских эмигрантов – последователей движения «Ам Олам». Его здоровье ухудшалось с каждым днём, рос горб, всё более сгибавший спину. Родственники из Америки действительно звали, писали, что против его болезни есть действенные лекарства. Материально Шимону помогли еврейские организации Одессы, помогли и американские родственники. Ещё в Чигирине он серьёзно изучал английский язык.

Уезжали по железной дороге через пограничную станцию Броды и далее – из одного из северных европейских портов на пароходе. В порту Нью-Йорка эмигрантов долго проверяли. Наконец, Шимон оказался у родственников в Гарлеме. В США ему повезло: помогли устроиться в контору одной из фирм, смывлённый парень быстро освоил английский и таинства бухгалтерии. Лекарства помогли победить болезнь, по крайней мере – уговорить её. Через три года Шимон женился, и им с Кларой предстоит ещё много лет: Шимон скончается только в 1981 году. Детей у них не будет.

ПЕРВАЯ ВОЙНА МАТВЕЯ

Когда началась Первая мировая война, на фронт ушёл и старший из сыновей Ринских Матвей. К 1914 году младшие сыновья, Иосиф и Меер, были ещё детьми. До войны отцу удавалось откупаться и оттягивать призыв старшего сына, но с началом войны 23-летнему Матвею и самому не хотелось лишних наветов на свою семью. Конечно, в пехотных окопах ему пришлось куда труднее, чем Моисею Одину в привилеги-

рованной кавалерии. Отец не хотел отпускать своего помощника и преемника, но Матвей настоял.

Ещё до его отъезда в обеих семьях начали замечать: молоденькая Бася Одина часто заглядывает к Ринским за книжками, и уж очень приветлив с нею Матвей. Как-то папа, многозначительно глядя на сына, даже пропел ему, перефразируя известную песню:

*И лоз мир зих цу кишн:
Ди мамэ мэг шэн вын –
А Мотл от шэн хасэнэ гзат...*

- Давай расцелуемся: мама может уже знать – Мотэлэ женится...

Из дальнейшего содержания песни следовал намёк, что, мол, у тебя, сынок, ещё ничего своего, так что не спеши. А призыв в армию тем более отложил решение вопроса. Но объяснение молодых состоялось, и Бася Матвея дождалась. Но пока ему предстоял отъезд. Вскоре от солдата перестали приходиться письма.

В начале 1917 года рота Матвея, в обстановке неразберихи революционных событий, попала в окружение и практически без боя была сдана командирами в плен противнику, войска которого уже тоже были к тому времени порядком деморализованы, и поэтому к пленным относились даже с сочувствием. Фронт, плен, Германия многому научили Матвея. Работая у педантичных, аккуратных и законопослушных немцев – бюргеров и фермеров, он видел разницу в образе жизни Запада и Востока Европы. К нему, еврею, в те годы в Германии относились не хуже, чем на родине – Украине, хотя и здесь «йуден» звучало



Матвей Ринский
(фото молодых лет не сохранились)

чаще имён. Матвей видел революционную Германию и Веймарскую республику и затем, после версальской капитуляции немцев отпущенный домой, долго добираясь через Россию, всё ещё охваченную гражданской войной, невольно сравнивал цивилизованную германскую смуту с российским беспределом. Если бы он знал, какой станет Германия всего через полтора десятка лет.

Лишь в 1917-м семья узнала, что Матвей, в числе многих, оказался в немецком плену. Так он больше отца и не увидит...

ОТ МИРОВОЙ К ГРАЖДАНСКОЙ

А в это время власть всё расшатывало. Казачья вольница – те, кто оставался дома или вернулся с фронта, и левые и правые, – всё больше распоясывались. И уже после февраля 1917 года Моисею и Хане стало совсем беспокойно. Но – куда было сниматься, где и как он мог бы устроиться и начать дело? Ничего другого он уже по возрасту освоить не мог. Здесь был свой дом, скарб, земля. Здесь ещё недавно местные власти клялись, что не дадут его в обиду. А теперь они и сами не знали, что будет завтра.

В октябре – новый переворот. Провозгласили равенство народов, декрет о мире. Но сразу вслед за этим – белые, красные, Петлюра и просто бандиты. И каждый если не убивает, то чего-то требует. Откупаться всё трудней: и поставщики, и заказчики разбежались, а склады «экспроприировали», а точнее – грабили и красные, и белые, и банды, сменявшие друг друга. Очень опасались, что призовут юных Иосифа и Меера Ринских в Красную армию. Уже тогда появилась песня на мотив известной русской «Не ходил бы ты, сынок, во солдаты»:

*Вожэ гайсту Йосл ят, Йосл шойтэ?
Их гай берн а солдат бай ди ройтэ.
Эс фэлд дем ройтн ныт кайн бикс, кайн солдатн;
Эс веет он дир дэм большевик гурнышт шатн.*

*Хасэнэ кенст ду ныт аф Нахумэ.
Ун нох вус тойг дир ди мельхумэ.*

- Куда же ты идёшь, Йоселе глупый? - Я иду стать солдатом у красных. - Нет недостатка у красных ни в винтовках, ни в солдатах; без тебя большевикам ничто не повредит. Не сможешь жениться на Нахуме. И зачем тебе эта война?

У Иосифа и Розы Одиных сыновей к этому времени в доме не было, но это было и плохо: Иосиф оставался в доме единственным мужчиной. Теперь он уже сожалел, что хотя и вроде бы согласился на призывы Шимона из-за океана, не слишком торопился со сбором документов для отъезда. А потом грянула война, границы были закрыты, простому бедному еврею, да ещё с семьёю женщинами, покинуть страну стало невозможно.

Теперь его семья была беззащитна перед любым бандитским налётом. И откупаться было просто нечем. Наоборот, надежда была на то, что всем известно было в округе: у Одиных в доме грабить было нечего. Большую тревогу у родителей вызывало как раз то, что в нормальных условиях должно было бы радовать: красивые дочки подрастали у них, и уж больно откровенно присматривался к ним местный молодняк. И некому было постоять за них: что мог противопоставить единственный пожилой еврей? Тревожно...

К лету 1919 года становилось всё ясней превосходство красных, но пока в больших городах и вдоль основных дорог. А такие отдалённые и маленькие, как Чигирин, всё ещё были во власти стихии.

ТРАГЕДИЯ

И вот однажды нагрянула очередная «самостийная» черносотенная банда. Как уже повелось, Моисей Ринский отправил всю семью в землянку в соседнем лесу, а сам остался спасать дом от грабежа и «красного петуха», надеясь и на сей раз откупиться. Но эти бандиты убивали всех попадавших под

их сабли мужчин – евреев, грабили без разбора еврейские дома и насиловали многих из остававшихся женщин и даже девочек. Когда на следующий день, после того как пыль от их пьяной кавалькады растаяла и Хана с детьми вернулась домой, у порога их разграбленного дома они увидели тело зарубленного отца на красной от запёкшейся крови дорожке.

Почти в то же время трагедия произошла и в семье Одиных. Пьяные бандиты ворвались в дом. Часть девушек успела убежать. Остальных они заперли, оставив одну младшенькую, двенадцатилетнюю девочку, и изнасиловали её. Когда отец с проклятиями бросился на них, они хладнокровно застрелили его.

Такое двойное горе Роза пережила очень тяжело. Немного придя в себя, она приняла твёрдое решение уехать из города. Но куда? В своих письмах из Америки Шимон настойчиво продолжал призывать семью в Нью-Йорк, но и ей, и Иосифу это казалось несбыточным. Теперь же доведённая до отчаяния мать быстро приняла решение. Часть денег занял и переслал знакомым в Москву Шимон. Помогла сионистская организация, формировавшая в Москве группы беженцев.

Бася решила дожидаться брата Моисея и жениха Матвея Ринского, а Женя не хотела оставить сестру одну. Роза согласилась уехать без них с условием, что все они вслед за матерью и сёстрами приедут в США. И уже в 1920 году Роза с четырьмя младшими дочками выехала поездом, а затем па-



Сёстры Одины: Бася, Женя, Рива, Фрида, Феня. 1909 год

роходом в США, где их встретил Шимон.

После трагической гибели Моисея Ринского Хана тоже решила вместе с детьми покинуть этот город. После ужасной смерти мужа трудно было узнать эту прежде такую весёлую, полную жизни, красивую женщину. Теперь все заботы в доме взяла на себя старшая дочь Соня. Семья ждала возвращения из плена Матвея.

ЦУЗАМЭН - ВМЕСТЕ

Воинская часть, в которой служил Моисей, оказалась одной из немногих, дисциплинированно державших границу и не разбежавшихся по домам в революционные годы, хотя тоже дезертировали многие. Моисей считал, что негоже еврею давать повод сослуживцам-антисемитам для лишних пересудов и оставался в строю. Лишь после капитуляции Германии он попутными эшелонами вернулся в Чигирин.

Дома Моисей Один застал только двух сестёр: Басю и Женю. Он не знал о трагических погромных событиях, убийстве отца и изнасиловании бандитами его двенадцатилетней сестрёнки. Не знал и о том, что мать Роза с четырьмя его сёстрами уехала в Америку.

Можно представить себе реакцию этого сильного человека, провоевавшего столько лет за Россию, бок о бок с братьями тех, кто так жестоко расправился с его семьёй. Больших усилий стоило сёстрам и друзьям удержать его от немедленной безрассудной мести, которая могла бы привести к новым жертвам в семье и среди евреев города. Но неизбывная боль осталась в его душе на всю жизнь.

Вслед за Моисеем Одиным вернулся домой Матвей Ринский. Так же, как и его старший друг, Матвей уже не застал в живых отца, зарубленного шашкой погромщиками банды Зелёного. В родном доме ещё жили убитая горем мать, сёстры и братья, готовившиеся к переезду в Кременчуг: после трагической смерти мужа Хана не могла и не хотела оставаться в этом городе и в этом доме.

Трагедия родного дома окончательно убедила Матвея:

мать права, надо уезжать из этого черносотенного края, менять этот образ жизни, весь её уклад. Так же были настроены и вся его семья, и друзья. Бася Одина при первой же встрече посвятила Матвея в их семейный «американский» план, в котором он уже рассматривался, как член и её семьи. К тому времени сблизились и Моисей Один с сестрой Матвея Марьям Ринской.

Ещё недавно можно было свободно эмигрировать из России. Теперь советские власти разрешали уже только воссоединение близких родственников, которых у Ринских в США не было. Матвей и Марьям Ринские могли вместе с ними рассчитывать на выезд, только став членами семьи Одиных, и лишь затем прислать вызов своим. Поэтому Матвей и Марьям остались в доме, а мама Хана Ринская с тремя дочерьми - невестами и двумя сыновьями – подростками уехали в Кременчуг, и вскоре там старшая из сестёр Соня вышла замуж за Соломона Штеермана, человека состоятельного, владельца магазинов.

Оставшихся в Чигирине Ринских и Одиных объединила не только взаимная любовь. Смерть отцов – жертв погромов, постоянная угроза новых налётов, ненависть к черносотенцам и желание дать им отпор – всё это толкнуло Моисея и Матвея к созданию из еврейской молодёжи подпольного отряда самообороны. Для них примером были подобные отряды, существовавшие ещё в период погромов 1905 года и созданные



Моисей Один в 1-ю Мировую войну.

уже в гражданскую войну во многих городах и местечках бывшей черты оседлости.

Моисей, как наиболее опытный, кавалерист, георгиевский кавалер, которого уважали и побаивались и местные молодые казаки, возглавил отряд. Матвей стал его правой рукой. Конечно, всё держалось в строгом секрете от местных властей и казаков: узнай бандиты, и без того провозглашавшие лозунг: «Бей жидов», о создании еврейского вооружённого отряда, они бы получили лишний хороший предлог для уничтожения этого «жидовского гнезда». А банды Зелёного, «гулявшие» в их краях, озверевшие от постоянного преследования Красной армией, при своих более редких, но более яростных набегах вырезали теперь поголовно и новую власть, и всех евреев, не успевших укрыться в безопасном месте. Проблема была и с оружием: боевое огнестрельное было не у всех бывших фронтовиков, остальное - самоделки-берданки. Так что отряд мог противостоять только местным хулиганам, да и то не выдавая своей организованности. Моисею и ребятам удалось заставить себя уважать новых хозяев – красных, которые к тому времени начали укрепляться и постепенно одолевать бандитов. Иногда отряд помогал в этом властям, но как бы каждый в одиночку.

В МОСКВЕ

А тем временем Моисей с Марьям и Матвей с Басей оформили свои отношения, и в сентябре 1923 года Марьям родила первенца, в честь погибшего отца Моисея названного Иосифом. Надо сказать, что мальчики – первенцы всех братьев и сестёр Одиных, в России и Америке, получают имя Иосиф в честь деда. Исключение – сын в семье Матвея и Баси, которого назовут в память убиенного Моисея Ринского.

К концу года закончили оформление документов, собрали деньги на дорогу, продав дома и всё, что можно было из двух хозяйств. И лишь в начале 1924 года наконец-то выехали в Москву двумя семьями, и с ними сестра Одиных Женя.

Приехав в Москву, подали документы на оформление виз.

Но им отчаянно не повезло: умер В. Ленин, и буквально через считанные дни советские власти захлопнули ворота перед эмигрантами. Да и США ограничили их приём. Пришлось молодым Ринским и Одиным на ходу менять свои жизненные планы.

Вообще-то выбора у них не было: о возвращении назад не могло быть и речи. Оставалось только обосноваться в Москве, тем более, что в те годы жизнь здесь улучшалась куда быстрее, чем где бы то ни было на Руси. Хотя и Москва оставалась ещё полуголодной и безработной, полной празднующихся бывших "красных", "белых" и просто бандитов, авантюристов и беженцев, нищих и беспризорных. И всё же начатая ещё в 1921 году новая экономическая политика – НЭП – давала свои плоды. Поощрялось мелкое предпринимательство. Открывались частные предприятия, мастерские. Да и крупные заводы восстанавливались и строились, в том числе и с участием иностранцев. Так что для энергичных уже была работа, и были молодость и оптимизм.

Сняли комнаты в Замоскворечье, в районе Серпуховки, недалеко друг от друга. Моисей устроился на химзавод, а Марьям, связанная маленьким Иосифом, подрабатывала дома – она была искусной рукодельницей. Одновременно она как-то умудрялась и учиться: окончила курсы и работала бухгалтером.

Матвей занялся торговлей, в основном пушниной, к чему его готовил ещё покойный отец. Бася и Женя стали швеями, также используя ещё чигиринский опыт. В этом деле особенно преуспела Женя: со временем она стала отличной портнихой и за счёт этого практически всю жизнь прожила безбедно. Молодая красавица недолго ютилась в тесных съёмных комнатухах брата и сестры: вскоре она вышла замуж за владельца магазина Ушера Заславского.

Уже в 1925 году в семье Заславских родился тоже Иосиф, а в семье Ринских – дочурка Рая. Но Одины снова вырвались вперёд в 1927-м, произведя на свет девочку Хаю – в честь мудрой прабабушки. В быту, правда, привилось к ней имя Клара.

В КОММУНАЛКАХ И ПОДВАЛАХ

После революционной клоаки потребовались годы на то, чтобы даже в условиях НЭПа москвичи стали робко одеваться в меха. Робко, потому что раз шубка, значит – буржуи. Да и жульё в подворотне может вежливо предложить снять. И всё же со временем – данкн Гот – спасибо Богу - у Матвея Ринского дело пошло. Впроголодь уже не жили, но позволить себе снять лучшее жильё, чем 12-метровая комнатуха в общей квартире с пятью хозяйками и пятью керосинками в кухне – об этом пока не мечтали. Хотя Басе, с её ревматизмом, да и маленькой Раечке не помешала бы комната посуше и потеплей.

Хорошо ещё, что в квартире среди соседей не было явных антисемитов и дебоширов. Ринские жили дружно с соседями, тем более, что Матвей с его образованием гимназиста, хорошим русским и почерком, помогал соседям писать бумаги, а Бася никогда не отказывала в просьбе подкоротить или выпустить брючки или платице детям. То, что родители в их семьях дали им хороший русский, важно было и тем, что Ринские и Одины в Москве говорили практически без акцента. Между собой дома по большей части говорили на идише. В общем, Матвею и Басе Москва и жизнь их в конце 20-х годов была если не в радость, то, после пережитого, и не в тягость.

Куда хуже было положение у Одиных. К сожалению, после родов Марьям тяжело заболела: у неё обнаружился ревматический порок сердца, который в те годы не поддавался лечению. Главным виновником её болезни были те тяжёлые условия, в которых жила семья: небольшая комната в сыром подвале, где по стенам стекали капли воды, сырая и холодная, без всяких удобств. Вот и сын Иосиф в этой обстановке заболел ревматизмом.

В то время многие жили так в перенаселённой Москве с вконец изношенным жильём. Не принято было жаловаться. Мало того: Одины ещё и пригласили из Кременчуга одного из младших братьев Марьям и Матвея – Иосифа Ринского,

который некоторое время, пока не устроился, ночевал у них. А в это время, в начале 30-х годов, Марьям уже была тяжело больна, она скончалась в 1932 году. Ухаживать за двумя детьми приехала из Кременчуга её младшая сестра Рахель. После смерти Марьям она фактически заменила Иосифу и Кларе мать, а позднее Моисей женился на Рахели.

Только в 1938 году, в связи со сносом домов на Серпуховке, семья Одиных получила – о, радость! – в Покровском-Глебово под Москвой 14-метровую комнату в коммунальной квартире на втором этаже барака, построенного когда-то для строителей канала Москва – Волга. Комната, конечно, была тесновата для четверых, но зато сухая и светлая – мечта! Такие были критерии в те времена.

МОСКВА, НЭП, 1929-й. ОДИН ВЕЧЕР СЕМЬИ

Стук отца они узнавали сразу. Раечка тут же подскочила к двери и, потянувшись, скинула крючок: папа специально переделал его пониже, чтобы она, уже большая – пятый год! – могла сама открывать.

- Па-па!

Матвей прикрыл дверь, поставил портфель и поднял дочь:

- Ну, шолэм-алэйхэм, – привычной скороговоркой поздоровался, поцеловал Рэйзэлэ и посадил на диван. Бася закончила строчку, остановила машину, сняла ногу с педали и, отодвинув стул, встала. Муж вошёл с улыбкой, а это было далеко не всегда.

В первые «московские» годы у него не так уж много было поводов для улыбок. Но в последнее время, аданк Гот - спасибо Богу, с улучшением жизни в Москве, теперь – столицы, у меховщика Матвея работы прибавилось. К тому же завоевал, наконец, авторитет у коллег, появилась клиентура, обращавшаяся именно к нему. Совсем с другим настроением вечером возвращаешься домой. Бася так любила, когда он, приходя, как-то по-своему, немного с юмором, улыбался – как будто

вот сейчас отпустит на идише очередную шутку или тихонько пропоёт.

Не отходя от двери, поцеловал жену, снял пиджак и повесил его на плечики, растянул и снял галстук. Галоши с туфлями заняли свою ячейку вместо тапочек. Над аккуратностью Моти по-доброму подтрунивала вся мишпоха – семья. Любое дело - по порядку, обстоятельно. Взял полотенце, пошёл умываться – только бы соседи не заняли ванну надолго. Можно было бы руки помыть в кухне, но это – не для него.

В кухне дэр шохн – сосед Матвей Ринский вообще старался не появляться: не в традициях мужчин его народа и его дома, тем более, что в общей кухне пяти семей - пять столов, пять полок, пять керосинок, пять хозяек... В кухню пошла Бася – разогреть обед мужу. Украинский борщ почти не покидал их меню, разве что в праздники – бульоны да в жару – холодные борщи. Конечно, это был не тот борщ, не чигиринский: и овощи не те, потерявшие по дороге к столице свежесть, да и состав не тот, не всегда всё купишь, а то и не по карману. Главное – чтобы самое необходимое: капуста, картошка, свёкла, лук, если повезёт – и морковка. Мясо – не всегда: то мяса нет, то денег, а то и того, и другого. Правда, в последнее время Матвей стал приносить больше, да и сама Бася, как девочка подросла и пошла в детсад, начала подрабатывать – брать швейную работу на дом, но не всегда на фабрике есть такая работа.

Принесла кастрюльку в комнату, приготовила всё к столу. Сами они с Раечкой ели по своему расписанию: Мотя часто задерживался, если была работа. Вот и сегодня припозднился. Матвей между тем из своего огромного кожаного портфеля, для солидности с ремнями впереди, извлекал «вещественные доказательства» относительного материального благополучия, завернутые в газету: ливерную колбасу,



Бася Одина (фото
молодых лет не
сохранились)



Рая Ринская, Иосиф и Клара Одины

колбасный сыр... Затем – свежую газету «Известия». Раечка, внимательно следившая за руками отца, уже было разочарованно отвернулась, когда услышала:

- И нашей Рэйзэлэ – ойх а бисэлэ - тоже немного.

Откуда-то со дна всё того же «домашнего» отделения портфеля папа достал пакетик, скрученный воронкой тоже из газеты, только более интересной газеты, потому что в пакетике оказалось сразу несколько мармеладок!

- Мотэлэ, вус а ёнтэв аинт – что за праздник сегодня?

Дома, в своей комнатушке, они часто, забываясь, переходили по старой привычке на идиш. Но вообще-то старались говорить больше на русском, порой поправляя друг друга: хотя у них и так было почти московское произношение, но порой, особенно у Баси, с примесью украинско-еврейской местечковой напевности, и они и сами успешно избавлялись от неё, и следили, чтобы у Рэйзэлэ не появилась.

- Что делать, - говорил Матвей, - где живёшь, те и песни поёшь.

Песни они любили – и еврейские, и украинские, и русские.

И слух был, и голос. А Бася и на гитаре могла подыграть. Но в квартире, когда-то принадлежавшей одной солидной чиновничьей семье, а потом разгороженной на комнатухи, перегородки заставляли приглушать даже нормальный разговор. И всё же, пока Рэйзэлэ подрастала, она не раз слышала, как отец вполголоса пел маме «А идише мамэ», а мама напевала дочурке то «А шэйнэ мэйдэлэ», то какую-нибудь украинскую или русскую песню.

Свою двенадцатиметровую комнатку с одним окном они снимали у старушки, сына которой с женой послали по партийной линии на Южный Урал, забронировав за ними жилплощадь, да там они и застряли на строительстве Магнитки. Комнатка была невесть какая, но всё-таки сухая, на третьем этаже, не то что у кройвим - родственников Моисея и Марьям Одиных – в сыром полуподвале, где Марьям и дети всё время болели. Куда лучше условия были у Ушера и Жени Заславских, но они себе многое могли позволить: у Ушера был магазин, а из Жени получилась отличная портниха, и от заказчиц отбоя не было.

Но Матвей с Басей считали, что и за то, что есть, надо благодарить Бога, да и на власть у них пока обид не было: после ужасов погромов на Украине оказаться и, даст Бог, прижиться в столице – только можно было мечтать. А то, что не успели они уехать вслед за матерью и сёстрами Баси в Америку, так ведь и они там пока мыкаются, работают по двенадцать часов с неграми на равных на швейных фабриках.

- Было бы о чём жалеть, - успокаивал Матвей жену, в душе понимая её: ведь в США оказались её мать, четыре сестры и брат, а из Одиных лишь она с сестрой Женей и братом Моисеем остались в России, когда и Америка ограничила иммиграцию, и Советский Союз захлопнул ворота перед эмигрантами.

Бася принесла второе – жаркое с картошкой, одно из любимых блюд Моти, памятных по отчому дому. Даже ещё и дольку свежего огурчика приложила – сегодня купила дочурке огурец и помидор. Матвей помидоры не ест совсем: у нас в Чигирине, говорит, их свиньям скормливали. Действительно,



Меер Рынский (стоит слева)

в хороший урожай с ними не знали, что делать. Но это у Ринских. А у них, Одиных, рады были наесться вдоволь да ещё и засолить на зиму. А насчёт свиней – так это шутка Моти: какие могли быть свиньи в те времена в еврейской семье, пусть и не шибко религиозной, но традиции соблюдавшей.

По-разному жили в Чигирине семьи солидного лесоторговца и скромного переплётчика. Но оба главы семьи погибли на равных от рук черносотенных бандитов. Здесь, в столице, по крайней мере на сегодня они защищены новой властью, у которой и в руководстве, и в органах наших соплеменников предостаточно. Подрастёт Рэйзэлэ – пойдёт учиться в институт – разве сами мы могли мечтать об этом? А младший брат Матвея – Меер, записанный теперь Майором Рынским, учится на равных с гоями в военном училище и станет красным командиром...

На третье – компот из сушёных фруктов, присланных из Кременчуга, от матери и сестёр Матвея. Конечно, в этом нужды не было, но приятно, что все эти тяжёлые годы не прервались семейные связи. Этот обмен посылками, передачами через проводников поездов между столицей и всем Союзом, между крупными городами и селом станет с годами важным

фактором экономики, совсем не рациональным, но необходимым, поскольку бюрократическая система социалистической страны не справится со снабжением ни городов – продуктами, ни периферии – промтоварами.

После обеда самое время бы расслабиться, почитать газету. Последние действия властей немало тревожат его, занятого в частном секторе, как теперь это называется. Похоже, что власти всё глубже «копают» под частный капитал, пока – под крупные концессии, под иностранцев. Но уже в газетах всё чаще проскальзывают реплики и в адрес мелкого нэпмана: мол, пока страна, до предела напрягая свои могучие мускулы, трудится над претворением в жизнь великих планов большевиков – ГОЭЛРО, Беломор-Балта, Магнитки, нетрудовые элементы втихую делают свои делишки, обсев, как мухи, столицы, Ленинград... И так далее.

А то, что, не будь этих нэпманов, да и самого НЭПа, - что бы ела и во что бы куталась промозглыми зимами страна, и столица прежде всего, - об этом в газетах прочтёшь всё реже. Этот симптом очень настораживал Матвея. Похоже, что НЭП доживал своё. Но – что взамен? Для альтернативы нужны ресурсы: деньги, материалы, техника, люди... Что-то неясно, где всё это возьмут. Разве что отнимут и заставят. Ведь опыт уже есть: тот же Беломор-Балт, строящийся силами ЗК, да с таким «энтузиазмом», что он «увлёт» и некоторых больших литераторов. А, может быть, и они уже – подневольные?

Раечка достала шашки – иногда отец учил её разным играм. Матвей отодвинул газету и решил порадовать дочь, но тут дверь сначала толкнули, крючок не поддался, и тогда постучали. Собственно, одним из предназначений крючка было – приучить соседей хотя бы в дверь сначала стучать. Пришёл Захар Кузьмич, ему требовалась помощь в составлении ходатайства заводскому начальству. В квартире он снимал койку уже полгода и просил о предоставлении ему общежития. Пришлось шашки отложить.

Ринских в квартире уважали, и, наверное, не в последнюю очередь за их покладистость и безотказность. Бася никогда не участвовала в спорах на кухне, зато её всегда можно было

попросить, к примеру, подкоротить брючки ребёнку. Денег она не брала, и соседи обычно одаривали чем-нибудь Раечку, а Басю – хорошим отношением.

А у Матвея неплохо получалось с письмами и ходатайствами, причём главное, может быть и случайно, но уж больно высок был процент результативности написанных им бумаг. Учился он в еврейской гимназии, но, правда, ещё и у частных учителей: покойный отец на это средств не жалел. Теперь хороший русский язык и красивый почерк Матвею здоровогодились. И в дальнейшем, возможно, помогут ещё не раз и в более серьёзных ситуациях...

Обо всём этом вспоминал и думал Матвей, пока почти механически писал соседу его ходатайство. Тот ушёл довольный, но время было потеряно, и Рэйзэлэ пора уже было спать. Шашки пришлось отложить. Пока Бася её укладывала, Матвей досмотрел газету. Наконец Бася освободилась, газета перешла к ней, и можно заняться делом. Матвей достал из «рабочего» отделения того же своего огромного портфеля пушистые шкурки - на сей раз это были чернубурки. Достал специальные металлические гребни, ножницы...Предстояло привести шкурки, заранее подобранные, в порядок, а завтра с утра передать этот будущий воротник заказчику, минуя всякие накладные. Что делать, государство слишком многого хотело и только теряло на этом непомерном налоге.

Хотя великий пролетарский поэт и призывал: «Побольше ситчика моим комсомолкам!», но и р-р-революционной молодёжи зимой хотелось одеться тепло, уютно и красиво. И с каждым годом хотелось всё больше. Тем более, что НЭП в достатке предлагал и овчину, и кролика, а деньги есть – так и лису. А ещё – всё больше «бывших», ныне разорённых и отвергнутых новой властью или отвергающих её, продавали своё золото, сервизы, шубы. Так что у комиссионной торговли, в том числе и мехами, работы было предостаточно. Вот почему в тот вечер у Матвея Ринского, а вслед за ним и у его верной Баси было пока ещё отличное настроение.

Пока ещё... Впереди были тридцатые годы.

ТРАДИЦИИ

На родном идише они говорили между собой, с родственниками, со знакомыми евреями. И не так часто, только по главным еврейским праздникам, удавалось Матвею и Басе побывать в ещё действующей главной синагоге Москвы на Маросейке. Новая власть всё жёстче теснила любую религию, и православную тоже. Храмы закрывались, разрушались или переоборудовались под клубы, предприятия. Оставляли единицы. Для иудеев, собственно, только главную синагогу и оставили.

В Песах - пасху или Рош-а-Шана – еврейский Новый год - Матвей с Басей одевали своё выходное – большого выбора у них не было. В сумочку складывали талит, кипу, соответствующий празднику молитвенник – всё это, включая несколько главных книг на иврите и идише, они привезли с собой из Чигирина. У входа в синагогу отец, как и все евреи в то время, распаковывал свои атрибуты, одевал и раскрывал и чинно входил в храм. Бася проходила на балкон для женщин. Приезжали в синагогу и Одины, и Заславские.

Детей с собой, как правило, не брали: всё равно их нигде было учить ни языкам, ни обычаям. А вот впечатлениями дети могли потом поделиться непредсказуемо где и с кем, и как это им всем потом обернётся – кто мог сказать?

Иногда и дома Ринские устраивали себе «еврейские» дни,



Моисей, Марьям и Иосиф Одины

и уж точно – в дни поминовения отцов Матвея и Баси, Моисея и Иосифа – жертв кровавых погромов. В эти дни Бася зажигала свечи, и они горели весь день. Матвей одевал талит, кипу и читал молитвы на иврите, возобновляя в памяти язык.

В такие дни и в праздники Бася готовила традиционные еврейские блюда, чему учила её ещё мать: фаршированную рыбу, форшмак, холодец, бульон, фрикадельки, манделах, клёцки, кисло-сладкое мясо, печёнка, вареники, чоленты, цимесы... Это – только основные блюда, да и из них – далеко не все, конечно: не всегда и не на всё были возможности. Часто по праздникам или семейным дням собиралась вся чигиринская родня. Встречались в те годы с удовольствием, не утратив ещё непосредственность, хотя после всего пережитого какая-то настороженность и неуверенность в завтрашнем дне поселилась в каждом, и неизменно на всю оставшуюся жизнь.

"ОГРАНИЧЕНИЕ И ВЫТЕСНЕНИЕ"

Советская власть, укрепившись, как это нередко бывало в истории переворотов, начала резать сук, на котором вроде бы уже прочно расположилась. Сначала постепенно свернули НЭП. Потом начали притеснять предпринимателей в городах и зажиточных крестьян в деревнях. Под колёса первой из этих «телег» попали и Ринские, и Заславские.

Как частного предпринимателя, Матвея в числе десятков тысяч других торговцев и ремесленников, снабжавших и обслуживавших миллионную Москву в годы голода и разрухи, в начале 30-х годов выселили из Москвы. Ну что ж, очень скоро, в голодные и холодные годы начала 30-х это выселение Москве отзовётся.

Многие из выселяемых старались найти себе новое пристанище поближе к Москве. Вот и семья Ринских сначала сняла комнату, а со временем и выкупила у хозяина часть одноэтажного дома в подмосковном городке Перово, который в 1950-х годах станет районом Москвы. Так получилось, что во всех четырёх квартирках дома поселились еврейские семьи,

и вообще – Перово облюбовали многие выселяемые «частники», среди которых был немалый процент евреев. В 1933-м в этом доме родился второй ребёнок Ринских, сын Михаил.

Матвею пришлось расстаться с самостоятельной работой и делать фактически то же самое в рамках кооператива, но и тут его всё время донимали всевозможными проверками, в ущерб не так ему, как полезному делу обеспечения жителей столицы тёплым мехом. Но до самой войны так ему ничего и не смогли «пришить», хотя ни в «гешефтах» он трусливым не был, ни в повседневной жизни. Например, в маленьком доме – синагоге, подпольно организованной евреями в Перово, Матвей, у которого были голос и слух и который свободно владел и идишем, и ивритом, часто, по просьбе общины, читал молитвы, хотя глубоко верующим не был. Известно, чем могло это закончиться в 1937-39 годах. В семье Ринских родители хотя и говорили друг с другом чаще на идише, но научить этому языку детей в домашних условиях было невозможно. Зато часто все вместе пели песни, а сына учили и игре на скрипке, да только вряд ли он стал бы выдающимся



Бася Ринская и Женя Заславская с детьми: Раей Ринской, Кларой Одиной, Иосифом Заславским и Мишей Ринским.

музыкантом, к тому же помешала война.

Семья другого частника, высленного из столицы, Ушера Заславского, предпочтёт уехать в относительно благополучную Донецкую область, в курортный городок Славянск, где для страдавшей астмой Жени климат суше и благоприятнее, и её как портниху не донимали проверки, и Ушер мог спокойно работать продавцом. И у них подрастал сынишка Иосиф. Ринские и Одины не раз навевывались в Славянск в летние месяцы или присылали своих детей загорать на пляжах уникальных солёных озёр курорта.

МОСКВА, СЕНТЯБРЬ 1939-го. ОДИН ДЕНЬ СЕМЬИ.

Сегодня в семье – праздник: отец решил, наконец, устроить себе выходной. А это бывает так редко: надо зарабатывать, пока есть возможность. Как там на идише: «Вер эс из фойл, от нит ин мотл» - «кто ленив, тому нечего есть». Но ведь и домашние дела кому-то надо сделать. По выходным у него, меховщика, самая работа, поэтому его выходной сегодня.



Миша Ринский, Лёня Ринский, Клара Одина

ня - в понедельник. Надо успеть подремонтировать там-сям, перекопать цветник и огородик, пока не начались заморозки.

Много чего надо, ведь Матвей Ринский теперь - домовладелец, а не квартиросъёмщик, как было до последнего времени. Если точнее, то какой он «домовладелец»: две маленьких комнатухи в одноэтажном доме на четыре семьи, общая кухонька с ещё одной семьёй соседей, да общий дворик с этой семьёй соток на пять. Конечно, он бы предпочёл продолжать снимать комнату в центре Москвы, как лет восемь назад, а не ездить по два часа на работу из этого подмосковного Перова, но что поделаешь? «Против лома нет приёма». Власти их заставили.

Волны новых и новых компаний прокатывались по всё ещё бурлившему морю послереволюционной бывшей Российской империи. Часто новые волны, накатываясь, разбивали отступавшие, не успевшие сделать своё дело, но ослабевшие и уже ненужные. В начале тридцатых одной из этих новых цунами, рождённых кремлёвским вулканом, смыло из Москвы мелкого частника, ещё недавно, на гребнях волн НЭПа, поощрявшегося народной властью. Десятки тысяч торговцев и ремесленников, снабжавших и обслуживавших миллионную Москву в годы всероссийского голода и разрухи, были под лозунгом «ограничения и вытеснения» выселены из Москвы. Некоторые решили уехать подальше от столицы, справедливо считая, что покоя в ней не будет. Ушер и Женя Заславские с сыном Иосифом – так те ещё раньше уехали в спокойный курортный городок Славянск под Донецком: Ушер стал и там работать в магазине, а Женя, хорошая портниха, отбоя не имела от заказчиков.

Но большинство подыскивали себе крыши над головой в ближнем Подмоскovie и попытались найти себе новые или сохранить прежние ячейки приложения труда. Большинство выселенных продолжают работать в Москве и на Москву. Власти от этого очередного «мероприятия» выиграли разве только то, что освободили какое-то количество «жилплощади» для тех своих друзей и родственников, которых спешили «прописать» и устроить в столице. Впрочем, так делали и де-

лают всегда и все обретшие власть, независимо от страны и строя, от мала до велика. Разница только в методах.

Матвей как работал в центре столицы, так и продолжает: меха продают и покупают большей частью люди из центральных районов. Из-за границы меха отличного качества привозят дипломаты, артисты, академики – те, кому ещё разрешён въезд – выезд. Кроме них, продают те ныне обездоленные, у кого ещё что-то осталось.

А в Москве уже достаточно людей с деньгами, желающих утеплиться и красиво приодеться. Столько развелось новых советских бюрократов, «прозаседавшихся», как их называл талантливый самоубийца. Говорят, там, за океаном, Троцкий книгу написал о перерождении в СССР революционного духа в бюрократический. А где бюрократия – там стяжательство. Так что работы меховщику в Москве хватает. Вот только нелегко добраться до неё: до станции километра два пешком, а в непогоду – на тряском автобусике, оборудованном на базе грузовика. Более комфортных не хватает и для крупных городов. Затем полчаса на пригородном поезде, недавно электричку пустили. А потом ещё и полчаса на метро – первые очереди его построили как раз от Казанского и Курского вокзалов к центру.

Перово – городок из самых ближайших к Москве и, поговаривают, рано или поздно она его поглотит. К тому же здесь для детей – раздолье: зелень, чистый воздух – дача не нужна. Тишина: их переулочек с революционным названием Безбожный – узкий, машина едва проедет. Старая часть дома с шестью окнами и двумя террасами по фасаду с виду выглядят неплохо: стена – свежеекрашенная, обшитая «вагонкой». Но под деревянной обшивкой – глинобитная стена, хорошая для тёплой Украины, но не для холодного и сырого московского климата. Конечно, не мешало бы потеплее, да и попросторнее. Но, во-первых, как говорят по-русски, «по одежке протягивай ножки». Во-вторых, как говорят на идише, «бэсер а бисл, эйдер горнит» – «лучше немного, чем ничего». В-третьих, к этому дому уже привыкли за несколько лет, прожитых в этих комнатках. Здесь родился шесть лет назад младшень-

кий – Мишка, а Рае уже все четырнадцать – невеста!

Был бы Матвей не частником, а пролетарием, его бы, во-первых, не выселили из Москвы, а во-вторых, может быть, и дали какую комнатуху – не в центре, конечно. Вот как Моисею, брату Баси, трудящемуся химзавода, «предоставили» комнатку метров четырнадцать в общей квартирке, в бывшем двухэтажном бараке, построенном для строителей канала Москва – Волга и после окончания строительства переданном столице для расселения при реконструкции центра. Одна комнатуха на четверых, без удобств, но всё-таки не бывший сырой подвал – Моисей рад и этому.

С утра Бася отправила детей в школу и детсад, а сама пошла по магазинам: их здесь немного, но в одном «дают» одно, в другом – другое, и в каждом – очереди. Вот такая пока жизнь. Матвей понимает: обстановка сейчас тревожная. Немцы на днях, первого сентября напали на Польшу и в несколько дней раздавили её. Как говорят, Красная армия – в полной готовности. Непокойно и на финской границе, и с японцами. Так что с трудностями – понятно.

Непонятно многое другое. Вот на днях к нему заходил сам Веня Зускин – кое-что принёс: деньги, говорит, нужны. Установка, говорит, есть: немцев не задевать. Они сажают, убивают, вешают коммунистов и евреев – вот уже и из Польши поступают первые вести, а их – ни словом не обидь! Странная ситуация, говорит. Боятся наши их, что ли? Не хотят связываться? Как в поговорке на идише: «Фун мазл биз шлимазл из эйн шпан, абер цурик



Вениамин Зускин в роли шута

из а вайтер взг» - «от счастья к несчастью один шаг, но назад – долгий путь». Мудрый Зускин, молодой ещё, но умный. И талантливый: недаром уже Народный артист в сорок лет. Михозлс его любит.

И с нами, евреями, говорит, откат идёт какой-то. Ну, Троцкий для Сталина соперником был – тут всё ясно. Ну, Ягоду, так же как потом и Ежова, убрал «сам» – туда им, палачам, и дорога. Хотя – а он-то где был? Розенфельда-Каменева, как и Родомысльского-Зиновьева, - их-то за что? Никто из моих друзей, говорит Веня, не может себе представить, особенно последнего, что они могли быть в сговоре с Троцким. А из органов скольких поизгоняли, а то и того хуже: отправили неизвестно куда. Правда, среди «врагов народа» не только наши: тут и Бухарин, и...

Матвей обычно уклонялся от излишне откровенных разговоров и редко задавал вопросы: он уже знал, какие методы применяют в НКВД и знал, что одного упоминания кого-либо было достаточно для его ареста. Он давно убедился: люди искусства любят в свободное время поговорить, не всегда задумываясь о последствиях, а то и просто увлекаясь, любясь собственным красноречием. Перебивать порой было неудобно, и поэтому он знал о многих многое, а из последних слухов его особенно смутили аресты среди армейских командиров. Были два человека, кому он мог бы задать вопрос, а то и поделиться мнением: Вениамин Зускин и Александр Мелик-Пашаев, молодой талантливый музыкант. Но с Веней было интересней: беседы у них всегда велись на идише, а Матвей любил язык своего детства. Сашу же Матвей не раз предупреждал – не злоупотреблять болтовнёй. «Да что там, «вождь» нас любит!». И впрямь, музыкантов - классиков НКВД не трогал.

- Эс зол зих горнит тrefн, вос эс кон зих тrefн – пусть совсем не случится то, что может случиться, - пожелал Зускин, уходя. Кто мог тогда предвидеть на десяток лет вперёд, что случится с Михозлсом и с ним самим...

Матвей успел починить забор и вскопать часть огорода, когда пришла Бася. В очередях говорили о предстоящей вой-

не: никто точно не знал когда и где, но в том, что война будет, сомнений не было. Так что, глядя на других, Бася прихватила лишней соли, спичек про запас - столько, сколько удалось: видя нарастающую панику, Перовский торг сам ограничил продажу в одни руки.

С обедом решили подождать до прихода дочери, часов до двух. Бывали, конечно, собрания, кружки, но Рая старалась оставаться пореже: предпочитала прийти домой, поесть, а потом использовать время по своему усмотрению. Подруги у неё хотя и смешливые, но достаточно серьёзные, так что папе с мамой особо волноваться за дочь не приходится. Особых предпочтений в науках у дочери нет, но и отставания - ни по какому предмету. Любит песни, модную танцевальную и эстрадную музыку: Строка, Лещенко, Козина... И ещё любит поэзию, и почему-то всё такую, что не то чтобы запрещают, но и не рекомендуют: Есенина, Ахматову, Цветаеву.



Рая и Миша Ринские

В нижнем ящике небольшого письменного столика - на большой ни места, ни денег не было - мать как-то нашла мелко и аккуратно переписанные стихи каких-то Гумилёва, Северянина. Отцу говорить не стала, спросила об этих людях как бы между прочим интеллигентную соседку из дома напротив и, получив ответ, в котором были непонятные слова: акмеизм, декадентство, а ещё и фамилия Мандельштам, произнесённая с опаской, пригрозила дочери рассказать отцу. Состоялся

разговор на повышенных тонах, после чего Бася не находила ничего, с её точки зрения, подозрительного.

- Да, Баськеле, - ко мне на работу заезжал твой брат Моисей Один. Он волнуется за вашего двоюродного братишку Наума Одина. Сколько уже прошло, как он проезжал через Москву, останавливался у Моисея и навещал нас? Правильно, где-то полгода. Толком он нам так и не сказал, чем занимался, работая в органах. И не сказал, чем будет заниматься в Магадане, куда его направили. Обещал, как прибудет на место и устроится, написать. И – как в воду канул.

_ Да что ты! Такой парень! Может, ещё объявится?

- Майн хахуме – моя умница! Дай Боже, но пока надо быть готовым ко всему... Ты же знаешь: у них – смена власти. Берия кого-то выпустил, а кого-то – наоборот... А брат твой, судя по всему, слишком много знал...

Сотрудник органов безопасности Наум Один так и не дал больше о себе знать...

Рая обрадовалась тому, что отец дома, хотя горячих проявлений чувств в семье не требовали. Показала принесён-



Дядя Наум и Иосиф Одины. Наум Один погиб в магаданских лагерях.

ные из библиотеки книги - в доме читать любят все, хотя главе семьи время на чтение остаётся разве что в метро и в электричке, если удаётся присесть. Обычно в своём объёме-стом портфеле возит, кроме пушнины и газеты, небольшую книжку с рассказами или повестями Чехова, Гоголя. Замечен был и Паустовский. Рая так и подбирает отцу - небольшие по формату и невесомые. А маме дочь приносит из библиотеки что-нибудь Толстого (но не про войну), Тургенева, а то и Дюма. Сама же читает всё подряд, но чтобы и про любовь. И, конечно, поэзию.

Редкую и даже запрещённую ей достаёт Лёня Дудиловский, сосед - старшеклассник, большой эрудит. Но ей почему-то нравится больше его одноклассник Изя Пустыльников – спокойный, всегда улыбающийся крепыш. Додик его Изюмчиком зовёт. Вот только ростом маловат: как танцевать приглашает, так проблема. В военное училище собирается после школы. А Додик - тот себя иначе не мыслит, как дипломатом. Родители радушно принимали в доме как подруг, так и друзей. Чего пока в доме не было из того, о чём мечтала дочь, так это патефона: надо было откупить комнаты. Но теперь можно и говорить об этом. Тем более, что музыку любят все – недаром Мишке купили скрипку, и мама водит его к учителю. Рая немного ревновала отца с матерью к братишке, хотя умом и понимала, что в годы её детства у родителей были куда как меньшие возможности.

На обед - традиционная селёдка с луком, борщ и, главное, вареники с картошкой и жареным луком. И кисель. Мечта! Отец не преминул пропеть:

*Гевалт,
Ву нымт мин,
Ву нымт мин?*

*А мэйл, ойф цумахн
Ди варнэчкэс.*

.....

*Он путер ун он шмалц,
Он фэфэр ун он залц.*

*А бухэр ойф цуэсн
Ди варнэчкэс...*

*Караул,
Где взять мне,
Где взять мне?*

*Муку, чтобы сделать
Вареники,
.....
Масло и жир,
Перец и соль
И парня, чтобы вместе есть
Вареники...*

Пел Матвей негромко и очень музыкально. После обеда углубился в газету. Бася мыла посуду, а Рая пошла за младшим братом в детсад. Любимой игрой Миши были прятки, и при его приближении отец разыграл сцену поиска:

- Рейзэлэ, ви из Мойшелэ? А кинд от фарфалн! – ребёнок пропал!

Когда отец шутил с детьми, он часто говорил с ними простыми словами на идиш и называл их еврейскими именами. Раю он называл Рейзэлэ, хотя мама поправляла, что дочь по-еврейски записана Росей.

Миша спрятался, но тут же, не дождавшись зова, выскочил и бросился к отцу. После бурной встречи сын был передан матери «для первичной обработки», Матвей пошёл докапывать огород, Рая села за уроки. Бася вышла на помощь мужу с граблями, а Мойшелэ – с маленькой лопаткой. С такими помощниками Матвей быстро довёл дело до конца. Огородик имел для них только символическое значение: Матвей любил порядок, не допускал бурьяна во дворе. Сажали зелень, морковку да зелёный лук – удовольствие было к столу прямо с грядки. И ещё было много цветов.

Но зато приходилось поливать, нося вёдрами воду из колонки: в домах перовского Безбожного переулка в те годы ещё

не было ни газа, ни воды, ни канализации. Только электричество да радио – чёрная тарелка висела и у них в первой комнате. Радиоприёмники были ещё роскошью, не было пока и у них. К Рош-а-шана - к Новому году - Матвей приготовил детям подарок – патефон: мечта дочери, да и сыну полезно для развития слуха. Как и многие евреи из-за черты оседлости, Матвей и Бася мечтали о сыне – великом скрипаче.



Дядя Наум и Клара Одины и Рая Ринская

А кстати – какие у него успехи в музыке? Скрипач с гордостью достаёт из футляра блестящий свежим лаком инструмент, смычок – нет, пока мы ещё далеко не Моцарты и судя по скрипу смычка, вряд ли станем таковыми. Правда, за то уже бегло читаем в шесть лет, да и считаем уже где-то на уровне второго класса. Не потому, что вундеркинд – просто нет-нет да подсядем к старшей сестрёнке, да заглянем в её учебники. А ещё приятель-сосед напротив Вова Яковлев уже в первый класс пошёл, и Миша с ним все его учебники и тетрадки перелистывает от корки до корки. Но великий математик тоже пока не проявляется. Но для родителей а шейнер ингеле – ин гут а зой – красивый мальчик – и хорошо.

Зашёл Лёва Шендер – посоветоваться, когда лучше собраться в Рош-а-шана, чтобы и все могли придти, и сохранить «конспирацию»: перовские евреи втайне от властей снимали небольшой домик на Пролетарской улице у одного из «своих» под молельный дом. Собирались в праздники и, наоборот – когда кто-нибудь уходил из жизни, и надо было совершить

молитву. Порой самым сложным было собрать десять мужчин, как положено для «миньяна» - коллективной молитвы. Приходилось обговаривать заранее, однако в случаях кончины человека это было подчас невозможно. Но и больше десяти тоже было проблемой: комната в молельном доме могла вместить от силы двадцать человек. Во дворе никто не мог оставаться, чтобы не «засветиться». По той же причине и не открывали двери и окна во время молитвы: пение и повторения хором могли услышать. Так и сидели в духоте. Матвея часто просили читать молитвы: знал иврит и идиш. Голос был хороший, правда - негромкий, но громкий и не требовался.

Но вообще-то по большим праздникам Матвей и Бася с сынишкой ездили в Хоральную синагогу на Маросейке. Комсомолку Раю с собой не брали, да она и не проявляла желания. Родители говорили на идише, но детям этого было недостаточно для восприятия языка. Шла ассимиляция.

Рабочий день Матвея ещё не кончился: сентябрь, дрова на зиму припасены, распилены, но не все ещё поколоты и уложены в сарай. Одну печку – голландку с плитой они уже топят, вторую пора начинать топить. Дожди вот- вот хлынут, тем более надо убирать дрова. Так что пришлось доколоть и сложить берёзовые поленья.

Вечером в летнем кинотеатре в соседнем парке – фильм «Семеро смелых». Решили пойти, только вечерами уже холодно, оделись потеплей. Билеты – всего по 20 копеек, детям – по гривеннику. Аппарат один, после каждой части прерывают, зажигают свет. Но время зря не пропадает: всегда находятся знакомые и у взрослых, и у детей, идёт обмен новостями. Свет гасят - следующая часть. После кино – домой вместе со знакомыми попутчиками. Дома – ужин и спать: завтра рано вставать. И кто знает, каким будет это завтра...

А через несколько дней, 17 сентября 1939 года, в эфире прозвучала речь В. М. Молотова, и Красная армия заняла Западную Украину и Западную Белоруссию. Разделив с Германией Польшу, Советский Союз фактически вступил во Вторую мировую войну...

ВЕТВИ РИНСКИХ

«Чистки» 1937-39 годов, слава Богу, не коснулись никого в семьях, кроме Наума Одина, и кончился этап выселений и переселений. Можно было бы, наконец, пожить спокойно: два прочно сросшихся дерева Одиных и Ринских распустили в Москве пышную крону. Семейные побеги подросли на Украине, на Дальнем Востоке, за океаном.

Друг за другом, подрастая, покидали Кременчуг дети мамы, теперь уже бабушки Ханы Ринской. Средний из братьев Ринских, Иосиф, переселившись в Москву, так и остался аморфным провинциалом. Образование его было ограничено хедером, хотя возможности отца позволяли ему получить куда как лучшее. Сказалось то, что становление его в самые подростковые годы пришлось на годы войны, революции, погромов. Приехав ещё в конце 1920-х годов в Москву, он ничего не добился, не определился с профессией, одно время торговал с лотка на Воробьёвых горах. В начале 1930-х годов Иосиф женился, но они с женой Сарой Тульчинской так и не произвели на свет наследника. С родными они общались редко: Мише запомнился лишь один приезд в Перово дяди Иосифа, да и то он, наверное, приезжал к старшему брату за помощью или советом, потому что сразу после обеда они уединились надолго.



Майор Рынский (слева) и его жена Лара
(вверху)

А вот самый младший в семье Ринских, Меер, рос в Кременчуге боевым мальчишкой, поступил в артиллерийское училище, женился на красавице Ларисе, учительнице из Житомира, и увёз её с собой в село Раздольное

на Дальнем Востоке, где располагалась его часть. Где-то в документах ему по ошибке записали фамилию Рынский, а имя Майор вместо Меер – так он и остался до конца жизни Майором Рынским, и оба сына его, Леонид и Рудольф, Рынскими. Лёня был на год моложе двоюродного брата Миши Ринского, Руфа – ещё на год моложе. Правда, в дальнейшем в паспорте сына Леонида было отчество – Михайлович. Но такие «несоответствия» были нередкими и во многом зависели от уровня грамотности и характера паспортных канцеляристов. Так, Рая Ринская, при отце по паспорту Мордко Мошковиче, была записана Раисой Марковной: паспортистка решила упростить. А брат её Миша - Михаилом Мордковичем – начальник паспортного стола упрощать не захотел.

Майор – так Меера Рынского и привыкли звать в семье – воевал с японцами и у озера Хасан, и у реки Халхин-гол, где командовал артиллерийским дивизионом при кавалерийской воинской части. Он и сам был лихим конником, участвовал в соревнованиях, приучил к лошадям сыновей. В дальневосточных сражениях отличился, был награждён орденами, которые в те годы и по заслугам украшали грудь далеко не каждого. Звание, соответствующее его имени – майор - получил как раз незадолго до отправки на западный фронт.

С Хаей Ринской к 1941 году оставались только две её дочери. Старшая - Соня Штеерман - у неё и мужа Соломона уже были двое детей: дочь Клара и сын Гриша. Младшая дочь Сима вышла замуж за Семёна Сугина, и они принесли бабушке двух близнецов – Илью и Марка, которые родились уже в городе Кривой Рог, куда все переехали где-то в середине 30-х годов. К их трагическим судьбам нам предстоит ещё вернуться.

АМЕРИКАНСКАЯ ВЕТВЬ ОДИНЫХ

Из-за океана приходили оптимистичные письма. Не сказать, что государство США встретило с распростёртыми объятиями вдову Розу с четырьмя дочерьми. Но сын и брат Шимон, с помощью родственников, сделал всё, что было в его силах, чтобы принять их теплее и, главное, хотя бы притупить

воспоминания о пережитом..

В те годы Америка развивалась и процветала на глазах за счёт в том числе и «помощи» израненной войнами и революциями Европе и в немалой степени за счёт эксплуатации эмигрантов, рекой вливавшихся в страну со всего мира, в том числе из бывшей Российской империи. Из 2,1 миллиона евреев, «освоивших» США до 1920 года, 1,25 миллиона – выходцы именно из России. В гражданскую войну исход из России продолжался и заstopорился лишь с введением ограничений как новыми российскими властями, так и США в 1924 году.

Эмигрантки Одины начинали американскую жизнь очень тяжело. Работали много, по 12 часов, на швейной фабрике, в полутёмном низком помещении. Хозяева многих предприятий тех лет меньше всего думали об условиях работы, когда царила жуткая безработица, а эмигранты всё прибывали со всего света. Роза с дочерьми начинали жизнь в Америке на самом низком бытовом уровне. Помощи брата Шимона, тогда ещё и самого только обустроившегося, и помощи род-



Американские сёстры Одины

ственников хватало как раз на минимум.

И всё-таки в двадцатых годах жизнь в Гарлеме значительно отличалась от положения эмигрантов в начале века. В тёмной, тесной квартирке старого дома всё-таки были уже водопровод и канализация. Помогала и еврейская община: вечером учили английский; младшие дочери, Фрида и Феня, начали заниматься в еврейской школе. К этому времени идиш пробил себе дорогу и в еврейской среде Нью-Йорка был языком общения. Синагоги, театры, газеты спланивали общину, не давали забыть традиции. В еврейской общине появились свои политические лидеры, с которыми не могли не считаться власти района и города: на выборах за ними стоял существенный процент голосов, и деньги еврейских бизнесменов играли немалую роль.

В динамично развивающейся стране предприимчивость, энергичность, вообще - личные качества имели и имеют огромное значение в жизненном успехе. Этими качествами, плюс красотой, в полной мере обладала старшая дочь Соня. Очень скоро на симпатичную, способную девушку обратил внимание один из руководителей фабрики, симпатия переросла во взаимную любовь, и Соня с Максом прожили в Нью-Йорке счастливую жизнь. Первого сына назвали Иосифом, в честь трагически погибшего отца и деда. Второго – Руби.

Рива и Феня, как начали, так всё время до пенсии проработали на той швейной фабрике, а со временем – крупном предприятии, которое возглавлял Макс, муж Сони. Рива вышла замуж но брак её трудно назвать удачным. Вначале



Сын Ривы Иосиф Один с ребёнком. США.

было всё хорошо, в 1930 году у них родился сын, которого тоже, в память деда, назвали Иосифом.

Муж Ривы, хотя и имел фамилию Иерусалимский, но всё больше обращал свои политические взгляды не в сторону исторической родины, а в сторону искусственного Биробиджана и, в конце концов, в 30-х годах туда и уехал. И как в воду канул. Возможно, и доехать не успел, как дальше "повезли"... Сын Ривы Иосиф после отъезда отца принял фамилию матери Один. Вместе с Ривой жили мама Роза, а также Феня, которая так и не вышла замуж – слишком тяжелы для неё воспоминания той трагической ночи...

Удачно сложилась жизнь у Фриды. Она вышла замуж за бизнесмена, также занятого в швейной промышленности, но в Лос-Анджелесе, на тихоокеанском побережье США. У Фриды с Сэмом также родились два сына, и старшего тоже назвали Иосифом, младшего – Ральфом.

Стоит обратить внимание на то, что у четырёх сестёр из шести и у брата Моисея, у которых первыми рождались мальчики, всех первенцев называли в память деда – Иосифами.

В конце 30-х годов обстановка уже не позволяла россиянам свободно переписываться с родственниками за границей, тем не менее и Моисей, и Бася не прекращали связи со своими, прежде всего с Ривой, лучше всех сохранявшей в течение всей жизни русский язык. Одиным - россиянам радостно было узнавать о всё новых успехах их заокеанских близких, к жизни которых мы ещё вернёмся.



*Вилла Иосифа
Одина, США*

Часть 2

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

1941-1945



МОСКВА, ИЮНЬ 1941-го. ОДИН ДЕНЬ СЕМЬИ.

Быстро летит время: как раз два десятилетия назад молодые, можно сказать - только из-под хулы Матвей и Бася Ринские оказались в Москве, оставив в украинском Чигирине прах убитых в погромах отцов, разорённые черносотенцами дома. Обе их многодетных семьи тогда, как после взрыва, разметало по странам света, включая Америку.

Из их молодости остались, данк гот – спасибо Богу, - сами они да несколько книг на иврите и на идише, которые Матвей, несмотря ни на что, привёз с собой не так из веры, как из уважения к истокам и родителям. Правда, теперь он их открывает лишь в праздники и в печали: другая жизнь! И на родном идише Матвей с Басей говорят только между собой: детям он не привился. Старшая, Рая, вот уже восьмой закончила, в конце года ей будет уже шестнадцать. Комсомолка, как и все, только интересы её где-то и вне комсомольской жизни, и вне школьных программ, хотя учится нормально. Всё у неё великие в голове. Дизраэли, говорит, сказал: «Я поставил себе в правило верить в то, что понимаю». Загадочно как-то говорит, А кто такой Дизраэли? Великий еврей, говорит. И всё.

А младший, Миша, в свои восемь всё по учебникам старшей сестры шастает. Только в школу должен пойти, а таблицу умножения всю знает и даже на Новый год стишок сочинил про ёлку и деда мороза. Вот только левша, с чистописанием нелады. Но всё равно в школе обещали, как начнёт в сентябре, через месяц его во второй класс пересадить: в первом, говорят, ему делать нечего. Только со скрипкой что-то не очень у сына получается: отец так надеялся, платит учителю. Уже года два занимается, слух есть, а интереса – никакого. Зададут ему Вивальди «Ла-минор» какой-нибудь, отпиликает – и всё. И не действуют афоризмы отца, вроде: «аз мын лэрнт нышт – вэйст мын нышт» - «без учения нет умения». А какой еврей не хочет видеть в сыне вундеркинда. Но что делать: «либ цы убн – кэн мын нышт найтн» - «заставить любить невозможно».

В общем, дети, «золт ир хабн асах нахат» - чтоб вы имели много счастья». Надо бы с ними в Кусково сходить: дворец графов Шереметьевых там запущен, закрыт, но и пруды, и парк, и красота, и на лодке можно поплавать – дети любили, когда всей семьёй уходили туда на весь день. После того, как его, как «частника», выселили из Москвы, несколько лет ушло на кое-какое обустройство в подмосковном Перово. Только в последнее время он стал выкраивать время для отдыха с детьми.

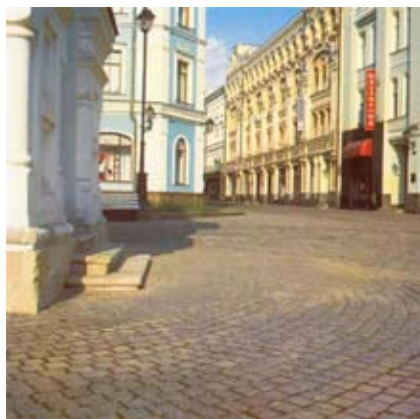
И с работой у Матвея в его «скупке мехов» всё в порядке, было бы здоровье. Мало того: с мехами сейчас, в июне, необычный ажиотаж. Многие продают, но и многие покупают. Какая-то нездоровая лихорадка, граничащая с паникой. Оно и понятно: второй год, как Германия, захватив Польшу, Францию, воюет с англичанами. Советский Союз теперь с немцами – вплотную. Большой кровью далось отодвинуть финнов.

Тревожные слухи о немецкой возне на границе, о стягивании войск, о массовом шпионаже, а главное - о том, что большая война вот-вот начнётся, выбивают из колеи, и те, кто послабее духом, паникуют, причём каждый по-своему: одни покупают всё, что может пригодиться, другие – продают и копят деньги. Иные, кроме мехов, предлагают и золото, и «камушки», но Матвей в этих случаях решительно отказывается: не хочет никакого риска, тем более что, говорят, и сама Петровка 38 провоцирует порой, для проверки.

«Что-то будет», произойдёт – это уже не вызывает сомнений. К Матвею в скупку приходит немало людей осведомлённых: дорогие меха у простого народа – не частая продажа-покупка пока. Скупка его – в самом центре, в Столешниковом переулке и, мало того, во дворе центрального московского магазина «Вина и фрукты», поставщика Кремля. Вся московская знать едет за продуктами в Елисеевский, за тортами – в Филипповский, а за винами – в Столешников. И часто, повстречав здесь друг друга, норовят «раздавить пузырь» за встречу. Но слишком узнаваемы, на улице «на троих» не сообразишь, да и не тот уровень – вот и заглядывают к Матвею в скупку, благо и человек хороший, и столы у него достаточно

просторные – для расстилки мехов, конечно, предназначены. А стульев не хватает, так во дворе винного магазина полно ящиков для бутылок.

Матвей обычно дверь запирает от подобных визитёров: прежде в окно посмотрит – клиент ли это, свои ли люди или случайные – всяко бывало. Если пьянь какая – звонит в винный: там служивые постоянно начеку, придут и уведут, а Матвей их благодарит должным образом. Но «богемотов», как он называет богемных весельчаков, хозяин скупки принимает: самому интересно побеседовать и послушать интересных людей, да и меха к Матвею несут они нередко.



Столешников переулок, где работал Матвей Ринский

Вот вчера к нему сам Миша Яншин привёл сразу трёх друзей-поклонников одновременно - солидных болельщиков «Спартака», как и сам «Мих. Мих» - так его любя называют. Яншин хотя и уже лет пять возглавляет Цыганский театр, но больше тяготеет к МХАТу и кино. Но на сей раз разговор у них быстро скатился со спорта на предгрозовую обстановку, и даже сам юморист Яншин на сей раз был серьёзен. Друзья были какие-то осведомлённые: речь шла о силе немцев. Но, как тогда всерьёз считали, и они сходились в том, что ничего такого нет у Гитлера, чего бы у нас не было. «Мессеры» и «Фоки» у них неплохие, но и у нас в последнее время «наклепали» достойных штурмовиков, а по части истребителей – сейчас испытывают то, чего ещё в мире нет: реактивные! А немцы, говорят, Лондон ракетами грозят атаковать. Но - ничего, у нас тоже кое-что будет, вот-вот в серию запустят. И танки – тоже не хуже их разработок.

- Приоткрою секрет, - говорит один из друзей, новые - с дизельным мотором! - и пояснил, как это важно, только Мат-

вей не расслышал. Он вообще старался сам не участвовать в таких разговорах – только в юморе. И на сей раз пресёк:

- Ребята, вы, я понимаю, все патриоты, только, сами знаете, и «стены имеют уши».

В другом разговоре Матвей узнал, что немцы непрерывным потоком гонят к восточной границе и солдат, и технику; что через границу в СССР в последнее время ничего не поставляется, а от нас на запад – десятки поездов. И даже что в Польше сейчас шьют для немцев непомерно много тёплого белья, шинелей, варежек... Всё это последнее он узнал от польских евреев – беженцев: коммунистам и бундовцам на первых порах давали работу и в центральных областях России, а многие из них получали разными путями сведения из Польши, захваченной в 1939 году.

От них Матвей знал немало и о том терроре, который развернули нацисты против евреев, коммунистов, социалистов в Польше, да и в самой Германии, и по всей оккупированной Европе. Ему, побывавшему в первую мировую в немецком плену, просто трудно было поверить, что это – те самые немцы, которые хотя и не братались с пленными, даже вели себя надменно, но во всяком случае не издевались, ценили труд и уважали ум и практически не различали пленных по национальности, хотя антисемитские эпитеты от некоторых из них и тогда можно было услышать.

Все рассказчики – евреи, а вслед за ними и сам Матвей, со временем поняли, какой угрозой для нашего народа стали фашисты, и все недоумевали: почему интернационалистский СССР заигрывает с ними? Зачем Сталину это надо? И почему пересажали самых активных антифашистов из Коминтерна? Тут что-то не так... Тем более, что всё ясней становилась угроза и немецкого нападения на Союз. Не верили в искренность речей Гитлера и Риббентропа, которые цитировали газеты.

Младший брат Матвея Меер-Майор Рынский, кадровый командир-артиллерист, герой «малых войн» с японцами у озера Хасан и на Халкин-Голе, в письмах намекает – мол, скоро увидимся. Пишет и прямо – предстоит передислока-

ция части. В сумме – понятно: перебрасывают на запад. Ещё одно подтверждение...

Мудрый Веня Зускин из Театра Михозлса, как-то зашедший к Матвею, напомнил : «Ойбн эс от дих а кушгегебн а ганев, цейл ибер дайне цейн» - «если тебя поцеловал вор, пересчитай свои убыты».

Мысль о том, что здесь с евреями могут поступить, как там, гнали от себя. Так же, кстати, как на первых порах не могли поверить в свой близкий конец многие респектабельные немецкие евреи и не хотели уезжать из Германии, даже когда Гитлер их ещё выпускал. На памяти у Матвея и Баси были ещё и вероломные обещания властей, а затем погромы времён их молодости. Они понимали, что как тогда, так и в любое время любая власть может использовать евреев как разменную карту в своих играх.

Некоторые визиты для Матвея были настоящими праздниками. Как-то к нему заглянул сам Иван Семёнович Козловский. Человек с музыкальным слухом и неплохим голосом, Матвей и сам любил слушать в хорошем исполнении и классику, и песни. И любил общаться с музыкантами и певцами. Козловского к нему привёл дирижёр Саша Мелик-Пашаев, когда Иван Семёнович, всегда опасавшийся за своё горло и не расстававшийся с шарфиками, оказался в дождь с ветром в Столешниковом переулке. Избегая прилипал – «сыров», - как прозвали его поклонников за подражание его вкусу на сыры, - Козловский предпочёл укрыться от дождя у Матвея. Узнав, что Матвей из Чигирина, Козловский, сам из крестьян Киевской области, тут же перешёл с земляком на «ты», спел дуэтом с Матвеем «Дивлюсь я на небо» и рассказал пару баек, судя по спокойной реакции Саши - «дежурных», но Матвею, конечно, интересных. Рассказал, как на банкете в Кремле, когда его попросили спеть, проходивший мимо Сталин вмешался: « - Нельзя так ограничивать свободу художника. Товарищ Козловский хочет спеть «Я помню чудное мгновение», - и сам улыбнулся своей небезобидной шутке.

В ответ на свои осторожные вопросы Матвей понял, что между двумя светилами Большого театра роли условно поде-

лены: если основное «кредо» Лемешева – Ленский в «Онегине», то у Козловского – герцог Альмавива в «Севильском цирюльнике», Юродивый в «Борисе Годунове». Упомянул Иван Семенович и о солисте Ленинградского Мариинского Георгии Нэлеппе, «вызываемом» порой в Большой на исполнение роли Германа в «Пиковой даме», - любимой опере «самого». В голосе Ивана Семёновича звучали ревностные нотки, но и уважение к соперникам.

Подобные гости были приятным разнообразием в работе. Иногда Матвея с женой приглашали на спектакль, а бывало, чтобы посмотреть на интересного гостя «в работе», они и сами брали билеты, доверяя Рае братишку и прося кого-нибудь из соседей «подстраховать».

Рабочий день у Матвея кончался в восемь вечера, а то и позднее: многие клиенты приезжали после работы, а трудились тогда по восемь часов, а то и больше: вождь работал допоздна, и вся страна должна была подражать ему. Забежал в магазин за традиционными шоколадками для детей и продуктами, порученными Басей. Десять минут от Столешникова переулком до метро и двадцать в метро Матвей, просматривая «Известия», посвятил одновременно и размышлениям о своих семейных проблемах.

Что же делать? Лето наступило, Рая хочет ехать в лагерь. Мише перед школой тоже полезно пообщаться с детьми – есть возможность отправить его в детсад-лагерь под Волоколамском. Бася боится отправлять детей – вдруг слухи о близкой войне подтвердятся? С другой стороны, самой Басе, с её больным сердцем, хорошо бы летом отдохнуть от ребят. Да и чего они так уж опасаются? Москва - за тысячи километров от границы, и даже в случае конфликта доктрина Красной армии - вести войну на территории противника, отбросив его в первые же дни. Дай-то Бог... В любом случае детей привезём домой, а дальше – «вус ыз башэрт, а дус вэт зан» - «чему быть – того не миновать».

Надо бы закупить продукты на случай паники, а она, кажется, неминуема. Хорошо бы консервов мясных, ну и как обычно – соли, сахара, муки, риса, спичек, свечей. Много не

запасёшь: в их хибарке с мышами не успеваешь справляться. В сарае надо пополнить запас керосина для керосинки и примуса. Дрова остались с зимы, но на следующую не хватит. Надо срочно добавить Басе дров и угля на будущую зиму. Война вряд ли ограничится местными конфликтами: судя по действиям немцев в Европе, включая Францию, Гитлер, как кто-то выразился, «оборзел» и возомнил себя непобедимым полководцем. Но Россия, с её просторами, снегами и морозами – не Франция. И так же как России тяжело далась финская кампания, так и Гитлер тем более подавится Россией. Но и России в одиночку придётся нелегко.

Более глубокого прогноза у Матвея не получалось. Одно он знал твёрдо: даже в свои пятьдесят он не сможет себе позволить отсидеться за чужими спинами. Только, конечно, Басе незачем знать его мысли. Кто знает, может быть, всё ещё и обойдётся.

Пожалуй, это – ещё одно, что они привезли с собой из отцовских домов: таких преданных своей семье, как в еврейских местечках, сейчас уже днём с огнём не сыскать. Отцы-семьянины и еврейские мамы. Вот и вся жизнь Матвея посвящена семье и детям. Он любит проводить время дома, только времени этого не так много. Приедет домой уже в десять вечера: ещё полчаса на электричке от вокзала и минут двадцать пешком.

Сын, наверное, уже ляжет спать. Обычно перед сном обязательно откроет толстый фолиант книги Альфреда Брема «Жизнь животных», подаренную ему. Как-то отец пошутил: «Ман зин от зэр мыт ди хай-



Миша Ринский в предвоенные годы

ес. Вэн эр вэг ойсваксн, вэт эр вэрн нор а коцэф» - «Мой сын очень любит животных. Когда вырастет, - обязательно станет мясником». Мишутка обиделся и прослезился: «Не хочу быть мясником!». Отца это обрадовало: сын стал понимать идиш! Мальчик быстро успокоился, когда отец сказал, что ошибся: у мясников, не в пример мишуткиным, пальцы толстые. Со временем сын всё лучше понимал шутки отца.

Порой Матвей с Басей затягивали какую-нибудь песню, чаще украинскую или на идише, и Миша подключался, мыча мелодию, если не знал слов. Рая редко присоединялась: у неё репертуар был современный. В моду входил джаз, песни из иностранных фильмов и даже песни Вертинского, невесть как проникавшие сквозь кордоны. А по радио пели: «Если завтра война...».

Выйдя из электрички и переходя по длинному пешеходному мосту через многочисленные пути сортировочной станции Перово, Матвей невольно обратил внимание на то, что на путях стояли сразу несколько воинских эшелонов. Техника на платформах была прикрыта брезентом. Значит, «нет дыма без огня». И, значит, всё-таки концентрируют войска на границах не только немцы, но и наши. Недаром ходили слухи о предупреждениях Черчилля Сталину насчёт передислокации десятков немецких дивизий из Западной Европы к советской границе. Так немцы и не решились вторгнуться на Британские острова, и, видно, поэтому повернули к востоку, прибрав к рукам и Румынию с её нефтью, а заодно и Болгарию.

Подтверждалось то, что предвидели посетители Матвея, когда оправдывали Сталина в захвате востока Польши, Прибалтики, Бессарабии, как буфера при соприкосновении с Гитлером. Да и население Союза прибавилось числом на несколько миллионов, только евреев – почти на полтора миллиона. Срочно создали новые союзные республики, но вряд ли там новая власть так быстро укрепилась. Немцы, конечно, и это учитывали. Говорят, что там столько их шпионов и саботажников, что вылавливать не успевают. Но главное – концентрация войск: похоже было, что на границе разворачивалось соревнование с немцами на опережение, как ещё

говорили в первую мировую: «Дэр лэцтэр лахт а дэр, вэр сы взт ффрирэрт ойсшисн» - «Последним смеётся тот, кто первым выстрелит».

Стрелять в России есть кому, десятки миллионов можно поставить под ружьё. А вот учить стрелять и командовать войсками – некому! И эту загадку никак не могли разгадать «клиенты» Матвея: почему и за что пересажали весь состав армии? Неужто все предатели? Главное – в такое напряжённое время. Теперь нужны годы, чтобы подготовить новые кадры, а воевать-то теперь не кавалерией, нужны специальные технические знания.

Вот почему, догадывались многие, Сталин заигрывал с Гитлером, всячески оттягивая время неизбежной конфронтации. Он унижался, позволяя фашистам концентрировать войска, нарушать границу открытыми разведывательными облётами, делать всё более резкие заявления, уничтожать, наряду с евреями, коммунистов и социалистов.

Сталин выигрывал время на формирование кадров, передислокацию войск, поставки новой техники, подготовку для неё механиков, водителей. Понятно стало и поспешное заключение только что, в апреле, договора с Японией о нейтралитете: Сталин не хотел пули в затылок стране или ножа в спину. Этот договор вызвал ярость как немцев, так как позволил Сталину перебросить дивизии с Дальнего Востока на Запад, так и американцев, так как развязывал руки японцам в противостоянии с США на Тихом океане.

Вот, наконец, Матвей дома. Поцеловав домашних, первым делом, чтобы не забыть – телефона-то дома нет - сообщил Басе о своём окончательном мнении: детей отправить в летние лагеря. И вопрос: всё ли заготовлено Мише к первому классу? Рая сама о себе позаботится, самостоятельная, и это хорошо. Вынул гостинцы детям и продукты, купленные по приказу жены. О предложении запасти кое-что «на всякий случай» скажет перед сном, как бы между прочим, чтобы не пугать Басю – и так, наверное, в очередях наслышалась новостей и домыслов.

Умывшись, сел за поздний обед и вспомнил, что, пере-

бирая в памяти немного, что у них осталось от жизни в отчих домах в Чигирине, он не подумал о том еврейском меню, которое его жена привезла и хранит в памяти. О своём любимом борще и эсэк-флэйш, которые он как раз сейчас ест «в исполнении» Баси; о гэфилтэ фиш, варнычкес, цимес... Всего не перечесать. Матвей вспомнил, как ещё сравнительно недавно, в песах – в пасху, приехав с Басей и Мишей из Центральной московской синагоги, он наслаждался дома таким ассортиментом еврейских блюд, какого они не могли себе позволить все эти два десятилетия, а о некоторых он уже и забыл. Вот теперь бы только жить и жить. Скромно, но спокойно. Неужто и впрямь это удастся – после стольких лет крови, борьбы, голода и тесноты, подъёмов и падений... «Алавай вайтер ныт эргер» - «дай Бог дальше не хуже».

К сожалению, не удастся: уже в этом месяце мир содрогнётся от невиданно жестокого и кровопролитного противостояния гигантов, и война войдёт в историю России, как Великая отечественная, а в историю еврейского народа – как Катастрофа, или Холокост.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВСТУПЛЕНИЕ.

В Европе Вторая мировая война полыхала уже с 1 сентября 1939 года. Фактически СССР тоже не стоял совсем в стороне, прихватив за это время Западные Украину и Белоруссию, потом – Прибалтику и Бессарабию, отвоевав территории у финнов. Но вот и над Советским Союзом сгустились тучи, грянул гром, и вихрь Второй мировой войны разметал миллионы семей, в том числе и наши.

В том, что война будет, мало кто сомневался. Но никто не ожидал такой беспомощности нашей обороны. Все так привыкли к песне:

*Если завтра война,
Если завтра в поход, -
Я сегодня к походу готов...*

О просчётах Сталина со сроками начала войны, с попытками оттянуть её начало, всячески ублажая агрессора, о его растерянности в первые дни войны написано много самыми авторитетными участниками и свидетелями событий, государственными деятелями, военачальниками и историками. На перепевы их воспоминаний и выводов, а тем более на рассуждения по глобальным вопросам автор этих строк считает себя не в праве. Но эта жестокая война глубоко и чётко запечатлелась в памяти мальчика восьми лет в начале и двенадцати – в конце войны, а в последующие полвека дополнилась рассказами родителей, родных, прочитанным и осознанным.

Автор счёл своим долгом записать свои военные воспоминания и всё, что ему известно о его родных и близких, сражавшихся в эти лихие годы на фронтах, погибавших от рук нацистов, трудившихся и учившихся в тылу. и о событиях тех лет, если можно так выразиться, «на уровне рядового состава». Надеюсь, эта повесть не только будет памятью им, но послужит скромным дополнением, ещё одной иллюстрацией в истории самой кровавой мировой войны.

Повесть «Война глазами мальчишки» была полностью опубликована в приложении «Ветеран» газеты «Вести» (Тель-Авив), а её фрагменты – в нескольких газетах и журналах, за что автор глубоко благодарен редакторам газет.

Предлагаю читателям эту повесть о войне, как часть общего повествования о XX веке его семьи.



ВОЙНА ГЛАЗАМИ МАЛЬЧИШКИ

(повесть)

*Светлой памяти моих
мудрых родителей Матвея
и Баси Ринских посвящаю*

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

*Память напрягает мозг и нервы:
Все-таки немало лет прошло.
Стоит ли писать о сорок первом?
Годы... годы... Былью поросло.*

*Семь десятков лет с лихого года.
Только есть ли право эту боль –
Катастрофу нашего народа –
Очевидцам унести с собой?*

*Шестьдесят седьмой со Дня Победы,
С окончания большой войны.
Нет ни Рейха, ни Страны Советов –
Есть совсем другие две страны.*

*Семь десятков лет. Путь долгий, длинный.
Только мир не перестал скорбеть:
Жертвы миллионные, руины,
Пепелища продолжают тлеть.*

*Плети и расстрелы в жутких гетто,
Крематориев палёный дым...
Если позабудем мы об этом,
Значит – до конца не победим.*

*До сих пор нам не до сантиментов.
Но отцам и дедам боевым*

*Символами стали монументы
В память мёртвым и в пример живым.*

*Семьдесят. Далёкий срок и близкий.
Внука автомат к груди прижат.
У подножья строгих обелисков
Свежие букетики лежат.*

НАЧАЛО

22 июня 1941 года застало меня под Волоколамском, в летнем лагере, размещённом в бревенчатом здании местной школы. Мы, ребята, узнали об этом от старших в первые же часы, но лишь на следующий день пожилой дядя в гимнастёрке без петлиц рассказал нам, что началась война, и наша Красная армия быстро разгромит врага. Я слушал его, а в ушах звучали слова, которые отец и мама при мне повторяли на идише много раз, вспоминая пережитые ими войны и погромы:

- Мэ зол нит вайсн дэрфун – чтобы мы не знали этого.

- Но фашисты очень коварны, - говорил дядя, наверное, бывший командир, - и вы, пионеры и октябрюта, должны быть помощниками отцов и старших братьев и должны быть готовы...

После этого мы дружно пели: «...Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов...» и другие боевые песни. На следующий день старшие группы помогали освобождать и приводить в порядок убежища, занятые под погреба, рядом со школой, а мы, младшие, очищали от коры ровные жерди для палок. За несколько дней какие-то дяди поставили у школы и убежищ ящики с песком и бочки с водой, сделали нам лопаты, багры – такие длинные палки со стальными крюками. Мы были горды, что палки для них были наши.

Дядя в гимнастёрке, которого мы называли «товарищ военрук», начал обучать, каждую группу отдельно, как нужно одевать и снимать противогаз, как правильно его складывать.

Для нашей группы были противогазы маленькие, их было всего несколько штук, и мы их одевали по очереди. Не у всех получалось, и военрук нервничал.

На второй неделе войны, к вечеру, нам срочно велели надеть пальтишки и курточки – у кого что было – и повели в убежище, где усадили на скамьи вдоль стен. Потом от старших мальчишек, некоторых из которых оставили наверху с баграми, мы узнали, что пролетел, наверное, самолёт-разведчик и что его, скорее всего, наши сбили, потому что назад он не пролетел. Важничая, «бывалые бойцы» говорили о «мессерах» и «фоках» со знанием дела, хотя лишь вчера слышали эти клички вражеских машин от военрука. Через дня два нас снова спустили в убежище, когда где-то в городке завывала «сирена воздушной тревоги» - ещё одно новое для нас название.

А потом за мной приехал отец. В первую неделю войны мало кто забирал детей из лагерей. Предвоенная доктрина была: на удар - тройным ударом, война – на территории противника. Значит, верили, так и будет. Но когда разбитые на границах части Красной армии стремительно откатывались, многие, в том числе и мои родители, предпочли держать детей при себе. Мне страшно не хотелось уезжать: вот-вот исполнялось восемь лет, и меня, как и всех, должны были в этот день поздравить на утренней линейке. Но отец был непреклонен: второй раз добираться до Волоколамска – потерять ещё день, да и дорогое «удовольствие». В общем, пришлось уезжать, и только прощаясь с ребятами, я понял, как бы им хотелось быть на моём месте. И раньше приезжали отцы, которым приходила повестка, попрощаться, а то и забрать детей. Мой отец, которому в этом году исполнялось пятьдесят, призыву не подлежал, а зачем-то приехал.

- Пап, ты всегда спешишь, - сказал я, подражая маме. - Военрук говорит, что Красная армия быстро победит!

- Фун дайн муйл ин готес ойрен – из твоих уст да Богу в уши,- смеясь, ответил отец.

До Москвы добирались поездом часа три, не меньше. На некоторых станциях стояли подолгу, пропуская эшелоны



Воинский эшелон. Иллюстрация.

– ещё одно новое слово - в сторону Москвы. К столице шли поезда с эвакуируемыми из западных районов, с заводским оборудованием, но в первую очередь пропускали санитарные, с ранеными: на их вагонах были красные кресты. Мне, мальчишке, конечно, были более интересны встречные эшелоны, спешившие из Москвы на запад, на фронт. В теплушках ехали молодые весёлые военные, в новой форме, с гармошками, с песнями – сидели, свесив ноги, или стояли у раздвинутых вагонных дверей. Где им, а мне тем более, знать, что многим из них остались считанные дни жизни в этой мясорубке...

Ещё интереснее была боевая техника: пушки всех калибров – в открытую, танки и самоходки в большинстве – под брезентом. Даже папа не знал всех типов пушек. Много было грузовиков. Хотя жили мы в Перово, недалеко от огромной железнодорожной станции, на которой чего только не бывало, но военную технику в таком количестве и разнообразии, как за эти три часа, видеть раньше не доводилось.

Потом мы с папой ехали трамваем от Рижского вокзала до Казанского. Какими суровыми стали московские улицы: зелёные одежды людей, зелёные машины. Вокзалы уже нача-

ли маскировать. Перово, где мы жили после того, как отца, как частного, после НЭПа выселили из столицы, совсем рядом с Москвой. Только Волоколамск – западнее, километров за 100 от неё, а Перово – с восточной стороны и вплотную к Москве. Лет через пятнадцать станет столичным районом.



Станция Перово. Платформа пригородных поездов

На станции Перово пути забиты составами. На площади у пешеходного моста через пути стояла зенитка, прикрытая зелёной сеткой. Рядом - красноармеец с винтовкой. Папа сказал, что в первую мировую у него была такая же винтовка, длинная и тяжёлая, образца 1891-го дробь тридцатого года. Я тогда, с первого раза, не запомнил, но потом, года через три, мы будем изучать её в школе, учиться разбирать её за-твор, и я вспомню, что впервые услышал о ней от отца у зенитки на станции Перово. Вообще-то, сказал папа, у зенитчиков должны быть карабины, а не винтовки. Остальные бойцы «расчёта», - как назвал команду пушки папа, - наверное, в той палатке невдалеке.

От станции до нашего дома ещё километра полтора, как считал отец. Автобусы редки, маленькие и тряские, да ещё и мостовая – булыжная. Идём пешком. Вот и наш узкий Безбожный переулочек, и наш одноэтажный дом. В нём живём мы и ещё три еврейские семьи, все выселенные из Москвы, как «нетрудовые элементы», лет десять назад, когда меня ещё не было на свете.

Мама встретила нас радостно. Варнечекес - вареники с творогом – самое любимое блюдо и папы, и моё. Отец сразу включил радио и открыл «Известия». Он редко ругался, да и то только на идише. Очевидно, новости были такие, что папа

не удержался, и в адрес Гитлера понеслось на папо-мамино идише:

- А, брэхн золстн дэн коп – чтоб ты сломал себе голову!

Отец, знавший Германию по Первой мировой, не мог простить немцам, что они не только допустили фашистов к власти, но позволили им убивать и сами дисциплинированно выполняли их приказы. После начала войны в советской печати появились статьи и фото зверств фашистов в Польше, в том числе по отношению к евреям. В лагере нам тоже рассказывали об этом, но только евреев не упоминали. В газете, наверное, было что-то страшное, потому что отец оторвался от газеты, резко встал и решительно заявил матери, что сам пойдёт в военкомат. Наверное, это был не первый их разговор на эту тему.

- Гот бахит! – Б-же сохрани! – решительно возразила мама. – Тебе же уже пятьдесят, куда тебе! Вот соседа Фриделя призвали, так ему меньше предела – сорока пяти! А тебе... Да, Иосиф, твой брат, ушёл добровольцем, так ведь, во-первых, у него, кроме жены, никого нет, а во-вторых он лет на пять моложе тебя.

- Нет, Баськеле, я так не могу. Я должен сам быть там. Ты же знаешь: мы всегда во всём виноваты. Я хочу доказать им всем. Вот только «щель» вам успеть построить. Завтра, пока Фридель дома, займёмся.

Щелью называлось простое земляное убежище. Слово, ещё недавно известное немногим, стало на слуху у всех: был приказ рыть щели во дворах домов для защиты от налётов фрицев – так теперь презрительно называли врага.

На следующий день отец и сосед приехали с работы пораньше. Сосед наш - Фридрих Ефимович Хаит. Имя – немецкое, и когда началась война, по его ли просьбе или сами, но все мы стали его называть Фриделем. Итак, отец с дядей Фриделем выбрали свободное местечко – небольшой холмик в нашем общем вишнёвом садике и вырыли длинную яму глубиной почти в их рост. Вдоль всей ямы на дне – как бы длинная глиняная скамейка – просто вдоль одной из стен не дорыли на полметра. Перекрыли яму всем, что нашлось в

сараях: брусьями, брёвнами, толстыми досками, даже рельс какой-то в дело пошёл. Сверху накрыли толем - запасливые были. Даже дверь сбили из досок, вместо петель – какой-то брезент, вместо ручки – кусок палки. Положили доски и на грунтовую скамейку. На дно досок нехватило, настелили длинных веток. И в земляные ступеньки спуска ветки втоптали. Потом засыпали землёй и образовавшийся холмик приказали нам, ребятам-«наблюдателям», притоптать. Учили всё, кроме дождей.

Рая, моя старшая сестра, ещё не вернулась из лагеря. Она взрослая, шестнадцатый год, перешла в девятый. Мама с папой за неё не волновались: самостоятельная! Рая прислала письмо: их лагерь помогает колхозу. А её друзья Изя Пустыльников и Лёня Дудиловский, уже в армии: перед отъездом приходили прощаться. Оставили письмо и фотокарточки на память.

- Только бы вернулись», - сказала мама, - а латешн идишн ингелн – порядочные еврейские мальчики.

Уже в августе воздушные тревоги стали частыми, но пока это были ещё не массированные налёты, а прорывались отдельные самолёты. К этому времени уже была организована плотная оборона неба на подступах к Москве. У нас в Перово, вдоль Пролетарской улицы, расположили огромные аэростаты, которые запускали на тросах на большую высоту, и ночью на фоне луны и звёзд их можно было различить. Зенитки встречали вражеские самолёты плотным огнём, и не раз мне самому приходилось видеть горящие факелы.



Но видел я и факелы горящих дере-

В большинстве жилые дома в Перово в 1941-45 годах были деревянными.

вянных домов, подожжённых зажигалками, которые контейнерами сбрасывали с фашистских самолётов. Те, которые попадали на крыши, шипя и разбрасывая искры, скатывались и падали вниз, но порой и застревали, прожигая кровельное железо и поджигая дерево. Один дом сгорел как раз почти рядом с домиком, снимавшимся евреями под синагогу, куда отец до войны в праздники брал меня с собой. Пожарные и все, кто им помогал, ничего не смогли поделать: соседний домик сгорел.

Хорошо ещё, что отстояли от огня соседние деревянные дома и синагогу: был сильный ветер, и искры разносило. Прибежавшие со всех сторон, среди них и отец, гасили вспышки, пуская в ход багры, лопаты, вёдра с водой – у кого что было. Отец потом говорил маме, что в скромном молельном домике были ценные старинные вещи и книги, и вообще хорошо, что, спасая святой храм, обошлись без посторонних. Как я понял из их разговора, всё ценное и святое решили в синагоге не оставлять. Где хранили, не знаю, но после войны в молельном домике всё будет так, как будто его и не закрывали года на четыре.

ОТЕЦ

Отец работал в самом центре Москвы, в Столешниковом переулке, в скупке мехов. После всего, что пришлось пережить частнику после НЭПа, от выселения из Москвы до обысков на работе, сейчас у него было стабильно: авторитет меховщика-специалиста, солидная клиентура, хороший заработок. Он на целых пять лет «перерос» призывной возраст рядового – 45 лет. Имея к тому же двух детей – школьников, он с чистой совестью мог продолжать спокойно работать или уехать с семьёй в эвакуацию. Так нет же.

Отец всё-таки отстоял очередь в военкомате, и хотя ему там сказали: « - Куда вы, батя, с вашим-то «полтинником»?», но записали как добровольца, и в августе пришла повестка. До отъезда отца в конце августа он сам, не спускаясь в убе-

жище, дежурил во время налётов и чуть что, быстро приставлял лестницу, взбирался по ней и длинным багром подхватывал и сбрасывал зажигалки. Учил и меня, и после отъезда отца, когда осенью начались по-настоящему массированные бомбардировки, я сам, Рая и Люся, дочь соседей, как могли сталкивали дважды маленькие шипящие огнедышащие существа. Но в одиночку нам было не поднять лестницу, и только чудом нам удалось отстоять крышу нашего дома. Хорошо, что, во-первых, крыша у нас была крутая и покрыта кровельным железом, во-вторых - папа позаботился, чтобы бомбы не застревали, а скатывались – даже снял жёлоб для сбора воды. В-третьих, нам и соседям по дому просто повезло. На Перово немцы сбрасывали и тысячи зажигалок, и мощные фугасы: здесь, недалеко от нас, находились крупные химзавод и станция.

Отец сбил из досок три ящика, расставил их по разные стороны нашей половины дома и скомандовал нам с Раей и Люсей принести песок из кучи в парке. Бочка для воды у нас была только одна. Но зато успели закупить вёдра до того, как их не стало в продаже. И тут отец подумал вовремя. Помог папа и соседям второй половины нашего дома и советом, и делом.

*Немцы Кусковский бомбят химзавод.
Бомбы неточно, а может – умышленно,
Сбоку ложатся, назад и вперёд
На деревянные наши домишки.*

*Взрыв где-то рядом. Трясётся земля.
В щели сырой, не достроенной нами,
Мама прижала рукою меня.
Темень. И боязно. Привыкаю...*

*Первых бомбёжек неясная жуть,
Первых пожаров багровое зарево,
Вражеских ястребов воющий звук
В детскую память впечатались накрепко.*

*Первый убитый с глазами без дна –
В жизни до этого мёртвых не видел.
- Мама, скажи, ну зачем им война –
Варварам этим, фашистским правителям?*

*Мама не знает. Ну как же понять?
Кто же тогда, если мамы не знают?
Кто разрешает им убивать?
Кто разрешает? Кто разрешает?*

К концу августа воздушные тревоги стали намного чаще. В сухую погоду мама заставляла нас спускаться в «щель», одеваясь потеплее и подкладывая за спину к стене брезент так, что он и над головой нависал, и на сидение спускался. В сырую погоду по стенкам сочилась вода, они были грязные. Вода стекала и хлюпала под ногами, под досками, которые удалось «достать» и постелить на пол. В такие дни мы бежали в убежище «на стрелке» - так называлась развилка Пролетарской и Кусковской улиц, где, в подвале шестизэтажного дома, было настоящее бетонное убежище. Стояли топчаны, и некоторые приходили с вечера и спали там до утра. В этом общем просторном помещении случалось всякое. При мне привели женщину, сошедшую с ума: сгорел дом от зажигалки. Если наш дом спасала крыша из кровельного железа, то крыши домов, покрытых деревянной «дранкой» - дощечками типа черепицы, – были беззащитны перед зажигалками. Вот и сгорел её дом факелом.



Как-то, услышав сирену, мы спустились в нашу «щель». Отец, как обычно, остался в доме: он ставил стул в углу комнаты у печи – «самом надёжном углу» - и сидел – читал, мигом выбегая, если слышал стук падающих на крышу зажигалок или осколков зенитных снарядов. Не помню, сколько времени просидели мы в

Плакат противовоздушной обороны

«щели», когда раздался такой грохот, что нам показалось - на нашем дворе. Нас обдало землёй со стен и потолка, снаружи осыпавшейся землёй прижало дверь так, что отцу пришлось нас вызволять. Тут уж он дал себе волю:

- А донэр ойф дир! Дик лог зол дир нэмэн! – Гром на тебя! Чёрт бы тебя побрал! – громко ворчал отец в адрес то ли немецкого лётчика, то ли самого Гитлера, орудуя лопатой. На следующий день он переделал дверь так, чтобы её можно было открыть внутрь, если опять присыпет. А пока, едва нас откопал отец, он и мы вслед за ним, позабыв о тревоге, бросились к месту взрыва. Оказалось, метрах в двухстах от нас, на краю парка, упала и взорвалась фугасная бомба, как потом говорили, весом не меньше тонны. Воронка от взрыва глубиной метров семь. Огромный ком земли взлетел и упал на двухэтажный дом соседей Шориных (я с Сашей Шориным позднее учился в школе): пробил крышу и полы и развалился в первом этаже, буквально засыпав комнату и всё в ней поломав и испортив. К счастью, дом устоял, и лишь одного старика в соседней комнате слегка поранило.

Отец стал вместе с другими соседями расчищать дом, ремонтировать окна и двери, помогать соседям во всём, что нужно было в первую очередь. Вообще, в годы войны люди друг другу в беде, как правило, тут же приходили на помощь. Через несколько дней пострадавший сосед Шорин пришёл с бутылкой и закуской, как принято на Руси, благодарить Мотю Моисеевича - так отца звали «в миру», а по паспорту – Мордко Мошкович. Но отец уже уехал на фронт.

Это было уже в августе. Мне было вдвойне обидно: папа не будет присутствовать первого сентября на таком моём торжестве: «в первый раз – в первый класс»! Мы всей семьёй пришли вместе с отцом на сборный пункт во дворе городской школы №1. Оттуда, после регистрации, построения и переключки, колонна «по четыре» тронулась в направлении железнодорожной станции, где стоял поезд из «теплушек». Мы с мамой и Раей почти бежали, чтобы не отстать. Таких, как мы, было больше, чем в самой колонне.

Провожających не пускали за кювет – канаву по краю стан-

ции. С разных сторон подходили такие же колонны и подъезжали машины с призывниками. Мы с папой переговаривались через кювет. Он говорил, что обязательно вернётся, вот только не обещает, что это будет скоро. Все мы старались улыбаться и даже шутить, но, особенно у мамы, получалось плохо. И когда прокатилась вдоль поезда команда: «По вагонам!» - мама зарыдала. Я тоже заревел. Рая держалась. Отец, как и многие, перепрыгнул через кювет и, очень серьёзный, расцеловал нас, а мы – его. Потом он вернулся и поднялся по вертикальной лесенке в «теплушку». Прошло ещё не меньше получаса, пока поезд тронулся. Где-то под Москвой их должны были обмундировать и провести подготовку. Какое время будут обучать и куда потом – мы не знали. Судя по составу, их, пожилых и юнцов, отправляли в ополчение, на защиту Москвы.

*Война. И гари запах.
Зениток первый залп.
«Ну что ж, пора на запад», -
Он буднично сказал.*

*Свой дом, жена и дети,
И возраст уж не тот:
Пятидесятилетие
Отметил он в тот год,*

*И в райвоенкомат
Его никто не звал.
«Ну что ж, пора на запад», -
Он буднично сказал.*

*Он был сугубо штатским,
Совсем не боевым:
И вид - не из солдатских,
И ростом средний был.*

*И не любил он войны,
И пыль дорог, и грязь,*

*И говорил спокойно,
И ел не торопясь.*

*Но новичком он не был
И знал, на что идёт:
Ещё в начале Первой
Отец попал на фронт.*

*По Первой, по гражданской
Прошёл он «от и до».
Он был сугубо штатский,
Но было слово: «Долг».*

*И рядом с комсомольцем,
В шинели боевой,
В отряде добровольцев -
Еврей немолодой.*

*И двинулись колонны
Из мира - под свинец...
Их были миллионы -
Таких же, как отец.*



Матвей Ринский

ОСЕНЬ 1941 ГОДА

«В первый раз – в первый класс!» В моей детской восторженной душе – смесь радости, гордости, любопытства и робости. Стою в шеренге класса и ищу глазами маму и сестру Раю, которая решила опоздать на свой первый урок в девятом, чтобы доставить удовольствие мне своим присутствием. Но нет папы – он, наверное, уже воюет. А я так привык во всех важных для меня случаях стремиться к словесной или хотя бы молчаливой поддержке отца. С мамой – всё само собой: она и так всегда на моей стороне, ещё и прослезится - именно в радостных случаях. Вот и сегодня: слушает речь директора и вытирает глаза. Не одна она. Машу им с Раей рукой, по команде круто, по-военному поворачиваю налево, и шеренга нашего класса торжественно входит в двери школы.

Свою первую учительницу Наталью Алексеевну я запомнил на всю жизнь, хотя она меня учила всего неполный месяц. Именно она дала мне «путёвку в жизнь», укрепив мою веру в себя и свои если не возможности, то знания. Это произошло слишком рано, и, излишне рассчитывая на себя, я со временем «съехал» с Олимпа «вундеркиндов», но по крайней мере до четвёртого класса включительно я не только был «круглым» отличником, но не задумывался, что «слегка» не может продолжаться вечно.

Но в то время я пришёл в первый класс с таким запасом знаний, почерпнутых из учебников сестры Раи, закончившей уже восьмой, что мне и впрямь в первом классе делать было нечего. Наталья Алексеевна, несмотря на массу жизненных проблем в её семье, была всему классу как вторая мама, зная, у кого какое положение в это тяжёлое время. Казалось бы, зачем ей это, но Наталья Алексеевна поставила вопрос о переводе меня во второй класс, поставив директора перед необходимостью решения необычной задачи, да ещё и получения разрешения «сверху». И всё это осенью 1941 года, когда жизнь каждый день ставила совершенно новые серьёзные проблемы военного времени, требовавшие немедленного принятия мер.

Тогда вдруг куда-то пропала волокита – жаль, что только на военные годы. Словом, уже с октября я учился во втором классе. Мне по-прежнему было легко со всеми предметами, кроме почерка: я не прошёл курс чистописания в первом классе. Я левша и до четвёртого класса вообще писал левой, и у новой учительницы этот мой «изъян» понимания не встретил. Но «не было бы счастья, да



Война...

несчастье помогло»: отъезд в эвакуацию снял вопрос.

В школе ребят с каждой неделей становилось всё меньше: кто семьями уезжал в эвакуацию, кто отправлял детей из Москвы, которую теперь бомбили ежедневно и целыми армадами самолётов. Порой бомбили и днём. Нам, мальчишкам, всё было интересно, особенно когда завязывались воздушные бои и сбивали самолёты, чьи

– мы не могли различить. Интересно было смотреть, как палили зенитчики на своих вертящихся пушках. Осколки их снарядов тоже могли ранить и убить, поэтому даже кто не спускался в убежище, старался где-то укрыться. На глинобитных, обшитых досками-«вагонкой» стенах нашего дома, например, ещё много лет оставались две не залатанные пробоины. По счастью – не сквозные. Теперь аэростаты поднимали в небо уже и днём, и они парили на разной высоте, не давая возможности немецким самолётам спускаться к земле и бомбить прицельно. Так что наш Кусковский химический завод, как говорил папа – очень важный, работал бесперебойно, из труб непрерывно валил дым.

На нашей огромной станции Перово, в которую тоже целили фашисты, не раз были взрывы и пожары. Мы гурьбой бегали смотреть, но обычно пока прибегали, уже место было оцеплено, а тем, кто оказывался на путях, грозил арест и потом – неприятности родителям. В школе нам специально внушали – не выходить на пути не только чтобы не попасть под поезд, но и потому, что взрывов и пожаров ожидали и от диверсантов. Однажды на станции взрывы слышались один за другим. Говорили, что это была детонация боеприпасов, и что могло быть гораздо хуже. Рая говорила, что наша железнодорожная школа так близко к путям, что случись взрыв целых вагонов с боеприпасами, - и от бревенчатой школы останутся обугленные головешки. А ещё нам внушали в школе и дома – ни в коем случае не поднимать ничего, что может взорваться или вспыхнуть: не «сработавшие» небольшие бомбы-зажигалки, снаряды, патроны и даже неразорвавшиеся фугасные бомбы. Всё это могло свалиться откуда угодно: с вражеского самолёта, из вагона или из

военной машины. Говорили и про то, что могут подбросить диверсанты.

В декабре 1941-го, когда меня уже не было в Москве, двое ребят из моего второго класса по неосторожности подорвались на неразорвавшейся при падении бомбе. Один из мальчиков погиб, другой, Витя Красавин, остался без ноги. С ним я учился с пятого по седьмой классы. Ампутированная нога у него часто болела, и он приходил в школу то на протезе с палкой, то на костылях.

Когда по привычке к бомбёжкам, мама стала реже отводить нас в большое убежище, а сама даже и в нашу дворовую «щель» не спускалась – шила дома бельё для армии. Я, делая вид, что спускаюсь в «щель», на самом деле, стоя у входа, любовался чёрным звёздным небом, перекрещенным лучами прожекторов, вырывавших из тьмы то аэростаты, а то и самолёт. Если «фашист» попадал в луч прожектора, его старались не отпустить, и тут же другой прожектор подключался к «ловле». В перекрестии лучей ослеплённым лётчикам не всегда удавалось вырваться из «плена», и тут же зенитки, как гончие, начинали свой учащённый лай. Какое ликование звучало в наших победных криках, когда мы однажды видели в свете прожекторов шлейф дыма за самолётом, а потом - высоченный всполох и слышали взрыв. В другие разы – отдалённые вспышки, взрыв иногда у нас и не был слышан. Зато взрывов бомб было предостаточно.

Нам, мальчишкам, интересно было всё. Вот восемь девушек в военной форме «ведут» вдоль улицы аэростат от места поддува газа к месту запуска. Меньше восьми нельзя: унесёт их в небеса. Держат его за верёвки так, чтобы не задеть провода, подвешенные вдоль и поперёк мостовой – так мы называли проезжую часть улицы, мощённую булыжником. «Приведя» аэростат к лебёдке, девушки привязывали несколько его верёвок к тросу так, чтобы этот огромный баллон сохранял горизонтальное положение, и запускали на заданную высоту.

Вот бойцы истребительного батальона



Маскировка Большого театра в Москве

и их помощники из пенсионеров и с предприятий загоняют людей в убежище. Они же следят за светомаскировкой: чтобы из окон – ни полоски света. Они же первыми сообщают о пожарах и, не дожидаясь пожарных, которых не хватает, приходят на помощь хозяевам и их соседям. Они же оказывают помощь раненым осколками и пострадавшим, не дожидаясь санитаров – для этого у «истребков» брезентовые сумки. «Истребки» - так их любовно и с уважением называют, но всё-таки, конечно, не на равных с «ястребками» - так мы будем всю войну называть наши самолёты-истребители и их лётчиков, самых смелых и лучших, как писали газеты, лётчиков мира.

Помещение «истребков» - у входа в наше общее убежище в подвале шестиэтажного дома. Там военные, командир с красными квадратиками в петлицах – лейтенант, значит. Там и медицина: туда приносят раненых, когда опаздывает «скорая» - их слишком мало. Здесь я впервые увидел скончавшегося. И ещё здесь я видел пойманного диверсанта: его «засекли», когда он, укрывшись в закоулке, сигнализировал фашистским самолётам. Как сигнализировал – мы не узнали. Диверсанта со связанными руками бил по щекам, даже не прикрыв дверь комнаты, командир «истребков» и требовал, чтобы он тут же выдал остальных: считали, что их несколько вокруг завода. Потом подъехала военная «полупторка», сигнальщика со связанными руками забросили в кузов и под охраной увезли.

Со временем мы узнали, что в первые месяцы войны диверсантов было много. Говорят, ловили и парашютистов, но не в Перово, во всяком случае – не слышал. Находили листовки, сброшенные с самолётов - их требовали тут же уничтожать или собирать и передавать «истребкам» или милиции. В октябре, в самые решающие дни, истребительные батальоны Москвы соберут в полки и пошлют на оборонительные рубежи.

Стало трудно с продуктами. Начали выдавать продуктовые карточки. Забитые «про запас» полки и подпольный погребок мама старалась не опустошать: зимой будет куда тяжелее, чем осенью, в урожай. Но всё равно постепенно всё уходило. А потом, к октябрю, всерьёз заговорили об эвакуации. Одним из доводов было то, что «там» будет легче с продуктами. Но мама говорила, что, по опыту всех времён, столицу власти всегда поддерживали. Мама не знала, что делать, а от её Моти, то есть от отца, не было пока писем.

В середине сентября вдруг неожиданно появился сам отец. Хорошо – мы все были дома. В грязной длинной, не по его среднему росту, шинели. В ботинках с обмотками. Небритый. Мама, с её больным сердцем, протянула к нему руки, встала из-за своей машины

– и стала оседать. Отец поддержал её, усадил на диван. Мы с Раей тоже приникли к родителям. От одежды отца исходил несвежий запах, но для меня в ту минуту это был настоящий мужской дух.

– Я всего-то до часов пяти утра, до первых электричек, – сказал отец.

– Ну как же так? Почему? – мама тяжело поднялась. – Давай-ка тогда сразу греть воду. Снимай шинель – хотя бы почистим. Снимай всё – постираю. Помойся и одень домашнее. И пообедаем. Тогда и поговорим.

Удивительно, как за несколько месяцев мама стала самостоятельной. Раньше так чётко всё решить мог только отец. Папа тоже обратил на это внимание:

– Есть, товарищ командир, – шутливо отпартовал он, скидывая шинель и гимнастёрку. А, может, нам с Мишуткой в баньку сгонять, а? Пока ещё воду нагреем. А так только время выиграем. А, Мойшеле? – Я, конечно, был «за». Папа одел штатское, и мы почти побежали.

Баня у нас в Перове была отменная: огромные залы на трёх этажах, с каменными лежаками, с шайками, с парной и душами, с парикмахерской – и всё это, представьте себе, работало исправно во все времена, до самой поры персональных ванн. И всего-то в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Конечно, это не «Сандуны», говорил папа, который ходил в эти московские центральные бани, пока их с мамой не выселили из Москвы. Но в перовских, говорил папа, было зато просторно и чисто. И хотя один этаж переоборудовали под «санпропускник» для красноармейцев и ещё кого-то, но в остальной части всё было по-прежнему. Обычно мы с отцом приходили сюда минимум часа на два, не минуя ничего из перечисленного. Но на сей раз мы, наверное, обернулись за час с небольшим, успев даже постричься, а отец – и побриться. Дома уже ждал обед; даже чекушка, как называли четвертинку, бутылку водки на 250 грамм, стояла на столе. Всё армейское, включая гимнастёрку и галифе, было перестирано и сушилось вплотную к печке.

– Ну что, майне тайере, мин зол тринкен эйхсимхот – мои дорогие, чтобы выпивать на радостях, – отец первым сел за стол и лихо откупорил «пузырёк».

Тогда отец рассказал за столом, что его полк в полном порядке, что их просто «перебрасывают», потому что готовят решительное наступление. Лишь после войны отец расскажет правду. Полк их никак не мог противостоять танковой армаде – им выдали всего по гранате. Через их позиции немцы просто проскочили, оставив полк

в своём тылу; потом, неплотно окружив, начали принуждать к сдаче, методично обстреливая шрапнелью.

Связь практически была парализована. Стали уходить в лес и на восток, как придётся. Группе отца повезло, хотя и она успела уполовиниться. Пока собранных проверяли, им не разрешали писать письма. Потом перевезли под Москву, где им предстояло пополнить формирующуюся часть. До утра вряд ли что произойдёт, и отца отпустили с тем, что первыми поездками он вернётся.

Отец расспросил Раю и меня, как у нас с учёбой. Узнав, что меня переводят во второй класс, не удивился. Одобрил, что мама стала шить на дому для фронта, сказав, что сейчас это надо, и что он извиняется, что не генерал, и на его солдатское пособие не проживёшь. Но главное – отец заявил, что нам надо уезжать из Москвы.

- Я не хочу тебя, Баськеле, пугать, - сказал он, - но я видел, что «там» пока - дело серьёзное. Правда, по дороге сюда я видел и много того, что на подходе. Так что надежда есть. Но рисковать детьми не стоит.

Мама рассказала, как у знакомых Немировских, не успели уехать, разворовали дом, а потом он сгорел то ли от зажигалки, то ли кто руку приложил. У нас вроде соседи уезжать не собираются – ни Феня с Люсей, ни Абрам с Фаней и дочкой из второй половины дома. И Женя Волович с двумя мальчишками, из той же второй половины, хотя муж на фронте, не уезжает. Есть кому присмотреть вроде бы. Но днём все на работе и в школе. Да и вообще – куда она двинется с двумя детьми? Вот тётя Женя, сестра мамы, уехала с мужем Ушером и сыном Иосифом в Кзыл-Орду, в Казахстан.

- Нет, только не в Казахстан, - вставила Рая. Папа с мамой промолчали. Это ободрило меня:

- Хочу учиться в своей школе! – чуть не плача, обиженно сказал я.

- Будь мужчиной, - отец посмотрел на меня. – И не спеши, дай сказать взрослым. А ехать надо.

- Я говорила с Моисеем, решили – если ехать, то вместе.

Дядя Моисей Один – родной старший брат мамы, а его первая жена, рано умершая Марьям и вторая жена Рахиль – родные сёстры папы. Так уж у них получилось, что «переплелись», как рассказывала мама, две семьи, Ринских и Одиных, ещё в гражданскую войну. У Моисея и Рахили были взрослый сын Иосиф, студент, очень умный какой-то, и дочь Клара, моложе Раи. Клара перешла в седьмой класс, и такая же умная, как Рая. И все уже большие. Один

я был маленький. Обидно.

- Конечно вместе лучше, - сказал отец. - Жаль, телефонов нет ни у нас, ни у них. Но ты брату напиши, через день получит. Надо тебе сходить в горсовет, узнать в отделе эвакуации, куда они дают направления, и Моисею – узнать, может, с работы его дадут.

- Его вообще пока не отпускают: он занимается доставкой грузов к фронту. Но обещали отпустить. А Рахиль мобилизовали на рытьё окопов. Но, кажется, сейчас она уже дома.

Семья Одиных жила по другую сторону Москвы, в Покровском-Глебово, недалеко от канала Москва-Волга. Добираться до них в те годы, тем более в эти тяжёлые дни, когда транспорт работал с перебоями, нужно было несколько часов. Ехать к Одиным, оставив нас, или посылать Раю мама боялась. В телеграмме многого не напишешь. Самой доступной и ещё работавшей связью была почта: и с нею были проблемы, но в той обстановке почтари проявили себя с лучшей стороны. И всё же и через Москву почта в лучшем случае доставлялась через день, а часто и дольше.

Папа прилёг на диван. Мама села рядом.

- Мы с Мишуткой до рынка добежим, там к вечеру подешевле бывает. Мам, что надо? – Рая подмигнула мне. Я не понял, почему вдруг надо ей, да ещё со мной, на рынок. Но я был уже воспитан подчиняться старшим, и хотя хотелось побыть с отцом, но часто ли меня старшая сестрёнка баловала вниманием?

- Правильно, молодцы, надо помогать матери, - сказал папа. – Вер эс из фойл, от нит ин мотл – Кто ленив, тому есть нечего, - изрёк он на идише и сам же перевёл. Какой же это умный язык – идиш, и сколько знает наш отец!

- Чтой-то ты мне подмигивала? Сюрпризик какой припасла? – с надеждой спросил я у Раи, когда она, взяв у мамы деньги и сумку, вышла вслед за мной.

- Ты что, маленький, сам не понимаешь? – многозначительно изрекла старшая сестра.

-А-а-а, понимаю, - протянул я, напряжённо думая.

Утром, когда я проснулся, отца уже не было. На завтрак мама



Плакат обороны
Москвы

дала Рае и мне по пирожку с картошкой и творогом – успела испечь отцу в дорогу. Знаю точно, что сама не попробовала: сколько помню – всё нам да нам с Раей. С папой они иногда ходили в кино, даже в театры – у папы знакомых артистов немало было. Мама как оденется, - красавица. Рая говорила – хорошо, что отец у нас не ревнивый. Но как папа ушёл в ополчение, так ни разу даже в кино не была: куда я, говорит, без Моти. Соседи говорят: настоящая «а идише мамэ».

*Глажу её морщинки:
Старенькая она.
В каждой её сединке
Есть и моя вина.*

*Мама - на то и мама:
Всё, пожурив, простит.
Мало ль от нас бывало
Горестей и обид?*

*Дети для мамы - дети
Вплоть до волос седых.
Нет матерям на свете
Ближе детей своих.*

*В жизни своей не знаю
Преданнее людей,
Чтобы как ты, родная, -
Всё - для своих детей.*

*В жизни своей не помню
Даже и день такой,
Чтоб у тебя заполнен
Был он собой одной.*

*В жизни тебе подобных
Я не встречал нигде,
Чтобы вот так же скромно
И без конца в труде.*

*Всё, что во мне есть лучшего,
Совесть и сердца стук -*

*Всё это мной получено
Из материнских рук.*

*Всё, что было хорошего
В нашей, в моей судьбе, -
Всё это стало возможным
Благодаря тебе.*

Моей новой учительнице во втором классе явно не нравился мой почерк. Зинаида Ивановна, сама ещё молодая учительница, всегда и обо всём говорила уверенно и решительно. Когда мама пришла за мной в школу, Зинаида Ивановна сказала ей, что не понимает, как это удалось Наталье Алексеевне «скинуть», как она выразилась, меня во второй класс. «Тут что-то не так просто», - сказала она, явно на что-то намекая.

- Если вы что-нибудь имеете в виду, - сказала мама без обиняков, - обратитесь, куда следует, как это было принято - мама не закончила, но и так было ясно, когда и как было принято. В учебниках Раи были заклеены, вырезаны или перечёркнуты портреты бывших маршалов, а потом «врагов народа», это их, конечно, разоблачили, «где следует».

- Но у вашего сына не отработан почерк. Он же левша, как почему-то многие у вас - Зинаида Ивановна осеклась и посмотрела на маму.

- Да, многие, - спокойно сказала мама, - сестра моя, например. Это, может быть, потому, что в нашем древнем языке правописание – справа налево. А на тетрадках в косую сын писал ещё до школы, лучше у него уже не будет. Но он что, как левша, делает в русском больше ошибок, чем правши? – намекнула мама и, не дожидаясь ответа и не прощаясь, повернулась и пошла к выходу. Я – за ней, гордый тем, что, как я не понимал, а чувствовал, моя простая мама, лучше которой я уже знал арифметику, оказалась не такой уж простой.

В тот же вечер меня удивила и Рая. Мама ей рассказала о разговоре с учительницей и начала было советоваться, не позаниматься ли мне чистописанием правой рукой, пока ещё я на стадии становления, как вдруг сестра прервала маму вопросом:

- А, может быть, она антисемитка?

Кто такая «она», я понял, хотя до конца не понимал значения слова. Лишь чувствовал, что для меня это плохо. Мама скосила на меня глаза и, не отвечая на вопрос, продолжила разговор. Решили

подождать, сначала определиться с эвакуацией.

Мой «скачок» во второй класс имел для меня ещё одну, как теперь говорят, «негативную» сторону: я стал на год младше всех ребят в классе, а в восьмилетнем возрасте это очень существенно. Я был пусть не самым слабым и маленьким по росту, но всё равно из тех, кого можно было обидеть. Внешне ничто не выдавало мою национальность, в учительских журналах это не значилось, и в нашем возрасте ни ребята в классе, ни я сам не придавали ещё этому значения. Меня никто не обижал, но с первых же дней стали требовать показать домашние задания, поменяться перьевой ручкой – другими писать не разрешали, – чернильницей-непроливашкой, поделиться промокашкой... Мои возрастные и, как следствие, физические недостатки компенсировались общим признанием того, что «слишком много знал».

Вопрос о нашем отъезде решился, когда вдруг, без предупреждения, к нам приехал самый младший брат отца Майор Рынский. В юности он был Меер Ринский, но потом, в молодые годы, где-то на Украине его записали с ошибками, и так за ним и утвердилось: Майор Рынский. Он окончил Житомирское артиллерийское училище, стал командиром Красной армии, командовал артиллерийским дивизионом в составе кавалерийской дивизии в конфликтах с японцами на Халкин-Голе и озере Хасан, был награждён орденами. Наша еврейская семья Ринских гордилась таким лихим командиром Рынским в своём составе. Ещё в Житомире Майор женился на красавице Ларисе и увёз её на Дальний восток, в село Раздольное, где жили командирские жёны, пока мужа воевали. Там у них родились два сына: Лёня, на год моложе меня, и Руфа – ещё на два года моложе.

Воинская часть, в которой служил Майор, перебрасывалась в кавалерийскую армию генерала Доватора. Семьи командиров остались в Минусинске, Красноярско-



Майор Рынский

го края: с Дальнего Востока переехали подальше от японцев, с которыми хотя и заключил Молотов договор о ненападении незадолго до немецкого вторжения, но ждали от них всякого. Как раз накануне отправки на фронт в петлицах Майора Рынского вместо четырёх капитанских кубиков появилась одна майорская шпала.

Так вот, Майор буквально на считанные часы заскочил к нам и к Моисею повидаться и за это короткое время успел уговорить обе семьи эвакуироваться к его семье, в Минусинск, где Лариса нас встретит и поможет устроиться. Договорились, что Моисей уволится, Одины соберутся, заедут в Перово за Ринскими, и – вперёд!

Мама собрала документы. У Раи был табель восьмого класса и справка, что она училась в девятом. А мне, кроме справки о переводе во второй, дали ещё и характеристику, чтобы не было сомнений, что перевели – её написала Наталья Алексеевна. В военкомате дали справку, что папа – в армии, потому что эвакуированным семьям военнослужащих полагались какие-то льготы.

ЭВАКОПОЕЗД

Ходили слухи об эвакуации правительства, а один наш сосед, работавший в метро, говорил, что всё готово к взрывам и затоплению, чтобы не досталось врагу. И всё же мама сомневалась, надо ли нам уезжать, но пришло письмо от папы, где он писал, что не уверен, застанет ли нас это письмо, и следующее напишет в Минусинск. Дядя Моисей с семьёй не приезжали за нами, и неизвестно было, не передумали ли уезжать. А тут вдруг соседка, тётя Женя Волович, работавшая в большой нашей Перовской железнодорожной больнице, приходит к маме:

- Бася Иосифовна, нашей больнице МПС – Министерство путей сообщения - даёт бронь на билеты для эвакуации, завтра надо их выкупить. Я пока ехать не могу: от Аркадия с фронта писем нет, куда ему писать – не знаю. Он не будет знать, где я. Хотите, я вместо себя билеты вам возьму?

Слово «бронь» я ранее успел услышать по отношению к освобождённому от призыва в армию, но в смыслах других, как в данном случае – мест в вагоне поезда - услышал впервые, хотел, как обычно, спросить, но осознал из дальнейших слов тёти Жени.

Позднее я узнал, что правильно по-научному пишется не «бронь», как говорят в народе, а «броня» с ударением на «о», в отличие от удара на «я» для стальной брони. Но тогда нам было не до таких тонкостей.

В те самые напряжённые в обороне Москвы дни вот так, без всяких мытарств, получить билеты в поезд, да ещё и бронированные места – не воспользоваться этим было несерьёзно, тем более – с двумя детьми: где и как доставать билеты на вокзале, переполненном паникующими беженцами? Мама очень переживала, что нет никаких телефонов, чтобы связаться с семьёй дяди Моисея и предупредить их о нашем отъезде: ведь договаривались ехать вместе. Но – что делать? Другого раза у тёти Жени могло не быть, да и всё равно вместе с семьёй Одиных на шестерых получить бронь она бы не смогла: у тёти Жени – два сына, то есть их – трое, и нас – трое. В общем, мама решила ехать. Тут же написала письмо папе, дяде Моисею и тёте Ларе в Минусинск.

В последний день, когда я перед нашим отъездом в эвакуацию был в школе, Зинаида Ивановна предложила нам прочесть наизусть по стихотворению. Я, помню, продекламировал всё «Бородино». Сбился на середине и остановился было, но ребята потребовали читать дальше: уж больно тема подходила ко времени. На Зинаиду Ивановну, наверное, подействовало моё чтение, потому что попрощалась она со мной тепло. Как и весь класс, вернее не весь, а те ребята, которые ещё оставались в Москве. Уезжавших у нас, малышей, не осуждали, но в старших классах было по-разному.

И уже 16 октября, рано утром, мы, с котомками за плечами, с чемоданом и сумками, вышли, заперев дверь наших комнат и попрощавшись в общей кухне с тётей Феней и Люсей, попросив их пересылать нам письма в Минусинск. Мама зашла проститься и к тёте Жене Волович, других соседей будить не стала.

Так совпало, что 16 октября явилось самым тревожным днём для военной Москвы. В этот день началась эвакуация из Москвы наркоматов и посольств, и даже части Генштаба. В ночь на 17 октября железнодорожники вывезли из Москвы 150 тысяч эвакуированных. А 17-го утром по радио выступил партийный секретарь Москвы Щербаков, заявивший, что Сталин в Москве и что столица будет драться до последнего. Но мы уже были в пути.

Электрички не ходили. Пришлось пешком идти до трамвая на Владимирских улицах, километра три от нашего дома. Не знаю, сколько времени мы бы шли с тяжёлой ношей, но нам помогли попутчики – дядя и тётя шли к трамваю, на работу, наверное. Взяли чемодан у мамы и сумки из рук Раи и моих. Трамваем доехали до Казанского вокзала. Хорошо, что ехали рано утром: 16 октября днём трамваи на окраины Москвы уже не ходили. Хотя билеты на поезд у нас были с нумерованными местами, в нашем «отсеке»,

как и во всём вагоне, оказалось народу вдвое больше. Нам ещё повезло: Рая заняла вторую полку, а мама вместе со мной – первую. Верхние полки для багажа тоже были заняты людьми. Поезд и пришёл к перрону на посадку, и тронулся с большим опозданием. Мы с таким трудом добирались и настолько устали от ожидания и посадки, что тут же уснули.

Под утро я проснулся от общего шума, плача и причитаний. Мама одела мне котомку за спину, сунула сумки в руки, и мы втроём, вместе с другими пассажирами, срочно покинули поезд. Ещё теснясь в узком проходе вагона в очереди на выход, я увидел всполохи огня за окнами, а когда соскочил, с чьей-то помощью, на перрон, понял всё: на путях за нашим поездом, судя по всему, горели вагоны-теплушки. Какие-то дяди приказывали, не останавливаясь, отбегать от поезда. Я побежал вслед за Раей и мамой.

По дороге споткнулся о что-то мягкое: оказывается, в предрасветном полумраке не различил женщину, лежавшую на земле. Я закричал от ужаса. Мама обернулась, и, наверное, хотела вернуться, но в это время кто-то крикнул: «Ложись!». Мы не успели лечь, как раздался нарастающий рёв, и над путями станции низко пронёсся огромный, как мне тогда показалось, самолёт, строча из пулемёта. В ответ послышались стрекот пулемёта и выстрелы с земли, но самолёт улетел безнаказанным. Подбежали два пожилых мужчины с повязками, склонились над женщиной. Один из них крикнул маме:

- Чего встали?!

Мы с мамой быстрым шагом – с чемоданом-то и вещами – пошли во тьму на зов Раи и увидели контур дома и её рядом. Теперь только, когда глаза привыкли к темноте, я различил, что мы не одни, а много народу стекается сюда по сырой, не мощёной пристанционной площади. К счастью, фашисты больше не вернулись. Я ощутил, что холодно, и сказал маме. Откуда-то она достала моё пальтишко, потом – Рае и себе.

- Ну, дочка, если бы не ты, нам и одеть сейчас нечего было бы.

Не раз ещё вспомнит мама, как Рая, не растерявшись, сняла вещи со своей полки и вытянула остальные из-под нижней. Вот и сейчас Рая куда-то отошла и вернулась с дядей, указала на меня, и он нас повёл мимо каких-то серых бревенчатых домов, остановился у одного из них и постучал в дверь. Наверное, мы были не первыми, потому что какая-то пожилая женщина открыла нам и молча провела в угол большой горницы, за русскую печь. Там уже что-то было расстелено на полу. Сложив вещи, мы с Раей тут же растянулись на полу, и больше ничего не помню. А утром мама растолкала

нас, мы попили какого-то тёплого ароматного настоя и вышли. На прощанье мама что-то дала женщине и поблагодарила её, та улыбнулась и сказала что-то маме.

На площади стояла санитарная машина – фургончик на базе грузовой полуторки. Увозили последних пострадавших из сгоревших теплушек встречного поезда и раненых при обстреле.

В небольшом вокзале сотни людей терпеливо ждали. Дяди и тёти с повязками на руках следили за порядком. Мама отстояла в одной из очередей и пришла с каким-то талоном и надписью на наших билетах. Рассказала, что ночью при налёте наш паровоз повредили, а другого не было, и наше счастье, что огонь с вагонов военного эшелона, шедшего на Москву, не перекинулся на наш поезд: там загорелись несколько теплушек, остальные успели отцепить и отогнать, а наш поезд отогнать вовремя не могли: не было лишнего паровоза. Поэтому нас высадили. Теперь вместо повреждённого паровоза пригнали другой, и скоро мы поедем дальше. Мы вышли на перрон. Оказалось, что «хвост» нашего поезда – из вагонов метро, в Москве на перроне в ажиотаже мы не обратили внимания. Но они были предназначены для людей, эвакуировавшихся на небольшое расстояние: на следующей станции их отцепили, а добавили только пару зелёных пассажирских.

Пока мы ждали посадки, приютились в вокзале на полу, позавтракали тёплыми картошками, купленными у местных тут же, на перроне, и ещё мама нам дала по кусочку колбасы, припасённой из дому. Рая в бидончике принесла горячей воды из крана на домике с надписью: «Кипяток», и мы попили из кружек вместо чая, а потом умыли руки и лицо и вытерли полотенчиком, извлечённым мамой. Уборная примыкала к домику «кипятка»: в морозы они подогревались одной печкой. Мама ждала меня на улице. Она вообще боялась меня оставить одного, несмотря на мои протесты.

*Разбитый поезд, и огонь, и кровь,
И женщина ничком в осенней луже,
И стоном разрываемые туши
Вагонов – металлических гробов.*

*Проносится невидимый подлец,
Строча свинцом на бреющем полёте.
Так где же вы, защитники небес?
Ну что же вы фашиста не собьёте?*

*И я, крича, бегу в ночную тьму –
И падаю. И вдруг лечу куда-то.
А позже, помню, в хате, на полу
Лежу, накрытый бережно бушлатом.*

*И непонятно детскому уму,
За что и бомбы, и из пулемётов.
О, немцы, вы же люди, почему
По нам, по женщинам и детям, бьёте?*

*И снова поезд. Но в моём мозгу
Запечатлелись страшные минуты.
И через много лет я не могу
Забыть картину этой ночи жуткой.*

*Разбою, пусть через десятки лет,
Ни оправдания, ни прощенья нет.*

Нам повезло: больше наш поезд в подобные переделки не попадал. Да и на станциях не видно было следов разрушений: очевидно, немецкой авиации хватало работы поближе к Москве. Но двигались на восток мы очень медленно, подолгу стоя на станциях и пропуская поезда не только в сторону фронта, но и с техникой и людскими теплушками на восток – Рая сказала, что эвакуируют заводы. Пропускали и санитарные поезда, их было немало.

Чем дальше на восток, тем становилось всё холоднее, и хотя пока на крупных станциях проводницы с помощью пассажиров запасали уголь, но порой по ночам было очень холодно. Мы спали, натянув на себя и накрывшись всем тёплым, что у нас было. Мне-то было всех теплей рядом с мамой, но ей какво было с краю тесной полки. Рае тоже пришлось потесниться и положить рядом к стенке на своей второй полке девочку лет трёх: женщина с двумя ма-



Воинский эшелон. Иллюстрация

лышами занимала одну нижнюю боковую полку, и Рая предложила ей помощь. Женщина была из Курска, ей удалось уехать буквально перед тем, как город заняли немцы. Через дня четыре, когда часть пассажиров стала выходить и места - освобождаться, женщине досталась ещё одна полка. А потом вышла и она, угостив нас с Раей на прощанье конфетками «ирисками» и сказав маме, что у них в Курске было мало евреев, но тоже были хорошие люди. Мама потом долго вспоминала и, смеясь, рассказывала об этой женщине. Последнюю неделю мама спала отдельно от меня.

Пока вагон был переполнен, мой кругозор ограничивался нашим отсеком. Когда же стало свободнее, мне интересно было пройтись по вагону, присмотреться к его устройству, в то время ещё совсем непривычному: деревянные полки, из которых поднималась вертикально к стене только средняя, под нижней ящика не было; столик был закреплён наглухо. Внутренние оконные рамы были без форточек, вентиляция работала плохо и только при движении, и в вагоне стоял характерный устойчивый запах смеси пота, гари, никотина. Даже когда людей стало меньше.

Но мне всё было интересно, хотя и не ново: меня почти каждое лето отвозили в Славянск, к тётке Жене, маминой сестре, и дяде Ушеру Заславским. Правда, туда, как правило, мы ездили в купейном вагоне, а не в общем, как здесь. И сиденья были мягкие, и ещё давали нам матрацы, простыни, полотенца. На столиках – салфетки, на окнах – занавески. И молодые красивые тётеньки в передниках приносили чай в стаканах с подстаканниками. Здесь тётя – проводница только то и делала, что топила котелок в тамбуре, да иногда убирала неудобные, с обшарпанными стенами, туалеты, в которых редко была вода, дверные замки были сломаны, окна заиндевели от мороза...

Слоняясь по вагону, я как-то незаметно для себя познакомилась с Сергеем – так серьёзно он представился. Он ехал с мамой и старшим братом в Новосибирск. У брата был какой-то примитивный приёмник, который иметь не возбранялось, а вообще-то приёмники надо было сдать, чтобы не слушать немецкую пропаганду. Мы всем вагоном с нетерпением ждали новых сводок Информбюро, тем более, что появились первые сообщения: немцев остановили под Москвой! Речь шла пока об эпизодах на отдельных направлениях, но всем так хотелось побед. С Серёжкой мы смотрели в окно и показывали друг другу на всё для нас новое.

Потом я заговорил с девчонкой – сверстницей, которая ехала с мамой через отсек от нас. Поводом для знакомства послужила

книжка Гайдара, которую она читала. Я подглядел и сказал, что и у меня есть дома «Тимур и его команда», и хотя я читал, но ей, пожалуй, рано. Я ожидал, как уже бывало, что меня уличат в нескромности, но девочка почему-то только пожала плечами и спросила, в каком я классе. Она мне очень напомнила Соню из пионерлагеря. Я узнал, что девочку зовут Роза, а маму – тётя Белла, и что они едва успели уехать из Вильнюса до прихода фашистов. Серёжка, видно, приревновал и, выходя в Новосибирске, бросил:

- А Розочка твоя – еврейка!

- Ну и что? – не понял я, но Серёжку уже тянул к выходу старший брат.

Тётя Белла была очень приятная, ещё молодая, и с нею сразу сдружились и мама, и Рая. Она до войны преподавала музыку и боялась, что останется без работы. Тётя Белла хотела выйти в Красноярске и там и остаться, но там у неё никого не было, и в ответ на просьбу дочери она решила продолжить путь с нами, хотя мама ей честно сказала, что мы и сами едем «на деревню к бабушке». Роза не поняла, и я гордо пояснил Розе, что это так говорят, и почему. Зато Роза знала литовский и немного идиш. Когда она мне продемонстрировала свои познания на идише, я всё почти понял, но сам



Дети в эвакуации

ответить не мог. Больше мы и не пытались.

Запасы наши почти иссякли, и приходилось докупать на станциях. У мамы кончались деньги. Всё-таки недели через три наш поезд доплёлся до Красноярска. Одевшись потеплей и собрав вещи, мы вышли. Былолюдно и шумно. Столько людей в овчинных полушубках и шапках-ушанках я ещё не видел. Мороз был сильный, а у них у многих ворота распахнуты, уши шапок не опущены.

- Что, им не холодно? – спрашиваю маму, - а ты мне даже уши шапки внизу завязала.

- Сибиряки, - уважительно говорит мама. – Они сильные и стойкие!

В прокуренном, неприветливо холодном вокзале долго ждали поезда на Абакан, столицу Хакасии. После Москвы я никак не мог понять: что же это за столица, такая неухоженная даже у вокзала. Но Рая сказала, что город рабочий, здесь добывают уголь, и я должен смотреть другими глазами. Наконец, из Абакана в каком-то небольшом холодном автобусе, больше похожем на крытый грузовик, вконец промёрзшие, добрались до Минусинска. Сибирская глубинка встретила нас морозом градусов далеко за двадцать из пятидесяти возможных и нередких, чистейшим голубым небом при ярком солнце – ну точно, как у Пушкина, хотя писал он не в Сибири. И я было начал:

– Мороз и солнце. День чудесный!...

Но мама и Рая были так серьёзные, что я осёкся. Так вот она, э-ва-ку-а-ци-я...

ЭВАКУАЦИЯ. НАЧАЛО.

Так вот он, Ми-ну-синск. Так вот она, э-ва ку а-ция.

Несмотря на сомнения старших, которых явно волновала неизвестность, мы с Розой с интересом и оптимизмом разглядывали то, что удавалось увидеть из очищенной части заиндевевшего окна автобуса. Город мне сразу понравился тем, что здесь было много незнакомого, не похожего ни на Москву, ни на Подмоскowie и ни на украинский Славянск, а больше я вроде бы нигде и не успел пожить за свои восемь лет. Центр был весь какой-то ровный, старинный, двухэтажный. На улицах ещё не намело сугробы снега, но морозно

и, когда дышишь, на краях «ушей» шапки и на шарфике сразу иней, а подольше – и чуть ли не ледышки. На улицах больше конных саеней, чем машин.

Белла с Розой вышли у исполкома: в автобусе Белле посоветовали обратиться сразу в Отдел культуры: там регистрировали и помогали с подселением «культурработникам». Белла записала адрес тёти Ларисы, к которой мы ехали, а мама – их фамилию. Я её не запомнил, длинная литовская. Шофёр остановил для нас рядом с Ачинской, и нам оставалось пройти совсем немного. По утопанной пешеходной тропинке мы добрались до дома номер сорок.

Большинство бревенчатых домов стояли фасадами вдоль улицы, нас же встретил высокий глухой забор. Для стука была сделана какая-то колотушка: потянул ручку – и стук. Но стоило нам только остановиться у ворот, как за ними раздался грозный лай. В щелку я разглядел огромного пушистого пса-волкодава, бегавшего на цепи вдоль двора. Цепь верхним кольцом была надета на натянутую проволоку, кольцо свободно скользило по ней, и псу было вольготно. Тут же, на ходу натягивая полушубок, вышла женщина и, цыкнув на собаку, подошла по расчищенной в снегу дорожке к воротам и открыла нам. Молча кивнув, подхватила в руки две сумки и пошла к дому. – приземистой некрашеной бревенчатой избе, стоявшей в глубине большого двора. Собака, рыча, издали уставилась на нас, но дисциплину соблюдала.

На крыльце в одну ступеньку, крытом навесом, женщина, видно по привычке, потопала ногами в валенках, как бы стряхивая снег, и открыла невысокую дверь. Мы потопали ногами, как и она, и вошли сначала в сени, увешанные и уставленные чем-то, а оттуда – в жарко натопленную большую горницу. Тут же подбежали две девочки года по полтора, за ними – два мальчика лет семи и пяти.

- Намаялись, однако, - поставив сумки, повернулась к нам женщина. – Лара вас уже, чай, неделю ждёт со дня на день. И мы вместе с ней. Вас ведь Басей Осиповной величают?

И дальше: маму все в доме и соседи звали Осиповной – так, видно, им было привычнее, чем Иосифовна. Хозяйка сняла полушубок и даже в своём домашнем простом платье поразила статностью фигуры, правильностью профиля лица и длинной толстой косой. Было ей на вид лет за тридцать, помоложе мамы.

Мама прежде всего расцеловала мальчишек Лёню и Руфу, моих двоюродных братьев, и хозяйских девочек Машеньку и Зиночку. Достала каждому по большой шоколадке «Алёнка», которые папа до войны нам с Раей всё время приносил. Мне тоже хотелось, но я вы-

держал: я ведь теперь тоже был стойкий сибиряк.

Хозяйка представилась Елизаветой Петровной, провела нас вглубь горницы и показала, куда поставить вещи. Посреди горницы, как бы деля её на части, была огромная русская печь с лежанками с двух сторон. Два окна, и ещё одно – в отгороженной кухоньке с небольшой печуркой – плитой. В глубине – ещё одна перегородка не до потолка с дверью, за ней жили сами хозяева. Туда мне мама сразу строго-настрого наказала не заглядывать.

В горнице вся мебель была, как видно, самодельная, но прочная: большой шкаф у стены, открытые полки вдоль стены, большой стол и штук восемь табуреток. Одна металлическая кровать и два дощатых топчана. Ещё под окнами, вдоль всей наружной стены, недавно сколоченный длинный стол из свежих строганных досок, на котором лежали все учебники и тетради и за которым занимались, писали, рисовали. Но главное – была ещё этажерка со смесью самых разных книг, частью каких-то старинных, частью предвоенных, от Пушкина и Толстого до Николая Островского и Фурманова. И растрёпанные детские. Через минуты две из-за перегородки застенчиво вышла ещё одна девочка лет одиннадцати, старшая дочка хозяев. Галочка тоже получила «Алёнку». Тут уж мама сжалилась надо мной и извлекла ещё одну шоколадку, но с условием, что съем после обеда. Елизавета Петровна тут же попросила Лёню сбежать к маме Ларе на работу, в женотдел. Видя, что для всех с нами вместе здесь тесновато, мама нерешительно спросила Елизавету Петровну, не посоветует ли она, где снять комнату. Хозяйка тут же ответила, что обо всём мама узнает от Лары.

Всё было интересно и ново. Но вот мне потребовалось в туалет. Хозяйка скомандовала одеться и взять с собой листок. Руфа вышел со мной, познакомил с собакой. Пёс по кличке Таймыр оказался добродушным и тут же, обнюхав меня, завилял хвостом. Слева, в глубине двора, стоял небольшой симпатичный домик, построенный, по виду, сравнительно недавно. А вот «туалет» был совсем не приветливым: наспех сколоченный из досок, прибитых к врытым в землю столбам, он даже не имел крыши, и всё его «пополнение» тут же замерзало, в лучшем случае присыпанное снегом. Даже в сорокаградусные морозы люди прибегали сюда и наспех пользовались этим сооружением, которое я долго и просто уборной затруднялся назвать. У нас в Перове тоже были «удобства во дворе», но была крыша, чистота, плотные двери и стены, да и морозы не такие. Правда, в Минусинске, окружённом горами, не было сильных ветров, и поэтому даже пятидесятиградусные морозы перено-



Минусинск предвоенный.

сились легко. Но тогда меня этот «туалет» испугал настолько, что, вернувшись в дом, я отозвал Раю и со слезами на глазах сказал, что хочу домой, в Перово. Жёсткая Рая ответила, чтобы не морочил голову и лучше бы расспросил Галя про школу.

Галя училась в четвёртом классе начальной школы у рынка, где предстояло учиться во втором и мне. Серьёзная Галя рассказывала, как взрослая. Школы города, не рассчитанные на такой приток эвакуированных, были переполнены, за партами сидели по трое, к тому же классы были небольшими по размеру. Хорошо, что я привёз с собой учебники второго класса: их не хватало. И несмотря на то что война длилась всего пять месяцев, уже остро не хватало не только тетрадей, но и любой бумаги вообще. А вот тетрадей мы с собой взяли мало. Сейчас, перед 7 ноября, в школах была неделя каникул, а сразу после праздников мне предстояло начинать учиться.

Запахавшись, прибежала тётя Лара, за ней – Лёня. Я видел их с дядей Майором фото, но она была ещё красивее. Расцеловавшись с нами и расспросив про дорогу и про приезд к нам дяди Майора, от которого, вздохнула она, уже месяца два не было писем, тётя Лариса энергично и деловито перешла к решению наших проблем. Остаёмся какое-то время в этой самой комнате вместе с нею, там посмотрим. Через свой женотдел она попросит со временем что-нибудь себе и нам. Но хозяева не возражают, если мы ещё



Лариса Рынская

у них поживём. Убедившись, что хозяйка вышла, а Галя не слышит, тётя Лариса сказала маме:

- Отличные люди, на все сто, и не антисемиты. А то ведь – сама знаешь, всякое бывает. В общем, сибиряки – нормальные люди, но есть и бывшая белогвардейщина, осевшая здесь. А сами хозяева - с Крайнего Севера.

Тётя Лариса рассказала маме, что хозяева с красивой фамилией Абросимовы перебрались в Минусинск сравнительно недавно из Норильска, где Василий Иванович, тяжело работая, получил право на раннюю «северную» пенсию и, купив в Минусинске двор и старый дом с флигелем, устроился работать начальником небольшого гаража и собирал деньжонки на новый дом. Елизавета Петровна, учительница начальной школы, после переезда и рождения Машеньки не работала. В небольшом флигеле в глубине двора жила её младшая сестра Аня с дочуркой Зиной, ровесницей Машеньки. Аня очень тяжело переживала горе: всего через три месяца войны, через два месяца после призыва, погиб её муж. Буквально на днях она получила «похоронку». Её успокаивали, убеждали, что, может быть, это ошибка, за короткое время войны такое уже бы-

вало, но Анна Петровна страдала безутешно. Придя с фабрики, где она работала, Аня брала в руки гитару и, рыдая, пела и пела. Старшая сестра опасалась за её психику и, чтобы не отразилось на ребёнке, держала маленькую Зиночку у себя.

- Я как чувствовала, что приедете: щей наварила и пирожков напекла, - перешла тётя Лариса к вопросу, который и меня уже начал волновать. - Лизочка, - обратилась она к вошедшей хозяйке, - Сегодня пообедаем вместе, а? Как Вася, сегодня в городе? - к маме: - Если никуда не уехал, - должен подъехать на обед. - Лёнь, сбегай - посмотри, тётя Аня дома? Вроде она на бюллетене была.

- Да дома она, всё убивается, однако, - тётя Лиза не в первый раз произнесла своё «однако», и я тихонько спросил у Раи, что это она часто повторяет это слово.

- Это присказка такая у северян, - сказала Рая тихо. Я не понял, что такое «присказка», но не успел переспросить, как дверь распахнулась, и вошёл, как мне показалось, высокий широкоплечий человек в чёрной овчине и в чёрной же ушанке, и сразу от него пахло бензином.

- А у нас гости, однако! Ну, с приездом! Как там Москва, стоит? Бьют немца под Москвой! Вот только, как выезжал из гаража, передавали: катится он к ядрене Фене!

Я краем глаза заметил, как маму передёрнуло, но она тут же взяла себя в руки, только посмотрев на меня. Василий Иванович внимания не обратил и, заполонив всю горницу своим мощным голосом, начал расспрашивать про нашу московскую жизнь, про отца. Услыхав, что отец добровольцем, в его пятьдесят лет, в ополчении, он вздохнул:

- А вот меня замариновали. У нас предприятие номерное, бронь. Тут, говорят, тоже кому-то надо работать, одних баб за руль не посадишь. Молодцы вы, однако, что бы там про вас не говорили. Вот и Ларин, и твой, Бася - с ходу перешёл на «ты». Нравитесь вы мне. Вот и женщины у вас красивые, - добавил дядя Вася и сам первый засмеялся.

- Ну это ты брось, - в тон ему ответила тётя Лара. - Как там про русскую женщину: «Красавица - миру на диво. Румяна, стройна, высока...» - это всё про твою и нашу Лизу.

- Признаю - дядя Вася взял за руку жену, накрывавшую на стол. Вот хрен им, фашистам! - вдруг сказал он с силой ни с того, ни с сего, показал огромную фигу. Извлёк из бокового кармана бутылку водки, поставил её на стол и пошёл за перегородку переодеваться.

Лёня вернулся: тётя Аня сказала, что придёт знакомиться завтра, ей не до застолья.

- Горько ей, однако, - вздохнула тётя Лиза. – Не будем её тревожить.

- Ну-ка, ребята, руки мыть – и к столу! – скомандовала тётя Лара. Металл в голосе. Командирская жена.

Рукомойник – сразу справа от входной двери. Над столиком с простой чугунной раковиной, с подставленным под неё ведром, висел на стене большой плоский прямоугольный бак из кровельной стали, окрашенной коричневой краской, с краником внизу. На баке были остроумно и выразительно нарисованы глаза, нос и смеющийся зубастый рот.

- Это наш Мойдодыр, - сказал Лёня.

- Сам читаешь? – спросил я.

- Понемногу, - скромно ответил братишка, чуть склонив на бок голову и в конце слова произнося вместо «г» среднее между «г» и «х». Как и отец, когда заезжал к нам. Что ж, всю жизнь среди казаков.

- Моем, моем трубочиста...- приговаривал остроумный уже в свои семь лет Лёня, пока я умывался. – Завтра мне в сад не идти, праздники, так я тебе тут всё покажу, - деловито закончил братишка. Самостоятельный парень. И Галя, и он, и даже пятилетний Руфка – все тут какие-то рассудительные. Сибиряки!

После совместного обеда, который мне показался самым вкусным из всех – кроме, конечно, маминых – дядя Вася сел в машину, съездил куда-то и привёз три новеньких топчана, таких же, что стояли в горнице. И ещё три матраца. Всё это поставили к задней стене, решив устанавливать топчаны только на ночь, чтобы днём было по-свободнее. Всё-таки горница была проходной, тётя Лиза проводила в кухне немало времени, а Машеньке с Зиночкой надлежало быть под её присмотром, то есть в горнице. Нужен был простор.

- Ну как тебе? – спросила тётя Лара у мамы, когда они ненадолго остались одни. Моё присутствие – не в счёт. – Не тесно?

- Какие могут быть вопросы в такое время? – ответила мама и добавила на идише: - Бэсер а бисл, аби гут – лучше немного, лишь бы хорошо.

- Ну так ин а гутер шу - в добрый час - добавила тётя Лариса. Я удивился, что она говорит на идише. Она закончила:

- Попросим хозяев – вам надо с дороги отдохнуть. Завтра устроим баньку. И завтра, шестого ноября, и восьмого мастерские работают: война. Так что сходим и насчёт работы. Я с утра могу иногда

задерживаться дома, зато вечерами часто принимаем тех женщин, которые работают днём. В женотделе наше дело главное – помогать жёнам фронтовиков и просто матерям – одиночкам.

- Мотя обещал написать сюда, к вам.

- Вот и от Майора что-то писем нет давно. Но сейчас почта, понятно, часто задерживает. Будем надеяться.

- Мэ зол нит вайсн дер фун – Чтоб мы не знали этого, - закончила мама так, как не раз они с папой любили повторять.

*Минусинск. Небольшой городок –
Деревянный, сибирский, суровый.
В стороне от железных дорог.
Без домов современных и новых,*

*Без заводов и фабрик больших.
Был известен район Минусинский
Только тем, что Ульянов здесь жил
В продолжительной ссылке сибирской.*

*Полноводен, могуч Енисей.
Минусинск, этот край изобилья,
Был природною житницей всей
Необъятной Восточной Сибири.*

*Строй высоких Саянских хребтов,
Как стеной, этот край ограждает
От морозных сибирских ветров.
Здесь пшеницы зерно вызревает.*

*Здесь зажиточный сельский район.
Здесь – простые радушные люди.
Им – спасибо и низкий поклон:
Мы их добрый приём не забудем.*

*Я со здешними был, как родня:
Если даже меня задевали, -
За живое не брали меня,
А шутя москвичом называли.*

*С нами хлеб свой насущный и кров
Полной мерой Сибирь разделила.*

*Как бы климат здесь не был суров,
Нам тепло в этом климате было.*

*А когда затянулась война,
Всё для фронта страна отдавала, -
И нужда нас связала одна,
Как и воля к победе связала.*

МИНУСИНСК: ПЕРВЫЕ ДНИ И ПЕРВЫЕ УРОКИ

Утром после завтрака тётя Лара повела маму в швейную мастерскую насчёт работы, а потом обещала показать ей, где что: магазины, рынок, поликлиника, школа. Городок небольшой – что такое 30 тысяч, когда у нас в Перове было вдвое больше, не говоря уж о Москве. Но для жизни всё есть, даже театр. Краеведческий музей Минусинска славится на всю страну. Библиотека, одна из лучших в Сибири, известна и тем, что Ленин, будучи в ссылке в Шушенском, где написал свои знаменитые труды, пользовался библиотекой и хвалил её очень.

За счёт нас, эвакуированных, население как минимум удвоилось. Но, похоже, жизнь продолжается по всем статьям. Лёня с гордостью рассказывает мне, как их всем детским садом водили в театр на утренники. Мы одеваемся: я - своё московское стёганое



Минусинск

пальто с кроликовым воротником и такой же ушанкой, с шерстяным шарфом, на ноги – шерстяные носки и валенки. Лёня – в овчинном полушубке ниже колен, в такой же ушанке, валенках. Овчинные рукавички надевает сам и такие же вместо моих варежек предлагает мне: варежки могут намокнуть и превратятся в ледышки, если будем снежками кидаться. Руфа со своим насморком остался дома под присмотром тёти Лизы.

Мы с Лёней вышли во двор. Меня ослепил снег: в солнечное утро он буквально искрился мелкими блёстками. Дорожку во дворе расчищала высокая молодая женщина в чёрном полушубке и сером платке, ловко орудуя деревянной лопатой.

- Это наша тётя Аня, - Лёня подвёл меня к женщине.

- Здравствуйте, - сказал я привычно.

- А-а, пополнение, - буднично произнесла тётя Аня, продолжая работать. – Милости просим. Тебя как зовут? В каком классе? Маленький, однако...

Под ярким солнцем заснеженная широкая Ачинская с деревянными домами и заборами выглядела деревенской, как в книжках на картинках. Но весёлой, потому что почти на каждом доме были вывешены красные флаги. Был он и на нашем заборе: как видно, дядя Вася его повесил рано утром, уезжая на работу. Лёня повёл меня к перекрёстку центральной улицы Шевченко, на которую и был «нанизан» весь город, протянувшийся, как и эта улица, вдоль Енисея.

Ещё не дойдя до перекрёстка, мы встретили трёх мальчишек: высокого, лет двенадцати, и двух коренастых лет по девять. Коля Крестьянинов был вожаком ватаги ачинских ребятишек. При нём всегда были его «оруженосцы». После первых же слов знакомства было решено пройти по главной улице, чтобы и мне показать, и самим посмотреть предпраздничный центр.

Старые двухэтажные дома центра были расцвечены красными флагами, портретами вождей и лозунгами: «Враг будет разбит, победа будет за нами!», «Смерть немецким оккупантам!» Указав на последний, я прибавил то, что уже ходило по Москве: «...и советским спекулянтам». Должен же был я внести и что-то своё, как бы вступительный взнос. Ребята начали расспрашивать про Москву, про налёты, зенитки и аэростаты – словом, про то, что интересно мальчишкам. А я получил кличку «москвич», а чуть позже, подивившись, что моя фамилия не Рынский, как у братишки, а через «и», меня ещё и окрестили Папой Римским.

В центре моя память механически зафиксировала двухэтажное красивое, но требующее ремонта здание библиотеки. Магазины



театр Минусинска

«Школьно-письменные принадлежности», «Гастроном», «Промтовары», «Детские товары» с типовыми для всех городов безликими вывесками и уже полупустыми полками, несмотря на предпраздничный день, выглядели буднично. Перед исполкомом на главной площади - деревянная трибуна, обтянутая к празднику красным крепом. Завтра здесь будет демонстрация.

Мы дошли до большого здания театра, обращённого главным фасадом к Енисею. Повернули назад, прошли мимо школы-десятилетки, в которой предстояло учиться Рае в девятом и Кларе – в седьмом классе. Прошли мимо госпиталя и по одной из поперечных улиц вышли на окраину города, совсем не далёкую. За нею, всего метрах в трёхстах, вдоль города протянулась гряда сопок. А на сопках, по всей их длине, как сказали ребята, - два , а где и три ряда окопов, в которых до сих пор полно оружия и патронов. Но сейчас всё под снегом, подождём до весны, - сказали старожилы.

Я заметил, что у местных ребят – свой сибирский говорок, немного окающий, но не по-вологодски, а какие-то отрывистые окончания слов. У сибиряков лица – широкие, не узкоглазые, но как бы с прищуром. Если бы из фильма «Два бойца» надо было выбрать олицетворение русского солдата, я предпочёл бы не правильный профиль Бернеса, а широкое лицо Андреева. Хотя и у Бернеса, не

зная заранее, не «заподозришь» еврейской крови. Во мне и самом никто ни разу не «признавал» еврея, пока я сам не говорил об этом, да ещё порой и доказательств требовали. Главное доказательство, которое мне сделали по всем правилам веры родителей после рождения, у меня всегда было с собой.

Коля Крестьянинов был второгодником в четвёртом классе. Но не злостным: уроки он мало пропускал, просто у него не получалось, а думать он, как говорил, не хотел а может быть просто не был приучен. Периодические рукоприкладства отца - шофёра практически не помогали. За Колю домашние задания исправно выполняли «придворные». Он не обижал ребят: не вымогал, не требовал. Наоборот: ему можно было пожаловаться, и тогда он наказывал обидчиков. И заводилой в компании Коля не был. Просто он руководил тем, что придумывала большей частью Нинка Водовозова, которую как раз мы встретили на обратном пути.

Я сразу почувствовал, а Лёня подтвердил, что атаманша – Нинка. Небольшого роста, она с первого взгляда не выглядела на свои лет тринадцать-четырнадцать. Лишь послушав её немного хриплый, совсем не девичий «окающий» говорок, присмотревшись к уже оформившейся груди, к трезвому, оценивающему взгляду полураскосых глаз, можно было понять, что она здесь – старшая по возрасту, опыту и по «иерархии». Выслушав доклад Коли, атаманша подошла ко мне вплотную, посмотрела в глаза:

- Москвич, говоришь? А Сталина видел? Мал ещё, - резюмировала она и отвернулась. Лишь гораздо позже я узнал её возраст. Дошли до нашей улицы и «разбежались» часов до четырёх. Нинка свернула в широко открытые ворота, почти напротив наших. В просторном дворе видны были сарай с воротами, несколько саней, длинный бревенчатый дом с несколькими дверьми и одним длинным крыльцом. Там-сям во дворе валялись снопы сена.

- Постоялый двор, - сказал Лёня, проследив за моим взглядом. – Нинка – дочка дяди Федя, он тут как бы распорядитель. Она как четыре класса кончила, дядя Федя сказал: «Хватит! Для твоей работы больше не надо!» Она там комнаты убирает. Но почему-то к нам в компаньку всё время приходит. Видно, во взрослые рано ей.

Молодец у меня братишка: соображает! Всё-таки как часто взрослые недооценивают наблюдательность детей, которые очень многое подмечают, даже ещё не всё понимая. Я и сам, как и Лёня, тогда тоже не всё, а, может быть, и ничего не понимал. Но в неплохой детской памяти многое в подробностях откладывалось, особенно то и те, с чем и с кем знакомился впервые. А с годами приходили

осмысление и оценка.

Мама сказала нам с Раей, что сразу после праздников, как только мы определимся в первый же день со школами, она выходит на работу в швейную мастерскую, совсем недалеко от дома, не доходя до центра. Когда буду приходить из школы, мне Елизавета Петровна поможет разогреть, а посуду мыть должен научиться сам. А Рая приходить будет позже и всё делать сама. Когда я попытался выразить, как мне не нравится мыть посуду и не подождёт ли посуда до прихода Раи, старшая сестра, уже в который раз, сразила меня цитатой, что человек должен делать не то, что хочет, а надо, чтоб хотелось того, что делаешь. Я тогда ничего не понял, но почему-то не только запомнил цитату на всю жизнь, но и посуду стал мыть и по сей день мою с удовольствием.

К вечеру дядя Вася истопил баньку, стоявшую позади дома, и мы с Лёней били его веничком, а потом он «отдраил» нас. После нас парились женщины и девочки. Воду заранее заготовили, доставая из глубокого колодца деревянной бадьёй при помощи толстой верёвки, навёрнутой на ворот. Воду из бадьи переливали в ведра, а потом – в деревянную большую кадку, стоявшую в доме, в кухне. В баньку холодную и разогретую в доме горячую воду ведрами заранее приносили и разбавляли, для чего там стояли две небольшие кадки и имелись черпаки. Когда морозы крепчали, колодец как следует утепляли сверху, а зимой пользовались для питья водой, привозимой водовозами на санях в огромных бочках с Енисея – там её доставали бадьями из прорубей. А для баньки – растапливали снег. В летнее время лучшей водой для бани, особенно для мытья головы, была собранная с крыш дождевая вода.

Из-за разницы во времени с Москвой в четыре часа, мы ещё не знали о докладе Сталина по поводу 24-й годовщины Октября, а утром узнали на демонстрации, на которую пошли все вместе – не в колонны, а просто посмотреть. С трибуны выступали, все заканчивали несколькими лозунгами во славу вождя, партии и Красной армии и обязательно – «Смерть немецким оккупантам». И новым, из последнего доклада: « Наше дело правое. Победа будет за нами». Демонстранты дружно кричали «Ура!», поднимая выше портреты и транспаранты, размахивая флагами. Мы тоже кричали и размахивали флажками, купленными мамой. Наверное, никогда в будущем настроение народа не было так единодушно и искренне, как в эти тяжёлые военные годы. А придя домой, включили радио - такую же чёрную «тарелку», как у нас в Перове. Радио вело трансляцию из Москвы, где на Красной площади проходил парад. Выступления

Сталина 6-го ноября на заседании и парад в прифронтовой столице 7-го ноября действовали на народ так, как будто победа уже свершилась. И нам они подняли настроение. Но оставалась горечь оттого, что пока не было писем ни от отца, ни от дяди Майора.

Восьмого ноября мама вместе с Раей, с моей посильной помощью, разобрали наши пожитки, разложили по полкам и повесили их холстиной, которую дала хозяйка. Утром девятого Галя повела нас с мамой в школу, где училась и сама. Вышли на улицу, примыкающую к базару. Интересно было смотреть на подъезжающие сани и целые обозы, запряжённые лошадьми, а то и волами. По дороге заглянули на базар – просто огромную площадь, никак не огороженную. Небольшая часть её была занята длинными дощатыми прилавками, параллельными друг другу, а остальная площадь предназначалась для продажи прямо с возов или саней. Ещё было сравнительно не так морозно, и после осеннего урожая всё продавалось с саней мешками. Если покупатель загружал погреба запасами на зиму, – продавец мог отвезти ему купленное прямо на своих санях.

Всё можно было купить в развес с прилавков, но дороже. Мы с мамой подивились маленьким засоленным арбузам: не знали, что здесь, в Сибири, арбузы вызревают. В Минусинске делали такой вкусный домашний варенец, куда даже украинской ряженке. А молоко продавали прямо ледышками литра на три, замороженными в холодных сенях в специальных глиняных глубоких тарелках, расширяющихся сверху, чтобы легко было ледышки извлечь. Тогда, осенью 1941 года, на базаре было ещё всего в изобилии, но уже дорого. То ли ещё будет...

В школе нам не обрадовались. Небольшая начальная школа размещалась в одноэтажном кирпичном здании с небольшими классами. Наплыв эвакуированных переполнил школу настолько, что пришлось сажать за парты по трое. Парты стояли и по обе стороны стола учителя, вплоть до передней стены, так что ребята вынуждены были выходить из-за передних парт, чтобы увидеть, что написано на отвечающей доске.

Нина Николаевна встретила нас усталым, устремлённым в пространство взглядом. То, что я практически новичок, не учившийся в первом классе, её не смутило. В ответ на предупреждение мамы, что я левша и у меня пробел в чистописании, учительница сказала, что всё равно кончатся запасы тетрадей в косую, скоро и в линейку не будет, так что если это маму волнует, придётся почерком заниматься дома. А вообще-то я и так моложе и меньше других, поэтому, чтобы ребята не дразнили, лучше бы мне постепенно перейти



парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

с левой руки на правую. В её практике, говорит Нина Николаевна, есть такой случай.

Разговор перешёл на положение в семье, и, рассказав про отца, мама в свою очередь услышала, что и у Нины Николаевны муж на фронте, двое ещё маленьких детишек, младший всё время болеет, и голова идёт кругом. И в классе – масса проблем у ребят: безотцовщина, а у эвакуированных и вообще порой ни учебников, ни тетрадей, а то и нет куска хлеба и тёплой одежды. Она просто не успевает всё охватить.

Мама мало чем могла помочь: в мастерской предупредили, что придётся задерживаться часов до восьми вечера, а то и позже, если есть из чего шить. Было тяжело, но не роптали: положение страны хорошо понимали в народе. У нас ещё было кому присмотреть за детьми. А у меня ещё и старшая сестра была.

- С моим сыном у вас проблем не будет, был бы только здоров – и мама постучала по парте. Нина Николаевна наконец-то улыбнулась, прощаясь с мамой.

Прозвенел колокольчик в руках дежурного: электрического звонка не было. Кстати, в те годы не было его и в нашей подмосковной школе. Мама попрощалась и ушла, Нина Николаевна вышла с нею,

а в класс хлынул поток ребят. Началась толкотня у вешалок в заднем углу, где снимали верхнюю одежду. Я продолжал стоять у стола, и кое-кто из ребят остановился около меня. Среди них оказался Валька из нашей «ачинской» компании, «оруженосец» Коли.

- Да это же москвич! Папа Римский! – громогласно представил он меня. Меня окружили, но тут прозвучало: « - Атас!», и все бросились по своим местам. Я побежал в угол снимать пальто.

При входе учителя все встали. Я поспешил вернуться к учительскому столу. Нина Николаевна поздоровалась и разрешила сесть. Потом спокойно, но властно сказала девочке на третьей парте в среднем ряду пересесть в крайний ряд, а мне – сесть на её место за парту, где оставались двое. Мальчик рядом со мной сразу написал мне на лоскутке бумаги: «Тебя как...». Он не дописал, я приписал свои имя и фамилию, и сосед продолжил: «Марат Алин». Девочка, третья за партой, не поворачивая головы и только кося глазами, изображала безучастность.

В первый день Нина Николаевна меня не вызывала, только подходила и смотрела, что я пишу своей левой. После второго урока, на большой перемене, нам дали по небольшой, но мягкой и вкусной белой булочке. Пришёл старший пионервожатый Саша и, по подсказке Марата, я записался в кружок под громким названием «ансамбль», который репетировал раз в неделю и иногда выступал,

когда просили руководительницу и присылали автобус. Это интересно, потому что узнаем весь город. Марат рассказывал об ансамбле, как старожил, хотя приехал с мамой из Ленинграда в сентябре. От его отца тоже не было писем, и это нас сближало.

После последнего нашего урока к дверям класса подошла Галя. У них в четвёртом ещё был один урок. Галя вывела меня из школы на улицу, показала, куда идти и где свернуть к дому, но тут появился мой одноклассник, сосед - «оруженосец», и Галя приказала ему «взять на прицеп новичка», ещё не ведая, что мы уже знакомы. Галя, вышедшая



Плакат, призывающий
женщин в тылу заменить
мужчин.

на мороз раздетая, побежала в школу, а мы с Валькой двинули на Ачинскую, по дороге соревнуясь в попадании снежками в столбы. Конечно, я, «малолетка» и без опыта, начисто проиграл.

Вечером мы с Раей написали письмо папе. Рая рассказывала о том, как мы ехали в поезде и как тепло нас встретили. А я приписал о празднике, демонстрации и школе. Мама пришла поздно и села писать в кухне, одновременно готовя нам на керосинке на завтра, и закончила письмо уже тогда, когда все давно спали.

Письмо от отца пришло только дней через десять после нашего приезда. После первой радости вообще от факта получения письма пришла досада на то, что письмо было отправлено месяц назад, и мы не знали, что с ним сейчас. Тем более что, по сводкам Совинформбюро, единственному источнику официальной информации, враг стоял на самых подступах к Москве, а по словам раненых и эвакуированных - московское ополчение было разбито. Оставалось только надеяться.

Горечь удваивалась ещё и из-за того, что и тётя Лара почти с начала войны ничего не знала о дяде Майоре. В Минусинске было много семей его товарищей по полку, и некоторые из них уже получили «похоронки» или сообщения от однополчан о пропавших без вести. О Майоре ничего не было известно. Кавалерийская армия Доватора несла огромные потери в танковой войне. Была лишь надежда, что дядю, как артиллериста, направили в какую-нибудь другую часть.

В жизнь класса я вписался, компенсируя свои естественные «недостатки» - на год моложе, малый рост и то, что левша – терпимостью к насмешкам, безотказностью в помощи ребятам и участием в классных делах и делах школы. И как только насмешки потеряли новизну, я стал «одним из многих», и ко мне интерес пропал, что мне и надо было. А вот мой сосед по парте Марат, лишённый трёх моих «дефектов», почти отличник и «солист» в «ансамбле», но самовлюблённый и стремящийся быть на виду, вызывал отторжение многих ребят класса, хотя и нравился некоторым девочкам.

Лично я его не отторгал, потому что уже в том возрасте, по примеру отца, привык ценить талант и прощать ему многое. Я помнил рассказы отца маме и Рае о «клиентах» его скупки – выдающихся артистах, музыкантах, режиссёрах, у каждого из которых были свои отрицательные стороны, но отец к ним относился снисходительно, считая, что главное – то, что главное: отдача этих людей. Рассказав Рае о Марате и следуя её совету, я старался и в кружке, и в классе взять у него всё полезное. Главным оказалась жадность к новому и

работоспособность. Понятно, что я в то время не мог бы сформулировать эти выводы такими терминами.

*Возвращаюсь к стареньким страницам
Памяти. И думается мне:
Всё-таки нельзя нам не гордиться
Нашей детской жизнью в той войне.*

*Трудно жили. Хлеб насущный ели,
Только вволю не было его.
Не сказать, что вовсе не имели, -
Просто знали: **там** – нужней всего.*

*Где-то там, на фронте, в землю врыты,
Накрепко стоят отцы за нас.
Их одеть и накормить досыта
Был обязан тыл, - и весь тут сказ.*

***Надо**, чтоб разбить фашистских гадов.
Надо, чтобы выстоять в бою.
Было свято это слово – **надо**.
Надо было петь, - и я пою.*

*Раненым в госпиталях холодных,
Женщинам, склонившимся к станкам
Пел наш хор детей полуголодных:
«Слава командирам и бойцам!».*

*Трудно было всем, и если здраво, -
Враг тогда у стен Кремля стоял.
Но мы верили и пели: «Слава!», -
И по всей России – песен шквал.*

*С песнею на смерть вставали роты,
С песнею на танк с гранатой шли,
С песнями на дула пулемётов
Тысячи Матросовых легли.*

*И в сибирской школе, сбившись тесно
У едва протопленных печей,
Мы с горящим взглядом пели песни:
«Слава! Слава Родине моей!».*

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ ОДИНЫХ

Недели через две после нас в Минусинск, наконец, приехали Одины. Мама очень переживала оттого, что не получилось уехать вместе с ними, и волновалась, не зная, что с ними вообще. Вспоминая бомбёжку нашего поезда, она очень беспокоилась за своего брата Моисея и его семью, самых близких нам родственников: ведь и первая жена дяди Моисея, покойная Марьям, и нынешняя - тётя Рахиль были ещё и родными сёстрами папы. Поэтому их дети Иосиф и Клара были как бы дважды моими братом и сестрой, по отцу и маме. Рае пришлось напомнить мне это после того, как я невпопад ляпнул маме, что слишком уж она волнуется. Да и вообще - выехали ли они, и куда? На письма, которые мама послала им ещё перед нашим отъездом, а потом и со станций по дороге, ответа не было.

Раньше я совсем и не ведал, какой интересный человек – мой дядя. Как раз перед приездом его с семьёй в Минусинск я узнал многое из рассказов мамы тёте Ларисе, когда они поздними вечерами, уложив нас и приготовив нам, детям, на завтра, начинали долгие рассказы друг другу. Иногда к ним присоединялись тётя Лиза и Рая. Если сон меня не одолевал, я, затаившись на своём топчане, слушал их рассказы и многое узнал о своей семье именно тогда. Чтобы далеко не отвлекаться от главного в моём повествовании, расскажу лишь коротко самое интересное из того, что подслушал о своём самом старшем дяде. Правда, ранее, не в этой повести, я об этом писал, но кратко повторю для полноты и цельности содержания повести.

Мама очень любила и уважала своего брата. Иначе и быть не могло: Моисей был старшим в семье Одиных среди восьмерых детей, из которых ещё один брат Шимон – Семён - был больным с детства, а остальные шесть - красивые девочки. Моисей, сильный, лихой и смелый, опекал младших, не давая их в обиду в небольшом украинском городке Чигирине, где правили бал казаки-антисемиты. Подростком Моисей тайком от родителей уехал в Одессу. Там он подлежал суду

за помощь революционным морякам, они его спрятали на корабле, и с русской военной флотилией Моисей приплыл на Дальний Восток. Вернулся домой, чтобы вместо него, старшего, не призвали в армию больного брата, по законам того времени. Моисей был забрит в солдаты. и в Первую мировую воевал в российской кавалерии, был награждён Георгиевским крестом, для евреев – редкий случай.

Вернувшись в годы гражданской войны в Чигирин, Моисей узнал, что черносотенцы убили его отца, моего деда Иосифа, и надругались над самой младшей из сестрёнок. О трагедии моей тётки Фени, которой тогда было всего 12 лет, я узнал лишь через десятки лет, а тогда или мама не рассказывала об этом, или я проспал, а может быть и не понял о чём речь – в свои восемь с половиной лет.

Моисей, вернувшись, уже не застал мать, мою бабушку Розу, которая вскоре после трагедии с мужем и дочуркой увезла в Америку её и ещё трёх дочерей: помогли благотворительные организации и сын Шимон, раньше уехавший в США на лечение.

Почти одновременно с убийством деда Иосифа погиб там же, в Чигирине, при налёте банды погромщика Зелёного и мой второй дед, Моше-Моисей Ринский. Старший из сыновей Ринских, мой отец, тогда ещё тоже не вернулся – во время Первой мировой вся его воинская часть оказалась в германском плену. После приезда отца все остававшиеся Ринские и Одины также не задержались в этом городке. Уехав в Москву, оформили документы на выезд в Америку Моисей с Марьям – сестрой моего отца, и сам отец мой, Матвей Ринский с сестрой Моисея Басей – моей мамой. Но в 1924 году советская Россия перестала выпускать, а США – принимать беженцев. И обе молодые семьи, а с ними и сестра мамы Женя, с подготовленными на выезд документами остались в Москве. Сняли комнатухи, устроились работать и стали москвичами. Затем Женя с мужем Ушером Заславским уехали жить в Славянск, на Украину, а моя мама Бася так и не расставалась со старшим братом всю жизнь. Обе наши семьи помогали друг другу в сложные 1920-е и 30-е годы, когда Одиным было очень тя-

жело с жильём и материально, а Матвея Ринского преследовали как частника и в конце концов выселили из центра Москвы в Перово. Обо всём этом мама рассказывала тёте Ларе поздними вечерами, и я решил напомнить читателям, чтобы лишний раз подчеркнуть, как тесно были связаны московские ветви семей Одиных и Ринских.

Путь в Минусинск для Одиных был очень тяжёлым и длительным. Отъезд их из Москвы всё откладывался. Во-первых, тётю Рахиль мобилизовали на неделю на строительство оборонительных сооружений. Во-вторых, дядя Моисей, доставлявший грузы на фронт, когда немцы были уже под самой Москвой, несмотря на его возраст далеко за пятьдесят, был в то время нужен в Москве. И только 16 октября, после постановления об эвакуации столицы, Моисей Один оформил документы для выезда.

Как раз в тот, самый напряжённый день в Москве начался всеобщий ажиотаж, во многих случаях на бытовом уровне переходивший в панику. В такой ситуации и проявляются истинные характеры, взгляды, поведение людей. В двухэтажном квартирном бараке, в котором жили люди разных сословий, переселённые, как и Одины, из центра Москвы при его реконструкции, были и свои хулиганы. Напротив их общей квартиры на втором этаже жили в достатке евреи Гороховские, а на первом под ними – Татьяна Шиманская, об антисемитской сущности которой нетрудно было и раньше догадаться. 16 октября, распавшись спиртным, Татьяна во всеуслышание заявила:

- Моисея и Рахиль мы не тронем, а вот Гороховских – повесим!

В том, что Моисея Татьяна «амнистировала», нет ничего удивительного: бывшего кавалериста, награждённого Георгиевским крестом ещё в Первую мировую, простого рабочего химзавода, общительного соседа Моисея Одина знал и любил весь двор. К Рахиль, отличной швее и рукодельнице, Шиманская и другие соседи не раз обращались за помощью.

- Ну а как ты собираешься повесить Яшу Гороховского, который на фронте? – спросили Татьяну. Яша Гороховский с

фронта так и не вернулся.

18 октября Одины собрали, что можно было унести в заплечных вещевых мешках, котомках и сумках. Чемоданы не взяли: с ними – тяжелей. Закрыли свою комнату в общей квартире и поехали в Перово, за Ринскими. Можно себе представить, как нелегко было им проделать путь длиной даже напрямую не меньше полусотни километров, с западной окраины Москвы в восточный пригород, когда не ходили поезда, и единственным транспортом были трамваи. Накануне, 17-го, их движение прекратили, но назавтра возобновили.

Лишь после полудня Одины добрались до нашего дома. Но нас уже не было. Соседи подтвердили, что мы лишь вчера уехали в Минусинск. Но то, что нам по случаю удалось получить билеты и что до последнего мама ждала их, надеясь уехать вместе, эти соседи не знали. И письмо мамы ещё не дошло. Поэтому обиду дяди Моисея на сестру можно понять.

Что им было делать? На московских вокзалах, как они узнали за несколько часов пересечения Москвы, творилась буквально паника. Говорили, что эвакуированных отправляют со станций в Подмоскowie, загружая теплушки военных эшелонов, прибывающих с востока. Единственный путь был – выйти к одной из станций Горьковской дороги, ближайшей к Перово, так как станции Перово и Кусково работали только на воинские эшелоны и технику и на эвакуацию оборудования заводов.

Обходя эти станции, вышли на шоссе Энтузиастов и были поражены сплошным людским потоком, двигавшимся на восток по обочинам шоссе, и потоком машин от Москвы и с военной техникой – к Москве. Вместе с остальными побрели вдоль шоссе. Вышли к станции Балашиха. Там стоял эшелон, ожидавший отправки на восток. Каким-то путём дяде Моисею удалось договориться, и их пустили в одну из теплушек. И так, в холодной теплушке, на наспех сбитых дощатых нарах, месяц добирались Одины до Красноярска.

Если наш пассажирский поезд тащился свыше двух недель, то для эшелона товарняка в месячном пути нет ничего

удивительного: он пропускал воинские грузы, эшелоны и поезда в обе стороны. В то время и многие главные магистрали страны были однопутными. Целую неделю простоял их эшелон в Котласе, в стороне от главной магистрали, всё по той же причине. И ещё им повезло, что не потребовали освободить вагоны, которых остро не хватало.

Можно себе представить, что пришлось испытать обитателям теплушки за этот месяц, когда далеко не у всех были запасы еды, денег, тёплая одежда. Но в то время удивительно обнаружилось в людях многое: выносливость, неприхотливость, чувство локтя. На некоторых станциях действовали эвакупункты, где эвакуированным сутками стоявших в ожидании поездов можно было получить что-нибудь съестное.

Когда наконец, промаявшись дольше нас, больше месяца, в пути, да ещё и в более тяжёлых условиях, Одины добрались до Минусинска, об их приезде мы узнали не в первый день. Обиженный на то, что мы не дождались и уехали одни, дядя Моисей даже не заехал к нам, а сразу через исполком снял комнатку на Утросентябрьской улице, и лишь затем Одины разыскали женсовет – знали, что тётя Клара работала там. Она рассказала Моисею о нашей эпопее, и ещё до того, как мама, как только узнала, вместе с Раей и со мной сама пришла к ним, брат признал, что в той обстановке сестра не могла не уехать без них.

Радости от их встречи не было предела. В тот день я увидел снова довоенную красавицу-маму, помолодевшую лет на десять. Но не долго: оставалась тревога за отца, за нас и заботы – как нас прокормить и обогреть.

Как и мы, Одины быстро освоились в новой трудной, но определённой обстановке, ограниченной возможностями небольшого сибирского города. Дядя Моисей устроился на работу по сбору с местных



Моисей Один

артелей и из соседних сёл и отправке на фронт всего того, что они могли изготовить и дать фронту. Тётю Рахиль устроила моя мама в свою швейную мастерскую, где и сама-то работала считанные дни. Клара пошла учиться в седьмой класс школы, где училась Рая.

Иосиф приезжал в Минусинск и снова уехал в Новосибирск, куда был эвакуирован Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). Летом 1942 года МИИТ вернули в Москву. Комната Одиных оказалась уже занятой: тогда городские власти вселяли людей на государственную жилплощадь без ведома эвакуированных хозяев. Иосифу пришлось поселиться в закутке-кладовке при кухне. Но там он прожил всего месяц: его мобилизовали в армию. Хотя у него были с детства проблемы с сердцем, он не стал уклоняться и всю войну провёл воевал пулемётчиком.

Со временем от былой обиды остались лишь воспоминания. Действительно, в той критической обстановке воспользоваться возможностью нормальной эвакуации было единственно правильным решением, и обижаться на маму не стоило. В первые же месяцы Одины переехали в большой дом позади театра, в комнатушку полуподвала. В неё можно было попасть только через комнатку, в которой жила эвакуированная женщина с ребёнком. Но в той обстановке не роптал никто.

ПЕРВАЯ ВОЕННАЯ ЗИМА

Первая наша зима в Минусинске не вспоминается буквально ничем хорошим, кроме, пожалуй, человеческих отношений. Мы жили в тесноте, а главное – в стеснённости трёх семей из-за различных привычек и вкусов, из-за шести детей самого разного возраста и воспитания. Тётя Лара и мама переживали оттого, что стали обузой для семьи, у которой было и без того немало проблем, например у Елизаветы Петровны обострилась чахотка, и не будь нас, она бы могла изолировать детей в отдельной комнате. И хотя радушные хозяева сами предложили ещё и нас приютить, нашим мамам от этого

было ещё больней. У нас с собой практически не было ничего, кроме кастрюльки и трёх тарелок, и мама, привыкшая и любившая иметь всё своё, а главное – не стеснять других, очень страдала и старалась пользоваться кухней, когда хозяйка и тётя Лара закончат свои дела.

С уроками нам тоже было не так просто: Галя обычно делала уроки в хозяйской комнатухе за маленьким столом, а мы с Раей – в горнице на длинном столе - настиле под окнами, где у нас лежало всё школьное. К нам подсаживались Лёня и Руфа – куда их было деть в морозы? И так они много времени проводили на улице, как можно дольше – только чтобы не обморозиться. Часто к нам на длинную лавку взбирались Машенька с Зиной, которым тоже хотелось водить карандашом по бумаге – хорошо ещё, что она пока была: тётя Лариса достала какие-то неиспользованные конторские книги. С карандашами было ещё сложней.

В этих условиях доброжелательное терпение наших хозяев я вспоминаю только с благодарностью. Не могу припомнить ни одной размолвки трёх матерей. Зато с благодарностью вспоминаю пирожки, пышки, крендели, которые мастерски пекли в русской печи и тётя Лиза, и сестра её тётя Аня и обязательно угощали всех детей на равных. Со временем им придётся отказаться от этой традиции: всё труднее будет с продуктами. Карточки «отоваривали» всё хуже. Какое-то время выручал Василий Иванович, к которому часто обращались за машиной снабженцы, и он порой мог купить у них и на нашу долю. Иногда его шофёры привозили из близлежащих деревень мешками картошку, капусту, морковь, муку. В эту первую зиму мы ещё не голодали, но не всем эвакуированным так повезло с хозяевами.

Ещё помню, как дядя Вася брал нас с собой на охоту. Шофёр вёл машину, а мы с дядей Васей и Лёней - в кузове «полуторки», на деревянной лавке: сидим и ждём. Дядя Вася знает, в каком месте надо подготовиться, встаёт, снимает рукавицы, оставаясь в шерстяных перчатках, и опирает руки с двустволкой на деревянные козлы, укреплённые у самой кабины. Яркое солнце, снежная целина по сторонам дороги,

редкий лесок, в основном хвоя, но есть и берёзки – хилые, не то, что наши, подмосковные. В это время голодные зимой обитатели леса не так осмотрительны.

Заяц, обдиравший кору берёзки, долго не хотел отрываться от своей трапезы, но, видя, что урчащая громада приближается, бросился наутёк. В снегу его скорость невелика. Дядя Вася спокойно выжидает, пока машина приблизится, насколько позволяет дорога. Потом вскидывает двустволку и, недолго целясь, стреляет одним стволом и почти вслед – другим. Бедное животное даже не может подпрыгнуть в снегу, сразу покрасневшем. Молодой шофёр останавливает машину, выскакивает и в своих высоких унтах, высоко поднимая ноги, бредёт к жертве. Взяв за задние лапки, приносит и кладёт в кузов, в деревянный крашеный ящик. Лёне такая охота не впервой, он смотрит с интересом и даже привстаёт, чтобы рассмотреть зайца в ящике. Я, чтобы не сочли трусом, следую его примеру, сдерживая подступающую тошноту.

В отгороженной комнате хозяев над кроватями висели две шкуры: белого медведя – её дядя Вася привёз с севера – и бурого. Не знаю, сам ли он их убил. А зайцев и лис привозил – я видел не раз.

Дважды я ездил с дядей Васей на охоту, но, если честно, не испытывал ни охотничьего азарта, ни удовольствия. Скорее – любопытство. Кстати, уже в зрелом возрасте, в одной из командировок, мне предложили принять участие в «ночной рыбалке» на реке Нерль. «Рыбалка» оказалась браконьерским хладнокровным убийством острой доверчивой рыбы, выплывавшей на свет мощного фонаря. И в этот раз я не испытал удовольствия. Так же, как и в доставании раков из-под коряг в речках Вологодской области, когда их тут же живьём кидали в костёр и, зажавив, с удовольствием пожирали. Но и эти совершенные способы умерщвления беззащитных уже устарели...

Признаться, зайчатину я ел. Во-первых, на девятом году жизни я ещё не мыслил такими философскими критериями. А во-вторых, я был постоянно голоден: мама получала, насколько я помню, пятьсот рублей; на карточные пайки, уре-

завшиеся с катастрофической быстротой, можно было в лучшем случае не умереть, а буханка хлеба на базаре стоила сто рублей. Оговорюсь: зимой 42-го ещё, может быть, поменьше стоила, но и тогда уже её было не прикупить на мамину зарплату. Картошка с капустой у нас в первую зиму, благодаря Василию Ивановичу, ещё были, а вот на мясо денег не оставалось. А зайчатина так напоминала мамину московскую курочку, только пожёстче.

Но если бы мне предложили поменять любое блюдо или последний кусок хлеба на письмо от папы или даже от дяди Майора, я бы, не думая, согласился – так мы все переживали за них. Писем всё не было, и на маму и тётю Лару больно было смотреть, когда у них что ни вечер разговор поневоле переходил сам собой на воспоминания.

ПОХОРОННАЯ

И вот, кажется, ещё в январе, когда мы все радовались победам над фашистами под Москвой, когда немцев отогнали на сотни километров, вдруг днём Елизавете Петровне почтальон принесла – не бросила в ящик, а постучала у ворот и отдала молча в руки – небольшой конверт. Сразу чувствовалось что-то необычное и недоброе в том, что конверт был квадратный, а не треугольником свёрнутый лист, как стало привычным. И второе – он был явно казённым, обратный адрес был проштампован.

Тётя Лиза дождалась мамы, вместе они попытались подготовить тётю Лару, но та всё поняла и сказала, что она – жена командира и



Майор Рынский. Погиб на фронте.

уже несколько лет ко всему готова. После чего они долго плакали все вместе, и мы, дети, вместе с ними. Лёня и Руфа так любили своего отца, а я его, лихого командира, видел, когда он заезжал в Перово по дороге на фронт...

*«Это – похоронная!» -
Сразу вдруг подумала.
Не своим, казённым
От письма подуло.*

*Что-то непонятное
Сердце сжало болью:
Форма квадратная,
А не треугольная.*

*«Это – похоронная?» -
На лице растерянность:
То ли удивление,
То ли неуверенность.*

*Брат отца... Не стало...
Был кавалеристом.
Как он пел, бывало –
Чисто, голосисто.*

*Был он на Хасане,
Был на Халкин-Голе...
Но куда с конями
Против танков в поле?*

*И погиб героем
Генерал Доватор.
Подкосило в поле
И отцова брата.*

*Два моих двоюродных
Стали вдруг сиротами.*

*Взгляды стали хмурыми,
Полными заботы...*

*Помню, как, целуя их,
Мама горько плакала,
Как делила на троих
Мой кусочек сахара.*

*Разве можно вытравить
Чувство вечной горечи?
Не забыть, не притупить
В сердце боли ноющей.*

*Слишком много наш народ,
Выстоявши, выстрадал,
Слишком много слёз сирот
В этом веке выплакал.*

*Пусть полвека, сотня лет -
Для фашистской нечисти
Никакой пощады нет
Ни сейчас, ни в вечности.*

На следующий вечер собрались за столом всем домом. Пришла из своего флигеля и тётя Аня с гитарой. Пришли и Одины с чекушкой, консервами и несколькими печёными картофелинами. Дядя Вася привёз бутылку самогона, теперь всё чаще заменявшего водку, и невесть откуда – целый батон домашней варёной колбасы. Наверное, сгонял в деревню. Последнее время с бензином стало туго, но такой уж был дядя Вася: в радости и горе мог последнее отдать. Разве то, что Абросимовы так потеснились из-за нас, не говорило само за себя? Мама было вставила, что у нашего народа поминки не приняты, но дядя Вася сказал, что Майор был не только евреем, но и командиром Красной армии. Дядя Моисей его поддерживал, но, как старший, начал первым и после нескольких слов на русском прочитал короткую молитву на идише.

Потом пили и плакали, и тётя Рахиль рассказывала о своём младшем брате, с детства лихом парне, дядя Моисей – о Меере-мальчишке, которого он учил верховой езде, а мама – о том, как младший брат Меер дразнил старшего Матвея и Басю женихом и невестой. Тётя Лариса рассказывала, как Майора все любили в полку. Потом плакали и сквозь слёзы пели любимые песни Майора: «Тачанку», «Щорса», «Распрягайте, хлопцы, коней...». Тётя Лариса, обычно весёлая и певунья, на сей раз ни разу не поддержала поющих. Вспомнили и погибшего мужа тёти Ани, и она, подыгрывая на гитаре, спела его любимую «Когда имел золотые горы» и свою «На муромской дорожке». Выпили и за то, чтобы всё благополучно было с Матвеем, нашим папой. И снова женщины плакали...

Несколько дней к тёте Ларисе приходили жёны командиров – «однополчанки», как она их называла. Многие из них уже тоже потеряли мужей и сыновей: кавалеристы были смертниками в танковой войне. В один из вечеров она собрала у себя на работе, в женсовете – там было попросторнее – своих сотрудниц и самых близких из однополчанок, они её привели домой поздно под хмельком, и тётя Лара, прежде



Лёня и Руфа Рынские в послевоенные годы

чем заснуть, всхлипывала в темноте. Мама подседа к ней и молча сидела рядом. Я проснулся от лая пса. У меня тоже были влажные глаза. Но вскоре я, наверное, уснул.

Ребята нашей ачинской «ватаги», не сговариваясь, как бы взяли шефство над Лёней и Руфой. Нина Водовозова принесла Лёне самодельные лыжицы, длиннее тех, что у него были, а старые перешли «по наследству» Руфе. Наверное, лыжицы по её просьбе выстругал плотник на их постоялом дворе. Мне Колька Крестьянинов дал попользоваться своими старыми, из которых он «вырос». Он предлагал обменять, но у меня ничего подходящего для Коли не оказалось. Последнюю ценность, перочинный ножик, я отдал Лёне. Узнав об этом, Коля пробурчал мне: «Лыжи оставь себе».

И ЗИМОЙ НЕ СКУЧАЛИ

Мы часто, когда мороз был послабее, отправлялись гуськом к ближайшей сопке и катались с горки на лыжах. На накатанном месте у нас имелись под горкой трамплины разной высоты, и каждый выбирал себе по возрасту, сноровке и качеству лыж. Лыжи крепились на валенки, которые у многих были не по размеру, ноги «болтались», и лыжами было трудно управлять. Были и специальные обледеневшие спуски, с которых съезжали кто на фанерке, а кто и стоя. Не помню, ломали ли ноги, но здорово расшибать локти и колени, а иногда и лоб о накатанный твёрдый снег или лёд приходилось и мне.

Посреди нашей широкой Ачинской улицы ребята из подростковой компаши расчистили участок и залили небольшой каток, обязав нас, «мелюзгу», поддерживать его в порядке. Сами они редко пользовались катком: многие уже работали, а те, кто учился в старших классах, привлекались всё время к каким-то работам, в помощь военным, колхозам. Мало у кого из нас были настоящие коньки, хотя бы «снегурочки», уж не говоря о «гагах» и «норвегах». Мы катались на самодельных деревянных, которые крепились к валенкам верёвками. И тоже часто разбивались. Но было интересно. И на лыжах, и

на коньках Лёня по сноровке превосходил не только меня, но и ребят постарше.

Если уж зашла речь о нашем зимнем досуге, то нельзя не сказать о сибирской «чеканочке». Кусочек свинчатки расплющивали до размера пятикопеечной монеты, но потолще, просверливали две дырки и пришивали круглый кусок овчины размером в торец консервной банки, мехом вверх. Овчина, как парашют, снижает скорость падающей свинчатки, которая, из-за своей тяжести, всегда внизу. По слегка подброшенной падающей свинчатке ударяют внутренней боковой стороной согнутой ноги в валенке, «чеканка» подскакивает вверх

примерно до уровня груди, и задача – как можно большее число раз подбросить её ударом ноги, прежде чем она упадёт на землю. Результаты чемпионов не помню, но уж точно – несколько десятков ударов.

Вечерами мы иногда играли в классические домашние игры – шахматы и шашки. У дяди Васи были привезённые с севера, специально вырезанные для него, кажется, из моржовых бивней, но точно не помню. Он ими очень дорожил и, видно, что-то вспоминал, когда, играя, гладил край широкой доски с инкрустированным орнаментом по краю. Он меня обыгрывал в шахматы, я его – в шашки. Пока не уехал в институт мой старший двоюродный брат Иосиф Один, блестящий шахматист, в будущем кандидат в



*Иосиф Один - студент. Будет
трижды ранен на фронте*

мастера, я раза три специально ходил к нему в каморку на Утросентябрьской улице и пытался что-то усвоить из теории дебютов, чтобы обыграть дядю Васю, но – тщетно. Тогда я отыгрывался на Гале и учил Лёню и даже Руфу, но моё самолюбие не получало полного удовлетворения. По просьбе тёти Ларисы я часто, делая уроки, пытался привлечь внимание Лёни к стихам или таблице умножения, которые мне были заданы. Но, посидев рядом со мной минут десять и лишь обнадежив своего учителя проблесками памяти и смекалки, шутник Лёня иносказательно давал мне понять:

- Мих, а как ты думаешь, сколько сегодня градусов? Меньше двадцати? Так ребята уж, чай, собрались, а мы...

Возмущённый «педагог» наспех заканчивал уроки в одиночестве, одевался и вслед за младшим братишкой выбегал на улицу, по пути обняв и погладив приветливого Таймыра, радостно виляющего хвостом. Так хотелось побаловать хоть чем-то пса, но у самого уже через час после скудного обеда сосало под ложечкой.

В школе нам уже давно не давали булочек. а только маленький кусочек чёрного, с отрубями, хлеба. Я догадывался, почему Лёню, да и меня самого влекло на мороз: игры отвлекали от чувства голода, а ещё – иногда Нинка с постоянного двора или кто из местных ребят приносили куски мёрзлого жмыха, жёстких лепёшек для домашних животных. Немного отогреешь их поближе к телу – и обгладываешь не спеша, стараясь сохранять видимое безразличие. Другим «лакомством» были семечки, особенно тыквенные. Лафа! Это слово было тогда, почти как «кайф» сейчас, только критерии удовольствий были совсем другие.

С нетерпением ждали весны: морозы на голодный желудок переносить куда труднее. А ещё – надеялись на разгром врага, как обещало нам радио. Но главным для мамы и для нас с Раей было - скорей бы получить хотя бы какую весточку от папы. Гибель дяди Майора до предела усилила тревогу мамы.

ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ

Время шло, наступила весна, а от папы не было никаких вестей, если не считать то письмо, которое он отправил в Минусинск, ещё когда мы готовились к отъезду из Москвы. Мама уже всерьёз начала думать, не случилось ли худшее. Чувство тревоги многократно возросло после похоронной дяди Майора. В одном из писем из Москвы, полученных дядей Моисеем, говорилось и о том, что погиб и ещё один из братьев Ринских, Иосиф. Масла в огонь подливали гадания, специалистом по которым была Анна Петровна. Она мастерски владела многими видами определения прошлого, настоящего и будущего. Даже я, иногда случайно присутствовавший на её «сеансах», знал значение каждой из карт, будь то «нечаянный интерес», «удар», или «находка» и другие, трудно проверяемые и легко подгоняемые под любую ситуацию термины. Знал и последовательность открытия: « для дамы, для дома, для сердца, что было, что будет, чем дело окончится, сердце успокоит». Сердце «дамы», для которой гадали, успокаивалось на считанные минуты, после чего возвращались сердечные спазмы опасений. Мама часто писала письма, Рая приписывала, я пририсовывал. Но ответ не приходил...

*Вечер.
Тишина.
Свечи...
Война...*

*Слёзы невольно:
Больно...
Больно!*

*На окне -
иней.
На столе -
фото...
«...Милый,
что ты?*

*Нет письма,
и я -
сама
не своя...»*

*Дрожь по коже:
«Только б дожил!»
И озноб:
«Неужто, чтоб
в этот миг?...»
Крик
из души:
«...Пиши!
Дыши!
Жить!*

Любить!
Слышишь -
вернуться!...»

Руки не гнутся:
устали.
Мало ль причин?
Всё - сами,
без мужчин.

Холод:
мало дров.

Голод:
мало хлеба.

«... был бы здоров.

Войне бы
скорей конец...

Отец,

слышишь -
дышит
твое чадо.
Сберегу.
Надо –
и смогу...

Ушёл молодым,
статным.

Каким придёшь?

Седым?

Старым?...»

Дрожь.

Дрожь...

«...Жду -
не сдаюсь.

Доживу!

Дождусь!...

Береги себя!

Твоя я...»

Болезнь нельзя.

Жить... Жить!

Глаза закрыть

и спать:

завтра вставать

в пять...

Поздний час.

В ночи

погас

огарок свечи...

Весна в Минусинске совсем не такая, как в Подмосковье. Разве что всё зеленеет, природа пробуждается так же. Но совсем другие краски: и земля, освобождаясь от снега, ещё во многих местах в бурых «залысинах», и луговые цветы какие-то немного робкие. А может быть, мне только так казалось. Зато интересно было следить, как оттаивает могучий Енисей, освобождаясь постепенно от толстого льда. Любители – рыбаки, во множестве сидевшие всю эту голодную зиму у многочисленных прорубей, не сдавались до последнего, даже когда весь снежно-ледяной покров избороздили трещины, и огромные льдины стали с треском смещаться. Потом начался настоящий ледоход, и река разлилась на той сторо-

не на километры, затопив часть острова, разделявшего две её протоки как раз напротив города. Наш берег – высокий, нам наводнение не угрожало.

Обнажились от снега сопки с верховой стороны города, и как только подсохла земля, мы с ребятами отправились в окопы, протянувшиеся по верху сопки. Для ребят всё было привычно, а я радовался каждому патрону, патронташу, а то и ржавому стволу винтовки или пулемётной ленте, удивляясь, как их до тех пор никто до конца не собрал. А ведь они пролежали здесь два десятка лет, со времён гражданской войны.

Зелень, дикие растения стали хорошим подспорьем для нас, изголодавшихся ребят. На склонах сопки мы по ходу собирали и тут же поедали всё съедобное – опытные местные всё знали и подсказывали. Особенно ценили и любили мы черемшу – дикий лучок, притуплявший голод и спасавший зубы от цинги. Подросла крапива – стали собирать её и относить домой на суп. И какие-то ещё растения – сейчас уже не помню.

Каждой семье выделили участки земли под огороды. Площадь участка зависела от количества едоков и состава семьи, от наличия в семье фронтовиков. И мы получили сравнительно небольшой, но мне казавшийся огромным участок. И получили мелкую картошку и семена моркови, свёклы, лука, редиски... Маме и Рае было нелегко вскопать и обработать целинную землю. Немного помог дядя Моисей. Моей обязанностью было очистить вскопанную землю от сорняков, это занятие было не из лёгких, болели руки. Постепенно я научился орудовать лопатой, тяпкой, граблями.

Кроме своего огорода, мы ещё обрабатывали огород дяди Саши из Москвы по фамилии Красный. Ещё в его семье были престарелые тётки Маня и Люба Горенштейны и две маленьких девочки Тома и Полина, у которых умерла мама.

Тётушки были старыми коммунистками, ещё со времени их жизни в Америке, куда они уехали с родителями в возрасте лет тринадцати – бежали от погромов. В Советскую Россию они вернулись после революции с письмами от коммунистов США советским руководителям, зашитыми в отвороты паль-

то, привезя с собой оборудование для швейной фабрики, закупленное на собранные коммунистами средства. Бывшие швеи, они и в Москве работали на швейной фабрике, одна из них – освобождённым парторгом. Они едва не попали под жернова сталинских репрессий, помогло личное вмешательство генсека коммунистов США.

У них в Минусинске были какие-то особые условия, пенсии и особые карточки. Им выделили больше земли под огород, а обрабатывать его было некому. Но это было необходимо, иначе бы их лишили этого участка. Мы с мамой и Раей помогали им обрабатывать огород, и потом они нам предложили часть урожая. Но заранее мама с ними не договаривалась, а просто помогала друзьям. Эта дружба мамы с дядей Сашей и тётушками потом продолжалась долгие годы, до самой их кончины лет через двадцать после войны.

У мамы вообще в Минусинске было много друзей. Тётя Белла из Вильнюса и её дочка Роза, с которыми мы ехали в поезде, часто навещали нас, а мы - их. Мама очень жалела тётю Беллу и Розу: у них погибли все, кто на фронте, а большую часть семьи уничтожили фашисты немецкие и свои, литовские. Тётя Белла сдружилась с польскими евреями, особенно с Леоном, которого из северного лагеря отпустили на поселение. Вообще-то Белла называла его Лазарем – по документам, но в России все звали его Леоном.

У польских граждан было особое положение: свой комитет, выдававший им и хорошие английские и американские



Музей Минусинска

продукты, и одежду, красивую и тёплую. Леон ходил в полувоенной форме английского производства – сразу было видно: иностранец. В армию его не взяли по зрению. Белла и Леон доставали маме и Рае бесплатные билеты, которые они называли контрамарками, в клуб и театр. Иногда – и мне с Лёней на утренники, где мы часто встречали и Розу. Иногда маме приносили американские консервы - предел желаний: тушёнку и лярд - это такой белый жир, пальчики оближешь! Понятно – так мне казалось в то время, сейчас – не уверен. А мне и братишкам, приходя, Белла и Леон дарили если не по леденцу, то по сахарку. А мама сшила из кусочков овчины, которые разрешили ей понемногу собирать в мастерской, бурки сначала мне, потом Лёне, Руфе и Розе. Помню, проблема была с калошами к буркам, чтобы ноги не промокали. К моим подошли калоши от валенок, из которых я «вырос».

Но за всеми этими буднями где-то внутри оставалась тревога, передававшаяся мне от мамы, а у мамы, очевидно, неизбывная, наследственная тревога еврейских мам. Да и как могло быть иначе: на её глазах бандиты убили отца, изнасиловали младшую сестрёнку – я, понятное дело, тогда об этом ещё не знал, а если бы услышал – не понял бы, что это такое. И после этой трагедии - тревога за брата и жениха ещё в первую мировую. Тревога за родных, уехавших и тяжело устроивавшихся в Америке. Тревога за мужа, не раз арестованного, высленного из Москвы, а вместе с ним – за себя и, главное, за детей. И вот теперь – тревога за жизнь мужа, пропавшего на фронте. Не говоря уже о тревоге за полуголодных детей, да и за себя, потому что без неё – неизвестно, что будет с ними. А вокруг – тиф брюшной и сыпной, обморожения, воспаления, менингит...И нет лекарств. Война. Всё для фронта, всё для победы...

И всё-таки вести с фронта, разгром немцев под Москвой поддерживают всех нас. Буквально весь город пересмотрел фильм, который так и назывался: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Мы ходили дважды. Разбитые танки фашистов, сбитые самолёты, убитые эсэсовцы, длинные колонны пленных. И парад на Красной площади, Сталин на

трибуне мавзолея воодушевляли людей. Но не возвращали убитых и не заменяли письма ещё живых.

Маме сочувствуют все, и она – всем. Каждую неделю в нашем доме женщины собираются и гадают. Даже получившие похоронные на что-то надеются Между прочим, извещение о том, что глава семьи на фронте пропал без вести, хотя и оставляет надежду, зато хуже тем, что семья такого человека не подпадала под определение семьи фронтовика. Логика: а вдруг солдат не погиб на фронте, не скрывается в лесах в числе попавших в окружение, не попал раненым в руки врага, а струсил, сдался в плен или просто перешёл на сторону про-



*Маня (впереди) и Люба (сзади)
Горенштейн и Бася Ринская*

тивника. И хотя таких было сравнительно немного, страдали семьи всех получивших извещение: «Пропал без вести». Им не полагались пособия и льготы семей фронтовиков. Когда зашла речь о таком случае, тётя Лиза сказала маме:

- Тебе такое не пришлют. Ты соображай, однако: если фрицы убивают без разбору всех ваших, - разве твой мужик, да ещё и доброволец, за тем шёл, чтобы сдаться? – и замолчала. Всем было понятно, что мог и раненым попасть в плен, и быть пристреленным, и... Чего только не бывало: к этому времени, и в тылу о войне знали все и всё. Каждый день прибавлял калек и в нашем небольшом городке.

В один из воскресных вечеров под руководством тёти Ани наш дом почти в полном составе гадал на сожжённых

газетах. Мне было жаль газет: ведь и они были дефицитом. Мы в школе писали на них между строк, разрезая и сшивая в тетради. А то и забеливали страницы, сушили и писали на высохших жёстких листах. Позднее и газеты стали печатать на забеленных листах старых газет: что делать? Не было бумаги. Но для гадания, для поддержания надежды – нашли.

На противень или большое блюдо кладётся ком плотно смятой газеты и поджигается. Гасится, уже не помню как, в стадии сгоревшей, но не до конца. В тёмном помещении при подсветке сзади свечой или



Тамара и Полина Каплан, внучки Мани и Любы Горенштейн. Послевоенные годы

керосиновой лампой на стене – чёткая тень от обгоревшей бумаги. Не спеша вертя противень или блюдо, можно, при достаточной степени воображения и, главное, при желании увидеть то, что хочешь или не хочешь увидеть. Когда очередь дошла до гадания на отца, все увидели на стене, - и я сам тоже, как сейчас помню – контур движущегося (при повороте блюда) эшелона с танками и пушками. Значит, наш отец жив, - решили единогласно, а мама всё равно вытерла глаза. Надо же было верить, хотя бы в чудеса.

ОТЕЦ ЖИВ!

И, представьте себе, чудо произошло! Елизавета Петровна, как обычно, как-то утром проверила почтовый ящик, давно уже пустовавший. Даже от родственников из Норильска Абросимовы давно не получали писем. Видно, и там было не сладко. А тут вдруг – пухлый треугольник на имя Аброси-

мовых, для Ринской Б. И. Все на работе, в школе, в детсаду. Маленьких деток оставлять нельзя. Первым прихожу я. Кто знает, что в письме... Тётя Лиза просит меня побыть с Машенькой и Зиночкой и сама спешит к маме в мастерскую.

Я забавляю малышей, рисуя мелом на большой фанерине, специально припасённой: бумаги-то нет! Зато мела – запас: дядя Вася привёз – его где-то недалеко добывают. Мокрой тряпкой стираю своё художество и даю порисовать девочкам. С нетерпением поглядываю на часы на стене – ходики, с гирями. Хочется есть, но без тёти Лизы не решаюсь: она – уполномоченная мамы по нашим кастрюлям, в которых всё только-только на троих. И вдруг открывается дверь, и мама бросается ко мне, целует и, улыбаясь, плачет.

- Папа жив! – Я, хотя и мал, но осознаю значение этих слов сразу же. Ещё бы: столько пролито слёз мамы, тёти Лары, многих-многих. А тем более – речь об отце. Наш отец жив! Полчаса пробыла мама дома в счёт обеда, и с каждой минутой, глядя на счастливую и сразу помолодевшую маму, я всё больше наполняюсь радостью. Мама заодно покормила меня, а тётя Лиза, по сибирскому обычаю, достала начатую бутылку, и они с мамой выпили по полстопки. Мама было возразила, но поправила себя:

- Лизок, спасибо тебе за всё, а теперь и за то ещё, что ты тут же ко мне на работу прибежала. Не забуду никогда.

Мама вслух перечитала длинное письмо отца и, спохватившись, убежала на работу.

Я оделся и побежал на улицу – поделиться радостью с компашкой. Но время было такое – старшие ещё в школе, младшие обедают и делают уроки – не с кем было делиться. К тому же до меня дошло: а, может быть, не стоит прыгать от радости при ребятах, у многих из которых кто-нибудь погиб в семье. К примеру – при моих братишках. Я вернулся домой и сел за уроки. Потом снова оделся и по собственной инициативе пошёл, почти побежал к Одиным.

Вечером, когда все собрались, пришла мама и к этому времени и Одины, нас поздравили с радостью и не без слёз, как повелось у женщин в войну. Устроили коллективную читку

письма отца. Прежде всего, папа был рад возможности написать нам, как только позволили обстоятельства. Потом он давал понять, что повторилось то, что было. Мы поняли, что отец снова был в окружении, а может быть и в какой-то переделке. Но главное – отец был жив и здоров! Он писал, что как только прибудет к новому месту службы, сообщит новый адрес.

Подробности того, что случилось с отцом, я узнал гораздо позже, через годы. Я писал как-то об этом, полном драматизма, «приключении» отца в тылу врага. Пожалуй, здесь уместно о нём рассказать во всех известных мне подробностях.

. Оказывается, его ополченческая часть из стариков и необстрелянных мальчишек, плохо вооружённая, где-то в Калининской области была окружена, раздроблена. Понёсшие большие потери подразделения стали неуправляемы. В группе, в которой оказался Матвей Ринский, командир дал команду – рассредоточиться и лесами двигаться на восток. Матвей пробирался с товарищем - ровесником. К сожалению, не помню его имя, хотя после войны он к нам не раз приезжал.

На вторую ночь, когда уже была слышна канонада, решили немного соснуть перед самым трудным и опасным – переходом фронта. Заметили стог на опушке и чуть дальше – контуры домов на фоне лунного неба. Решили спать до рассвета. Но, усталые, заспались. Проснулись от шума моторов и голосов: метрах в ста от них разворачивалась машина с орудием на прицепе. В отдалении – ещё одна. Об уходе в лес по открытому месту не могло быть и речи. Гораздо ближе было до огородов крайних изб деревни, но и тут – на виду у немцев. Опасно и отсиживаться в стогу: заманчивое место отдыха для усталых солдат. Тяжёлые винтовки времён ещё первой мировой не могли соперничать с автоматами.

Приняли отчаянное, но единственно возможное решение: закопали под краем стога оружие, армейское обмундирование, включая обмотки, и в одном белье, – а был уже конец октября, – взяв в руки по как можно большей охапке сена, пошли напрямик к крайней избе. Немцы не обратили внимания: как потом оказалось, они только прибыли из Германии и

знали понаслышке о русском мужике, и вид этой пары, очевидно, соответствовал этому образу. Повезло им и с хозяйкой дома: Марья Степановна отвела в амбар, принесла какую-то старую одежду, накормила картошкой. Решили дожидаться вечера и уйти в лес. Но снова не повезло: днём к бабке поселили одного из офицеров.

Пожилые по тем временам – 50 лет, тем более давно не бритые мужики не вызвали подозрения. Бабка объяснила как могла, что её племянники из соседнего района скрывались у неё от призыва в Красную армию.. Паспортов у племянников не было, так ведь в колхозах их не давали, чтоб не сбежали в город. Позднее отец, знавший немецкий ещё с первой мировой, но и виду не подававший, что понимает, слышал, как один из немцев спросил у их постояльца-офицера, уверен ли тот в этих мужиках. Тот ответил, что на сто процентов, и больше в них никто не усомнился. Повезло и в том, что версия Степановны о племянниках «устроила» и своих деревенских, а может быть, и не нашлось предателей.

Теперь они уже не могли уйти в лес: Степановну тут же допросили бы, где племянники, и расстреляли. Так и прожили месяцев пять в деревне, кстати взяв на себя все полевые и огородные дела. Немцев отогнали от Москвы, линия фронта приблизилась, а тут и немецкое подразделение покинуло деревню – отправили на фронт. Отец с товарищем решили было двинуть через линию фронта, но не успели: какая-то лихая наша часть воспользовалась прорывом и, не входя в деревню, освободила её. Потом отец с приятелем оказались у своих за колючей проволокой: их долго проверяли, не решая даже письмо отослать семье. Свидетельство Степановны и соседей помогло им избежать срока, но и в армию Матвея с товарищем не вернули, отправили на трудфронт. Только тогда Матвей смог связаться с семьёй. После войны он не раз по праздникам навещал Степановну, отправлял ей посылки.

Следующее письмо от отца пришло уже с Урала, судя по штампу, но тоже из «почтового ящика». Отец писал, что теперь остаётся только дожидаться встречи. Помнишь, писал

отец маме, нашу поговорку о счастье? Я спросил у мамы, о чём напоминает папа? Она думала, что речь идёт о поговорке на идише: «Фун мазл биз шлимазл из эйн шпан, абер цурик из а вайтер вэг» – «От счастья к несчастью один шаг, но назад – долгий путь». Значит, считала мама, отец намекает, что его несчастья не кончились и что кончатся не скоро. Я про себя отметил, что мама начинает разговаривать со мной, как со взрослым.

Мама переживала, что отца в возрасте 51 года не отпускают домой. Но всё-таки это было лучше, чем передовая. Мама сетовала на себя, что позволила отцу в его возрасте пойти добровольцем в ополчение. Но я за это их ещё больше любил.

Наконец-то можно было написать отцу. Я, как всегда, нарисовал картинку – мою школу. Художник я был не самый лучший, но мама говорила, что папе нужно моё внимание. А ещё я написал, что, выполняя его фронтовой приказ, окончил второй класс на все пятёрки. И что у меня лучшая в мире учительница. Рае тоже было, чем порадовать отца: она успешно закончила девятый. Ну а маме – тем более: и о наших успехах, и о наших проблемах.

ПЕРЕЕЗД

Ещё одна серьёзная проблема решалась в это же время. И маме, и тёте Ларе было не по себе оттого, что две наши семьи столько времени стесняем семью Абросимовых. Тётя Лара, работавшая в Женсовете, который занимался вопросами помощи жёнам фронтовиков, подобрала и себе, и нам отдельные маленькие каморки: Рынским – на улице, параллельной Ачинской, а нам – на центральной улице Шевченко, ближе к центру и к мастерской, где работала мама.

Наша комнатуха была частью комнаты хозяев, отделённой перегородкой из неструганных досок, через которую было слышно буквально всё, включая ночные вздохи и шорохи. Перегородка прерывалась в примыкании к кирпичной оштукатуренной стенке печки, которую топили хозяева из своей

комнаты. Зимой в стороне комнаты, примыкавшей к печке, могло быть жарко, а в противоположной – холодно: стены дома плохо держали тепло. В комнатухе стоял один топчан, прямо напротив двери. Справа вдоль наружной стены поперёк были укреплены доски, на которых лежал короткий матрас для меня. Слева, параллельно топчану первому, ещё один, укороченный, для Раи. Всё это успел сделать дядя Моисей ещё до моего первого прихода. Вплотную к «главному» топчану напротив двери стоял небольшой стол, перед которым до двери едва устанавливалась табуретка. Дверь из комнатухи выходила на крошечную терраску, половина стёкол в её окошках отсутствовала, а дверь не закрывалась. Ещё раз пришёл дядя Моисей, обил войлоком дверь комнаты, починил дверь терраски, оставшиеся целыми стёкла переставил в соседние ячейки рам. Получилось, что часть окон террасы застеклена. Остальные дядя Моисей забил нестругаными, неровными досками. Не знаю, где он «достал» и войлок, и доски, и даже гвозди при том дефиците материалов, что был тогда.

Откуда доски – было ясно. На окраине города, вправо от конца Ачинской, размещалась какая-то лесопильня, на которой работали, и там же жили в двух бараках - казармах, пожилые дяденьки военные. Не знаю, была ли это отдельная воинская часть, или подразделение части, а скорее всего – тот самый трудфронт, на котором, как мы потом узнали, и работал на Урале отец. Кроме казарм, на огороженной территории вдоль заборов находились склад брёвен, огромный навес со штабелями досок, небольшой гараж и большая конюшня. А в середине - площадь с высокими длинными мостками – лесопилка, на которой брёвна пилили на доски вручную.

Бревно закатывалось по наклонным брускам с помощью верёвок на специальные козлы, выше человеческого роста, но под мостками. Один из пильщиков стоял на земле, другой - наверху, на мостках. Длинные ручные пилы с двойными – в обе стороны – ручками на концах размещались вертикально так, что каждый пильщик тянул пилу двумя руками: и тянули сильнее, и уставали не так. «Старики», как мы их прозвали,

попеременно то пилили, то «ошкуривали» - очищали от коры – брёвна, то ухаживали за лошадьми, то возили брёвна и доски зимой на специальных санях, летом – на телегах с прицепами, а если брёвна потяжелей – на двух стареньких ЗИСах с прицепами.

«Старики» доверяли нам, ребятам, поить коней на Енисее. Обычно мы выезжали по несколько ребят, нас сопровождал один из «стариков» на коне. Ездили без сёдел, лишь с уздечками. Лихостью было почти весь путь до спуска к Енисею обходиться без уздечек, но не у всех это получалось. Одним из лучших наездников был мой братишка Лёха, привыкший к лошадям ещё в полку у отца, где кони были настоящие кавалерийские, а не «стариковские» рабочие клячи. Меня не привлекало это занятие, но не мог же я допустить, чтобы подумали, что боюсь, а главное – подводить братишку.

- Стыдно за семью! - говорил он в таких случаях тоном матери. Лёня буквально вскакивал на лошадь, правда, из-за роста – с подставленных ящиков.

Меня взбираться с ящиков пришлось учить. Важно было и освоить осанку – не заваливаться, например, назад, а если приходится откидываться, то держать тело и ситуацию под контролем. И всё-таки однажды после купания я на скользкой от воды лошади выехал по откосу к концу улицы, оглянулся в сторону реки; лошадь среагировала на неловкий крутой поворот моего тела, и я не удержался – грохнулся на булыжную мостовую. Вытянутые руки самортизировали удар лбом, но всё-таки он был рассечён, и в половину его был синяк. « - С москвича – какой спрос?» - только и сказал Колька и дал мне «амнистию»: теперь я мог ездить поить, мог не ездить, а



Минусинск. Базарная площадь

мог вести лошадь под уздцы, что для моего возраста было уже унизительно.

Добрые «старики» - военные делали нам «за так» деревянные коньки, лапты и «чижики» для игры в лапту, самодельные лыжи. У многих из них дома оставались дети и внуки, и они к нам были добры. А взрослые получали у «стариков» доски «за бутылку». И я спал на настиле из этих досок. И из них же через недельку дядя Моисей соорудил вдоль всей перегородки полки в два яруса, где разместился весь наш скарб. Варили на керосинке, которую ставили на стол или на табуретку, а потом убирали на терраску, которую к зиме изнутри дядя Моисей чем-то обил и превратил в холодные сени. Всё-таки не так продувало и промораживало.

*Помнится, за лёгкой переборкой –
Только столик в маленькой каморке
И из досок сбитая кровать.
Нас с сестрою оставляла мать,
Накормив баландой с хлебной коркой
(Весь паёк семьи фронтовика),
А сама поест – незнамо как.
Мать с утра до ночи гимнастёрки
Шьёт неподалёку в мастерской.
Заработок там – невесть какой,*

*Но зато и для меня рубахи
Из кусков зелёного сукна,
И бушлат удобный цвета хаки
Из лоскутьев сделала она.*

*А сестрёнка - шутка ли, в десятом! –
В ватнике, в ушанке набекрень:
Ей – к лицу, и местные ребята
Часто вслед оглядывались ей.*

*Но себя сестрёнка держит строго:
Год закончит, аттестат, и - в путь.*

*Ею твёрдо выбрана дорога:
И самой – в Москву, и нас вернуть.*

*Поскорей домой бы возвратиться!
Но на деле всё сложнее пока:
Шёл сорок второй, и въезд в столицу
Был ещё пока по пропускам.*

Теперь мы регулярно получали письма от отца и писали ему. После переезда у мамы оставалась масса проблем, но зато немцев отогнали, и хотя они снова рвались, теперь на юге, но уже не было сомнений в нашей победе. Мама повеселела. Но она по-прежнему старалась больше общаться с тётёй Ларой: надежды на чудо с дядей Майором не оставалось. Когда можно было чем-то угостить Лёню и Руфу, мама посылала меня за ними. Но так же поступала тётя Лариса, иногда зазывая нас всех троих с улицы и сажая вместе за какую-нибудь кашу: к лету 42-го нас одинаково привлекало всё съедобное.

Переселение наше и тётя Лары от Абросимовых прошло легко и спокойно: дядя Вася приехал на машине, они с дядей Моисеем погрузили наш скромный скарб, а везти было всего-то ничего по расстоянию. Теперь Абросимовы могли пожить спокойно и свободно. Дядя Вася планировал ремонт, необходимый их избе, помимо прочего, для ликвидации последствий нашей длительной «оккупации».

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ АБРОСИМОВЫХ

Ремонт дядя Вася начал с крыши и стен. Крышу из досок ему помогали делать плотники, а конопатку стен он делал сам с нашей помощью. Дядя Вася так ловко заделывал деревянными лопатками паклю в швы между брёвнами и потом, по второму разу, так ловко той же лопаткой подвёртывал и выравнивал паклю в шве, что нам, ребятам, захотелось поучиться и помочь. Это было первое дело, которое я выполнял на равных даже с Колькой. Дядя Вася хвалил помощников и

собирался привлечь нас и к конопатке стен внутри дома.

Но получилось иначе. Предприятие дяди Васи перевели в какую-то другую категорию, сняли бронь, и Василия Ивановича Абросимова тут же мобилизовали. Мы едва успели с ним попрощаться. Крышу дома и флигеля друзья дяди Васи ремонтировали без него. Дом и флигель покрасили, и двор «повеселел», да что толку: лучше бы был в нём хозяин. Многих из друзей и сослуживцев дяди Васи тоже мобилизовали, и Елизавете Петровне не на кого стало опереться.

Всё изменилось в быту этой, ещё недавно благополучной семьи. Зарплаты тётки Ани и пособия тётки Лизы было мало, и тётка Лиза взяла какую-то работу на дом. Тётка Аня переехала к ней в дом, а флигель сдали инвалиду фронта с семьёй. Теперь, когда не было Василия Ивановича с его машинами, знакомствами и личной сноровкой, появились сразу проблемы с дровами, с колодцем, чисткой неблагоустроенной уборной и сто других, которые дядя Вася, неожиданно отправленный на фронт, не успел решить.

Но главная беда, точнее трагедия, случилась в этой семье в конце 1942-го. Тётка Лиза растапливала печурку в кухне. Сзади к ней подошли и с интересом наблюдали дочурки её и тётки Ани, Машенька и Зиночка. Каждой было около трёх лет. Сырые дрова никак не разгорались, и тётка Лиза, как делала уже не раз, плеснула на дрова немного бензина. Обычно вспыхивали подложенные щепки, от них загорались дрова. На сей раз – то ли плеснула слишком много бензина, то ли вывалились щепки, скорей – и то и другое. Огонь языками лизнул её фартук. А то, что он достиг и девочек, она не видела, да и не знала, что они за спиной. Пока тётка Лиза, схватив полотенце, сбивала огонь со своей одежды, испуганные девочки в горящих платьицах молча убежали в горницу. По счастью для дома, но поздно для девочек в дом за чем-то из флигеля пришёл постоялец. Он тут же схватил первые подвернувшиеся одеяла и, накрыв малюток, погасил эти маленькие живые факелы. Но ожоги были столь велики, что обеих девочек не удалось спасти, и они умерли в больнице через два дня.

Этот трагический случай всколыхнул весь город. Шла же-

сточайшая война, кругом были смерть, голод, болезни. Но отчаянно трагичная, обидная смерть двух малышей не оставила равнодушными не только соседей и знакомых. Как сейчас помню, возможно, сотню людей, запрудивших Ачинскую. Анна Петровна уже после похоронной на мужа была долгое время немного не в себе и только чуть успокоилась, как ужасная смерть единственной её дочурки сказалась на её психике, насколько помню, в такой степени, что ей потребовалось серьёзное и длительное лечение. Помню, как мы с Лёней, принеся что-то Гале от наших мам, заглянув в окошко, увидели при свете лампочки тётю Аню растрёпанной, с неизменной гитарой в руках, раскачивающейся и мотающей головой. Вышедшая к нам в сени Галя сказала, что дело плохо...

Елизавета Петровна, у которой и без того после отъезда на фронт дяди Васи обострился туберкулёз, совсем слегла. Тринадцатилетней Гале, сразу повзрослевшей, пришлось ухаживать за мамой и тётей. Просто удивительно, как ей это удавалось в столь суровое время. И хотя, наверное, не только мама и тётя Лара, но и, уверен, другие друзья старались помочь, чем могли, но могли немногим. Гале приходилось пропускать уроки и даже дни в школе, но она учёбу не бросила.

В 1945-м, после окончания войны, когда мы с нетерпением ждали отца, в двери нашей перовской квартиры постучали. Хорошо, что мама была дома. Она с трудом узнала в одном из двух обветренных, загорелых сержантов Василия Ивановича Абросимова. Он с товарищем возвращался из Германии, их часть армейскими эшелонами привезли в Подмосковье, где большинство состава демобилизовали, а остальных должны были отправить на Дальний Восток, где готовилось вступление в войну с Японией. Демобилизованный дядя Вася с товарищем из Красноярска должны были уехать поездом через день.

Помню, как радостно мы приняли фронтовиков: помимо доброй памяти о том, какую роль сыграл для нас Василий Иванович в Минусинске, мы, как и вся страна в те послевоенные месяцы, отдавали почести победителям. А у обоих сержантов было по несколько орденов и медалей, и главное – по

ордену Славы. Но, при всех своих орденах и военной форме, поседевший сержант Абросимов выглядел куда менее браво, чем дядя Вася трёхлетней давности. Как-то даже ниже ростом и в плечах уже стал. Но, возможно, мне так показалось потому, что я сам стал за эти годы и старше, и выше.

Мама, обежав соседей, сделала всё возможное, чтобы на столе было как можно лучше, а главное – по-домашнему: фронтовики соскучились по уюту. Мало того: они так отвыкли от белоснежных простыней и перины, что хотя мама постелила им вдвоём на нашей единственной двуспальной кровати, они долго отказывались от этой роскоши и, кинув в углу на пол шинели, вознамерились так и провести ночь, но мы настаивали на своём.

Друг дяди Васи давно спал, а он сидел в столовой, и мама подробно, но осторожно, стараясь причинить меньшую душевную боль, рассказывала о трагедии, постигшей его семью.

Утром мама написала записку к заучу, я сбегал в школу, и строгий Семён Харитонович на сей раз просто буркнул:

- Езжай. Но осторожно.

Я для него был 12-летним мальчишкой. Мама тоже не хотела признать меня взрослым. Но сам-то я был в себе уверен! Я повёл гостей на станцию Чухлинка, по пути показав места, где в войну стояли зенитки и где мы в 41-м провожали папу в ополчение. На электричке мы доехали до Курской и спустились в метро: пришлось мне показывать пример бесстрашным фронтовикам при входе на эскалатор. Всего одна остановка до станции «Площадь революции» - помню восторженную реакцию дяди Васи и его друга, они разглядывали каждую скульптуру, гладили их слегка, одними пальцами. Сначала я повёл гостей к Большому театру и Колонному залу – фронтовые водители, проехавшие Будапешт, Вену, не проявили особых эмоций. Но вот Красная площадь, Кремль, Мавзолей, Храм Василия Блаженного. Эти суровые воины, изо дня в день рисковавшие жизнью во имя спасения святынь, воочию увидев их, не могли не растрогаться. А я, проникаясь их настроением, но стараясь казаться мужчиной, на всякий

случай отвернулся.

Вечером уже, наоборот, гости рассказывали нам о тяжких своих испытаниях. Дядя Вася начинал не за баранкой, а в окопах. Полгода понадобилось опытнейшему водителю, чтобы достучаться до штаба полка и сесть за руль ЗИСа, но не из личной выгоды: возить снаряды, часто на виду у врага, куда опаснее. Зато водителю в окопе было – как лётчику в шахте. Но он и в пехоте воевал не хуже других. Слушая его рассказ, откровенный, «с кровью», я, сам не ведая того, как бы открывал совсем другую картину войны и другое поведение людей перед лицом смерти.

На прощание мама передала с дядей Васей в Минусинск всё, что только могла, в подарок гостеприимным сибирякам.

Как-то, кажется, в семидесятых годах Галя приезжала в Москву. К сожалению, я был в командировке, её тепло приняли мама и Рая. У учительницы Галины Васильевны было двое детей. Если я правильно понял и запомнил со слов наших, отец жил в её семье, мамы и тёти уже не было в живых.

Вот так война искалечила судьбу простой сибирской семьи, которой я благодарен всю жизнь.

ДЕТСКИЕ БУДНИ

Чем дальше, тем у меня всё меньше было свободного времени для обычных мальчишеских игр и забав, даже в летнее время. То есть я нередко играл с ребятами летом, например, в футбол, не настоящим надувным мечом, а заменявшим его, туго набитым тряпками мешочком. Играли в «пристенок», когда пытались достать растопыренными руками монеты или биты, отскочившие от стены. Играли на деньги в «расшибную», или «расшиши», но я не играл: денег не было. Играли в городки, которые нам иногда отдавали военные «старички». Себе они делали настоящие, с палками, обитыми жестью для тяжести. Квадраты рисовали прямо на выровненной земляной площадке, утрамбованной с песком и гравием: асфальтовых мостовых не было, булыжные, понятное дело, не подходили для игры в городки. Ходили в сопки и

играли в окопах «в войну». Ходили в лес, в рощи, на опушки собирать грибы, ягоды, дикие яблоки, орехи – всё, что созреет. Тут же спешили отнести домой, чтобы заготовить, а что не сохранишь – съесть. Знали: с каждой военной зимой будет всё трудней.

Рая и Клара, как и все старшие школьники, всё лето, как правило, работали там, куда направляли, а в колхозы на уборку их привлекали и в сентябре, до заморозков. Все взрослые и дети, и мы с мамой в том числе, в свободное время мамы ездили на огороды, наш и Красных – Горенштейнов: весной вскапывали, сажали и сеяли, летом пололи и окучивали, к осени и осенью убирали урожай.

Но любимым занятием для меня было участие в самодеятельности. И в зимнее время, и в летнее. В школьном ансамбле, где были и хор, и танцы, и декламация, мы готовили программу и выступали с нею в госпиталях, на заводах и фабриках, причём иногда работники, слушая нас, продолжали трудиться у станков, верстаков, на конвейерах. Иногда нас собирали и в дни каникул и вели или везли выступать. Мне нравилось не только выступать, но и знакомиться с мастерскими, заводами и их рабочими, и особенно – с ранеными в госпиталях. Пели под аккомпанемент аккордеона.

У нас были мудрые руководители: до или после нашего выступления, по их просьбе, обычно нам кто-нибудь из работников предприятия рассказывал о нём, а в госпитале – кто-нибудь интересный из раненых. Думаю, планы выступлений, наших и ответных, составлялись или обговаривались заранее, может быть, в горкоме комсомола, потому что от него обычно присутствовала девушка, работа которой называлась, кажется, «культпросвет».

Репертуар у нас был нехитрый, в основном из известных песен и стихов о войне, но не только. Большим успехом пользовались собственные сочинения детей любого качества и наши рисунки, которые, наклеенные на картоны, мы возили с собой, если ехали на машине.

Были и целые композиции. Например, запомнилось начало, которое было поручено читать мне::

*Рано утром, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских,*

И все вместе:

Это значит – против нас...

Потом вступала девочка:

*Хочет он людей свободных
Превратить в рабов голодных,
А борцов, поднявших меч,
На колени не упавших
И служить ему не ставших –*

Снова все вместе:

Расстрелять, повесить, сжечь...

И так далее.

Эту композицию, в которой стихи перемежались песнями, исполняли до весны сорок второго, а потом, оставив песни, изменили стихи. И впрямь, теперь уже война шла на равных, и Гитлер должен был встать на колени.

Не помню имён руководителей и авторов песен и стихов. Среди эвакуированных было немало талантливых артисток и музыкантов. Возможно, они и сочиняли, и руководили кружками. Например, в местном театре, в театральном кружке, мне довелось участвовать в детском спектакле «Кот в сапогах», который бы сейчас назвали мюзиклом, настолько он был насыщен музыкой, причём хорошей. Я, по молодости, не интересовался и не запомнил, кто автор музыки и стихов. Скорей всего, сами наши руководители и были авторами, потому что такого варианта «Кота в сапогах» я в дальнейшем не встречал. Между прочим, роль героини Сюзанны исполняла та Роза из Вильнюса, с которой мы познакомились в поезде и вместе приехали в Минусинск. Собственно, в театральный кружок я был принят благодаря её маме Белле, знакомой с нашим аккомпаниатором, прекрасной пианисткой. До сих пор в ушах

– фрагменты музыки и песен. Кот, которого талантливо играл мальчик Вова, очень одарённый и голосом, и в танцах, пел:

*- Скажи мне, Сюзанна,
Согласна ли ты
Хозяина Жана
Спасти от беды?*

Потом следовал дуэт Розы и Вовы:

*- Согласна!
- Прекрасно!
Прекрасно!
- Согласна!*

И они вместе:

*- Мы бедного Жана
Спасём от беды!*

- Согласна... - и далее. – Как я тогда ревновал её к Володке! Как я хотел быть на его месте! Я знал всю его роль. Но Володя был явно талантливее, и при этом старше и опытнее меня, и я покорно пел в массовке:

- *Мы бедного Жана спасём от беды!* – и кружился со всеми в вальсе, танцевать который здесь же и научился. После репетиций Роза – и не она одна – спешила собраться, чтобы выйти вместе с Володей, а мне в лучшем случае доставался прощальный кивок, хотя, казалось бы, «дружили домами». Что ж, я привык к более высокому, недоступному мне положению Розы-Сюзанны настолько, что когда она перестала спешить за Вовкой после репетиции, я самолюбиво не шёл на сближение, ограничившись «дружбой домами».

Причину размолвки Сюзанны с Котом я узнал через полгода. Когда я сказал Рае, что пойду делать уроки к Вале из моего класса по её приглашению, сестра, не подозревая о моём не полном безразличии к этой паре, рассказала мне то, что ей поведала тётя Белла. Оказывается, руководитель нашего кружка посоветовал Розе изменить какой-то жест, а присутствовавший Вова, самоуверенно привыкший, что ему всё сходит с рук, прошёлся:

- Это у неё от еврейского. - И хотя в общем-то он был прав, тон, которым было сказано, не оставлял сомнений в его

отношении.

- Так вот, - сказала Рая, - за своей жестикующей следить принципиально не надо, да у нас с тобой, у москвичей, этого и нет. Но надо стараться выбирать друзей так, чтобы потом не разочаровываться, - закончила разговор Рая, взяв с меня слово, что «не продам». Слово я сдержал. Но к Вале делать уроки ходил: у неё, из местных, было хотя бы попросторнее и потеплей, чем в нашей каморке в ту зиму 43-го. А ей нужна была моя помощь по арифметике. И если честно, она мне нравилась.

Иногда я задерживался после наших занятий в театре, чтобы посмотреть, как репетирует театральная группа старшеклассников. У них был целый репертуар, включавший и что-то про войну, и классику. В той группе занималась и подруга Раи и Клары Вера Трощенко. Она играла обычно главные роли и, пожалуй, по праву со временем стала актрисой.

Удивительно, но в такое тяжёлое время голодные и измученные дяди и тёти умилялись выступлениями детей с любимым репертуаром, и отнюдь не всегда в них была политика. Пример – наш «мюзикл». Очевидно, разрядка порой была необходима всем, и это в то время понимали.

Часто нас угощали из последнего, что у них было. Особенно в госпиталях. Возможно, потому, что раненых и кормили по армейским нормам, и их детей рядом не было, а у фабричных работниц дома были свои, и тоже, как мы, полуголодные. Но если бы нас не угощали вообще, я бы всё равно выступал, потому что мы приносили пользу, важную людям. Мы приближали победу - говорили нам взрослые.



Военный плакат

ТЯЖЁЛАЯ ЗИМА 1943 ГОДА

Осень 1942 года была снова тревожной: если в конце 41-го решалась судьба Москвы, и в ноябре начался разгром немцев, то осенью 42-го под Сталинградом решалась судьба всего европейского юга Союза, шла битва за Волгу и за бакинскую нефть. И снова решающим оказался месяц ноябрь, когда под Сталинградом окружили сразу 22 дивизии немцев. Вслед за этим фашисты буквально бежали с Северного Кавказа. В январе 43-го наконец была прорвана блокада Ленинграда. Эти победы для нас были как волшебный бальзам. Сейчас мне даже трудно понять, как нам удавалось свести концы с концами. На то, что мы получали по карточкам, прожить было совершенно невозможно: их «отоваривали» лишь частично и с заменой одного на другое. Спасало только припасённое с лета, собранное с огородов и «на природе». У нас своего погреба не было, и все наши припасы хранились частью у хозяев, частью у Абросимовых, Красных. Сумочками приносили запасец на неделю.

Ещё трудней стало учиться. Не хватало учебников: один на нескольких. В городе вообще не было бумаги. Даже местная газета выходила на забелённых старых номерах, и мы так и писали, между строк этих жёстких листочков. Не до почерка было, и я всё чаще писал правой, а к концу 3-го класса уже писал только правой, отрабатывая, по совету Раи, не так почерк, как скорость записи. Нам в школе вообще перестали давать даже тот 50-граммовый кусочек суррогатного хлеба из отрубей, который ещё был осенью.

На нашу учительницу больно было смотреть: ещё год назад молодая красивая женщина, сейчас, после перенесённых тяжёлых болезней, своих и детей, Нина Николаевна выглядела лет на двадцать старше. Тетради, точнее - сшитые листочки из той бумаги, у кого какая была, ей приходилось проверять дома. Связку тетрадей учительнице приносили домой, по её просьбе, ребята, в том числе и я: она жила неподалеку. Это потому, что Нина Николаевна из школы забегала на рынок, а потом – в детсад за своими детьми. И трудно было

носить, и боялась растерять.

Как-то я принёс после школы стопку тетрадей по русскому языку с диктантом домой, с тем, чтобы, получив обед в столовой, сделав уроки и поев, отнести их Нине Николаевне. Быстро управившись с уроками и ожидая Раю с обедом, я открыл стопку, стал читать диктант в тетрадях ребят и механически карандашиком слегка подчёркивал ошибки. Не придав значения, я так, с пометками, и отнёс тетради учительнице. Через день Нина Николаевна собрала домашние работы по арифметике и попросила принести ей к вечеру.

- Ты просмотри их дома, только ребятам не говори, - как бы между прочим сказала она.

Хорошо, что я про диктант ребятам не сказал, а ведь мог вполне, не задумываясь.

Я дома просмотрел, не зачёркивая ничего, а только чуть пометив. Когда пришла Рая, я поделился с нею заданием учительницы и сказал, что Нина Николаевна велела никому не говорить. Обычно решительная сестра на сей раз задумалась.

- Наверное, ей сейчас очень тяжело. А, может, Нина Николаевна решила, что раз тебе интересно, поработай в своё удовольствие. Давай посмотрим, что дальше будет. Если разобраться, вреда твоим ребятам от этого нет. Но не проболтайся, а то поймут неправильно – схлопочешь «тёмную». Это значит – накроют чем-нибудь и избыют. Возможно, так бы и произошло, но ещё через недельку Нина Николаевна сказала:

- Ну, у тебя знаний и впрямь на год вперёд, а может и больше. Но пометать мне больше не надо. Понял почему? – Я не понял, но возражать не стал. Действительно, рано или поздно могло кончиться непредсказуемо, и для Нины Николаевны тоже. Умная она была. Вот так, как с тетрадями, она всё время на уроках отклонялась на что-то необычное. Например, проходим таблицу умножения. Вдруг спросит кого-нибудь из «продвинутых»:

- Петров, а ты знаешь, что такое корень? А ты? – Наконец, найдётся, кто ответит:

- Это когда, например, восемь умножить на восемь, а потом снова разделить.

- Близко. Но туманно. Вернёмся, - скажет Нина Николаевна, напишет на доске корень из 64 и продолжит по теме. Мне лично такие разрядки нравились. Наверное, для ушедших вперёд она это и устраивала, чтобы не было скучно. Мы с моим соседом Маратом Алиным, действительно, иногда скучали и начинали играть в «морской бой» или в «крестики-нолики». Не знаю, почему нас Нина Николаевна посадила вместе: обычно «передовиков» прикрепляли к отстающим. Наверное, это для того, чтобы у Марата было меньше конфликтов с ребятами: он был заносчив и, хотя и давал «сдирать» (попробовал бы не дать!), но при этом «строил из себя». Обиженные и униженные нет-нет, да обзовут его «жидёнком». Я за него не заступался, во-первых, из-за того, что был «малолеткой» и «хиляком», но главное - сам не любил эти его черты характера и не раз советовал ему не «говниться». В конце концов, внимательная учительница, подметив наши частые переговоры с Валею, с которой мы делали вместе уроки, решила и впрямь «прикрепить» меня и поменять местами меня с её соседкой, боевой девчонкой. С нею Марат, как ни странно, ужился, и заносчивость его исчезла, а новая соседка вступалась за него, так что теперь слово «жид» исчезло из лексикона класса.

*Я учительницу вспоминаю –
Вижу пред собою, как сейчас.
Нина Николаевна, я знаю,
Как учить вам трудно было нас.*

*В классе – холод. Голодно. Нас много,
Слишком много было. Вы – одна.
Жили тесно, скромненько и строго –
Командира верная жена.*

*Маленькие дети. Может статья,
Так и не вернулся муж с войны...
Трудно было вам в эвакуации,
Женщины воюющей страны.*

Да, нашим мамам было очень трудно. Особенно тем, у кого погибли мужья или пропали без вести. Никакие льготы для семей «павших смертью храбрых» не могли заменить мужей и отцов. Да и льготы были до обидного мизерными, как и все пайки того времени. Теперь, когда я приходил, по просьбе тёти Лары, помочь Лёне, с этой осени первокласснику, тёте Ларе уже нечем было меня угостить. Сам Лёня, под влиянием многих из нашей компашки, не проявлял желания учиться и, несмотря на наказания занятой на работе мамы, и домашние уроки делал «шалаяй-валяй», а то и не делал вообще. Пришлось взять его «на прицеп», и всё же он постепенно втянулся и выправился с учёбой. Что мне в нём нравилось – в Лёне, ещё от отца, было и осталось на всю жизнь «чувство локтя». Он очень внимателен был к младшему Руфке: сам не поест, но его покормит. И хотя я с моими уроками был, как назойливая муха, - уж если я приходил, он оставлял компашку или просил меня подождать, пока доиграет, и мы шли в их такую же, как у нас, холодную комнатушку.

Вспоминая ту тяжёлую зиму, удивляюсь, какой у меня, всё время голодного мальчишки, был плотный распорядок только обязательных дел. После школы – получить в столовой для семей военнослужащих скудный «обед» из баланды и каши. Сделать уроки, с Валею или самому. Пообедать вместе с Раей, если она не задерживалась, или кое-как самому. Пойти к Лёне, заодно и самому чуть проветриться, и проверить, как там «мелюзга» - братья, и Лёне помочь. Сходить за очередной порцией из наших запасов от огорода в одном из погребов, где их «приютили». В дни репетиций в школе или театре или выступлений – успеть и туда. Порой нас подключали к помощи семьям фронтовиков, которой занимались тимуровцы – ребята постарше.

Когда бывал в театре, иногда после репетиции заходил к Одиным – что-нибудь передать от мамы или взять по её просьбе. Жили они буквально рядом с театром, позади него, в полуподвальной комнатушке, в которую можно было попасть, только пройдя через комнату женщины с ребёнком, тоже из эвакуированных. Но у Одиных я редко кого-нибудь

заставал: дядя Моисей и тётя Рахиль работали допоздна, активная Клара редко занималась дома, как и наша Рая. Часто они засиживались в читальном зале библиотеки. Если Рая училась «выше среднего», но отличницей не была, то Клара была круглой отличницей.

СТАРШАЯ СЕСТРА РАЯ

Не сказал бы, что моя старшая сестра Рая была воспитанницей комсомола в смысле идеологическом, скорее наоборот. Но, пожалуй, решительность и некоторую бескомпромиссную жёсткость она усвоила в духе, присущем советской молодёжи 1930-х годов, да и 40-х тоже. Приведу такой случай из нашей «семейной практики». Мы только переселились с Ачинской в каморку на улице Шевченко. В мои обязанности входило, придя домой из школы, взять кастрюльку и пойти в столовую для семей военнослужащих - получить и принести домой «обед» на троих: баланду, в которой плавало несколько лапшинок и несколько маленьких жёлтых кружочков, имитировавших «жирность» водицы.



Рая Ринская с подругой

Отстояв небольшую очередь, я принёс в сетчатой «авоське» кастрюльку и поставил на стол. Сев на табуретку, открыл крышку и мечтательно вдыхал носом дух какой ни на есть пищи, исходивший от баланды, в ожидании старшей сестры, чтобы, как было принято, вместе приступить к «трапезе», состоявшей из этой треклятой баланды и какой-нибудь каши. Было уже, по сибирским меркам, тепло, и дверь за моей спиной была приоткрыта. Я не слышал, как подошла сзади Рая. Хорошо, что я убрал руки со стола, собираясь встать и раздеться. Встать я не успел: от сильного удара в правое ухо я полетел влево, на топчан Раи, больно ударившись сразу в нескольких точках моего детского худого, ослабленного голодом тела. Оказалось, Рае почудилось, что я сижу – вылавливаю лапшинки из общественного первого блюда. Убеждённость в неоспоримости и решительность в действиях – разве не знакомые признаки? Ошибка, правда, была признана, но извинения не последовало, скорее всего, из апломба, которого тоже хватало.

Через много лет, когда Раиса Марковна, врач-терапевт, работала в больнице в центре Москвы, а брат, то есть я, лежал в её отделении с бронхиальной астмой, был такой случай. В широком коридоре отделения больные часов в десять вечера играли в домино. Доктор Раиса Марковна, дежурившая в этот вечер, проходя мимо, предложила игрокам прекратить игру и готовиться ко сну. Относительно молодая, симпатичная врач – кто бы мог подумать? Игроки продолжили игру. Проходя назад, доктор вновь, более решительно попросила заканчивать. Последовали уверения в шутливой форме. Проходя в третий раз, доктор решительным жестом смахнула плоды умственного труда игроков на пол. Я (никто из больных не знал о наших родственных отношениях) обомлел и приготовился к худшему, но обиженные только переглянулись, кто-то многозначительно сказал: « - Ого! » - и разошлись по палатам. Между прочим, в больнице у сестры я оказался по настоянию мамы, когда запустил астму вконец: ни я не любил обращаться к медицине, ни Рая не любила устраивать «по блату», тем более родственников.



Клара Одина

Эти случаи я привёл для характеристики жёсткости характера сестры, приобретённой благодаря «совковому» воспитанию предвоенных и военных лет. Но были и другие случаи, характеризовавшие мою сестру совсем с противоположной стороны, когда ещё молодой участковый терапевт Раиса Марковна потихоньку утирала - сам видел - слёзы, если у неё умирали больные.

Ну а теперь вернусь в 1943-й военный год.

*Сорок третий год был переломным:
Разрубил блокаду Ленинград;
Вслед за Курской битвой фронт огромный
Покатился медленно назад.*

*Путь ещё был долгим, очень длинным.
Враг ещё был в ярости силен,
И до логова его, Берлина,
Не один зарыли миллион.*

*Но, не тратя ни одной минуты,
Двинулись тылы вслед за войной:
Фабрики, заводы, институты
Возвращались поскорей домой.*

В сорок третьем мне исполнилось только десять, я не видел, как совершали подвиги люди в настоящей боевой об-

становке. Хотя своё мнение имею: по моим понятиям, сложившимся при общении с фронтовиками и по их рассказам, совершали подвиги не только и не столько те, кто погибал, но и те, кто не терял присутствия духа в отчаянной ситуации и с честью выходил победителем.

Но и в военном тылу не раз соприкасался с делами людей и при этом их мужеством – такими, что их вполне можно было бы сопоставить с фронтовыми подвигами. Разница лишь в том, что не перед лицом смерти. Уверен, что подвигом или близким к нему термином справедливо было бы охарактеризовать поступки Раи в 1943-44 годах, о которых сейчас пойдёт речь. Заранее оговорюсь: таких, как она, было немало – что ж, значит, подвиг был массовым.

Лето 1943-го тяжёлого военного года. Рая сдаёт экзамены на аттестат зрелости. Оставался, кажется, один экзамен, - и сестра заболевает тифом в самой тяжёлой форме, с высочайшей температурой и потерей сознания. В диагнозе врачи не уверены: есть подозрение, что у больной, упрощенно выражаясь, – менингит от энцефалита. Имея с медициной соприкосновение только в роли нерадивого пациента, возможно, я что-то и путаю, однако хорошо помню: врачи решают, что необходима трепанация черепа. Но больная на операционном столе в беспамятстве конвульсирует так, что операцию на день откладывают. А вечером Рае становится лучше, она приходит в себя, кризис прошёл, температура падает.

Худая, ослабевшая, с ёжиком на остриженной наголо голове, вышла из больницы Рая. А время не ждёт: если поступать в институт, то надо в ближайшие дни. Аттестат ей выдали: экзамен, который не успела сдать, зачли по годовой оценке. Всем не верилось, что можно вообще в таком состоянии ехать, тем более без денег, в голод и неизвестность. Да и ещё приехать и сдать вступительные экзамены.

Теперь, наверное, понятно, почему я привёл выше примеры жёсткой требовательности в характере сестры: далеко не каждая девушка, даже без проблем в смысле здоровья, внешнего вида, денег и возможности получения помощи от родных, решилась бы в такое смутное время совершить вояж

в неизвестность. К тому же Рая ставила цель поступить не в любой институт, а в медицинский, но в Москву требовался пропуск. Поэтому Рая решила поступить в институт, эвакуированный из Москвы: их уже стали возвращать в столицу. И тогда можно было бы добиться разрешения на наше возвращение в Москву. Да, вот так, с ёжиком волос, полуголодная и полубольная, в единственной паре старых туфель, сестра и уехала в Новосибирск.. Из этого города домой, в Москву, должен был возвращаться Институт пищевой промышленности, и по сей день размещающийся в Москве на Волоколамском шоссе. Рая в него и поступила ещё и с дальним прицелом: перейти со временем в медицинский.

Можно только гадать, как ей удалось выжить на стипендию 250 рублей, когда, например, у нас в Минусинске в 1943 году каравай хлеба на рынке стоил сотню. В магазинах цена на продукты оставалась контролируемой, но только по карточкам, и нормы были голодными, и «отоваривали» далеко не всё положенное. Возможно, «пищевики» как-то «подкармливали» свой институт. Возможно, как-то оплачивали работы, к которым, в помощь фронту, всю молодёжь - и старшеклассников, и студентов - привлекали в войну практически в обязательном порядке. Как сестра рассчитывала, так и получилось: институт, как тогда говорили, «реэвакуировали», и осенью 1943 года Рая уже оказалась в нашей родной перовской квартире.

*Молодости – море по колено.
Юность не пугает слово «риск».
Без гроша, в тяжёлый год военный
Ехала сестра в Новосибирск,
В институт. От голода мутило,
Но она сдала – и поступила!
И студенткой полноправной стала.
И на «стёпку» в двести пятьдесят
С карточки продукты выкупала,
Голодала, но не помышляла -
Бросить всё и отступить назад.*

*В эти годы, трудные, лихие,
Не всегда имея хлеб и кров, -
До чего же сильные вы были
И упорны, люди молодые
Боевых сороковых годов.*

Итак, Рая – в Перове! Наш дом – в целостности-сохранности, только доски на фасаде рассохлись, зелёная краска облупилась. Но главное – не разрушен, не сгорел! С нарастающим нетерпением Рая снимает крюк калитки, открывает её, бежит по дорожке к двери. Стучит.

Дома – соседская дочь Люся. Жаркие объятия. Сам дядя Фридель Хаит на фронте, тётя Феня – на работе. Всё та же общая кухонька – проходная, из неё – две двери в наши и Хаитов комнатухи: у нас три и у них – две с терраской. Рая открывает ключом, который ей дала мама, замок нашей двери. Она знает, что в наше отсутствие комнатки успели не раз обворовать, проникая через окно, сейчас забитое фанерой. Так и есть: почти ничего, кроме мебели, не осталось. А ведь Рая приехала с тощей котомкой.

В доме – холод, Обои отсырели и во многих местах отклеились. Пыль и паутина. С собой – ни денег, ни еды. Идёт в сарай, общий с Хаитами. На нашей половине, всегда набитой дровами, находит лишь невысокую поленицу. Растапливает «голландку», которая между двумя комнатками пристройки площадью восемь и семь метров. «Большую», 10-метровую, заднюю комнату решает, из экономии, закрыть и пока не отапливать.

Кто знает, как бы выжила сестра в ту голодную и холодную зиму, если бы не помощь соседей. На первое время её снабдила едой, дровами, даже кое-чем из вещей соседка Женя Волович-Кристалль, так и не уехавшая в эвакуацию и продолжавшая работать в железнодорожной больнице. У неё муж погиб, и остались два сына, Миша и Алики, как раз в возрасте Лёни и Руфы. Это она, тётя Женя, помогла нам с отъездом в эвакуацию, отдав нам билеты, которые были положены ей с детьми, как работнику железнодорожного ведомства. С Ми-

шей Воловичем меня со временем свяжет многолетняя дружба и совместная работа.

Несколько ночей Рая провела у тёти Жени, пока не привела в порядок и не отогрела немного комнаты, пока не оформила документы и не получила карточки и ордера на дрова и уголь. Но всё это надо было выкупить, привезти. Тётя Женя одолжила Рае деньги и договорилась в больнице с шофёром – привезти уголь и дрова, но их хватило как раз до нашего приезда. В Москве в валенках не походишь, и сестра ездила в институт в туфлях отца и в телогрейке, сшитой мамой в Минусинске. Можно себе представить, как бы выглядела девушка в наше время в столичном ВУЗе в телогрейке цвета хаки военного покроя и в мужских туфлях. Но в ту суровую зиму 1943 - 44-го это было привычнее, чем сейчас в Москве норковая шубка.

Несмотря на все свои трудности и проблемы, Рая нашла возможность одним из первых дел выхлопотать маме и мне разрешение на возвращение в Москву.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Всё-таки какая она молодец – моя старшая сестрёнка. Впрочем, какая же «сестрёнка», когда уже взрослая: студентка! Надо же – так быстро выхлопотала нам с мамой пропуск на возвращение в Москву. Там, говорят, дикие очереди, и не каждому удаётся получить, тем более - женщине с ребёнком, лишнему балласту для столицы. Наверное, учли, что мы всё-таки – москвичи, и жилплощадь есть, предоставлять не надо.

- Ну и дочка у тебя, далеко пойдёт! – сказала маме тётя Лара. Я не понял, куда Рая ещё должна пойти, но по тону догадался, что это хорошо.

Как только мы получили от Раи пропуск в Москву, мама, уже знавшая о её хлопотах и подготовившая заранее всё, что можно, позаботилась о железнодорожных билетах. Предстоял путь сначала километров тридцать по тракту до Абакана, оттуда поездом до Красноярска, там пересадка и - до



Одно из училищ в Минусинске

Москвы. Но прежде мама уволилась с работы. Мы написали отцу последнее письмо из Минусинска и попросили ответить в Москву. Но он уже и так переписывался с Раей.

Нина Николаевна досрочно оформила мне табель на вторую четверть четвёртого класса и на прощанье сказала, что хотя пока я «круглый» отличник, но намного сбавил обороты, и если так будет, то это – последний мой отличный табель. Она ошиблась всего на год: начиная с пятого класса я постепенно съехал из «круглых».

Мы тепло попрощались со всеми. Мама пообещала Одиным, как только приедем, заняться пропуском в Москву для них. Тётя Лара подумывала вернуться в свой родной украинский Житомир, откуда её, молоденькую девушку, в своё время увёз бравый выпускник военного училища Меер Рынский. Но пока на Украине ещё продолжались бои. Мама тепло поблагодарила Абросимовых и последних хозяев, приютивших нас (к сожалению, ни имён, ни фамилию не помню). Белла с Леоном пришли попрощаться и принесли нам на дорогу консервы - американскую тушёнку и лярд, которые получали бывшие граждане Польши. Роза тоже пришла с мамой, но после занятий с Валею она мне уже не казалась столь инте-

ресной. Я попрощался с классом, кружками в школе и театре, с компашкой ребят Ачинской улицы.

С Валею на прощанье мы робко поцеловались, я впервые ощутил и запомнил на всю жизнь два ещё маленьких мягких шарика, чуть прижавшихся к моей груди, и страшно пожалел, что всё это не произошло раньше. Сколько раз мне – и, наверное, каждому – приходится, мысленно возвращаясь к прошлому, сожалеть о чём-то несостоявшемся.

Дядя Моисей попросил на работе машину, проводил нас до Абакана и посадил в поезд. До Красноярска доехали без приключений, но здесь просидели на вокзале больше суток, пока маме удалось закомпостировать билеты до Москвы в общий вагон. И опять, как и из Москвы, мы возвращались в переполненном вагоне, на треть из пассажиров – безбилетников. Только на сей раз все спешили вернуться домой, многие – и без пропусков, в только недавно освобождённые города и сёла, пусть разрушенные, сожжённые, но свои.

Но отличием было и то, что на обратном пути в вагоне было куда больше воровства и разного рода хулиганства: за войну расплодилось много людей бездомных, среди них и спившихся инвалидов. На них я не мог смотреть без боли, вспоминая наши выступления в госпиталях и доброту искалеченных войной людей к нам, детям. Мама особенно переживала, глядя на беспризорных подростков и детей, для которых вокзалы и поезда стали их домом.

Запомнилась очень мелодичная, берущая за душу песня ещё совсем молоденького слепого, в застиранной, но аккуратной солдатской форме, просившего милостыню в поезде:

*Не для меня соловьи поют
Ночами в роще золотистой,
И дева с чёрными очами –
Она живёт не для меня.*

*Не для меня цветы цветут:
Распустит роза цвет душистый,
Сорвёшь цветок, а он завянет,
Как вянет молодость моя...*

За прошедшие затем годы я много раз слышал разные вариации этой, думается народной, песни, но в памяти только слова, мелодия и образ того слепого, скорей всего – бывшего солдата.

Поговорка «свет не без добрых людей» оправдалась и на обратном пути: в нашем общем «отсеке» оказалась женщина с мальчиком постарше меня, ехавшие тоже до Москвы. Мама договорилась с попутчицей, и они спали все ночи и даже выходили на станциях по очереди, и благодаря этому содружеству нам удалось уберечь свои нехитрые вещицы. В вагоне всё время появлялись шулеры: картёжники, фокусники. Кто понаивнее собирались вокруг них, а в это время сообщники аферистов обчищали карманы столпившихся и их оставленные без присмотра вещи, иногда и запугивая свидетелей.

На сей раз мы добрались до Москвы за неделю с небольшим. Москва была вся и заснеженная, и «позеленевшая»: раскрашенные для маскировки зелёные и серые не только машины, но и трамваи, поезда, автобусы. Налётов уже не было, но пока было не до перекраски. Военные теперь щеголяли в погонах, им это было к лицу. В нашем Перове провалы пустых дворов зияли на местах домов, сгоревших от зажигалок. Остатки сгоревших деревянных домов употребили на дрова, их кирпичные цоколи горбатились под снежными шубами над уровнем дворов.

Вконец истощённая, полубольная старшая сестра, наверное, предприняла отчаянные усилия, чтобы встретить нас как можно достойнее, и хотя по понятным причинам это ей не очень удалось, мама прослезилась, войдя в дом и увидев чистую скатерть на столе, салфетки на полках дивана, семь отмытых слоников и чистое зеркало. Хотя в окне был ещё картон вместо стекла, но остальные окна вымыты изнутри, как только можно в зимнее время. И, главное, тепло. Был и обед: постный борщ и картошка-пюре с жареным луком – моё любимое блюдо, за неимением других. Впрочем, и сейчас люблю, в память о войне. Но главное наше «спасибо» Рае было за то, что мы – дома! Благодаря её подвигу.

МЫ - ДОМА!

*Родовались те, кто заставляли
Уцелевшим свой родимый кров.
Со слезами двери целовали
Промороженных насквозь домов.*

*Снова – на своей родной постели!
Поскорее бы войне конец.
И сама, и дети уцелели.
Как-то там, и где он там – отец?*

*Жив бы был... Пока что редко пишет.
Мог бы чаще. Но не до обид:
Только б выжил. Только бы он выжил!
Держится? Какой теперь на вид?*

*Карточка, где он ещё в петлицах
(А в погонах не успел прислать) -
В документах, с паспортом хранится.
Перво-наперво её достать.*

*Тщательно и ровно прикрепила
Дорогое фото над столом –
От сырых, холодных стен квартиры
Как бы вновь повеяло теплом.*

*Приближался ранний зимний вечер,
А работы в доме – до утра.
Осмотрелась радостно. За печку
Поскорей приняться бы пора.
Ни полена, ни доски в сарае:
Кто считался с этим в дни войны?
Раз два года не было хозяев, -
И дрова им были не нужны.*

*Но зато вернувшимся соседи
Сразу и во всём навстречу шли,
А с солдаткой, да ещё при детях,
Тут же всем делились, чем могли.*

*Дров? Бери на целую неделю,
Там отдашь – получишь ордера.
Как твои ребята? Чай не ели?
Ты бы к нам пока их привела.*

*И сама зайди, хоть ненадолго:
Отогрейся и попей чайку.
Рассказать друг другу надо столько
Про войну, про горе, про тоску...*

*Ладно. Полчаса на все беседы:
День короткий. Дел невпроворот.
Не успели сесть за стол – соседок
Тут же завертелся хоровод.*

*Даже непонятно, как узнали,
Только через несколько минут
С радостью, а то и со слезами
Весь проулок был уж тут как тут.*

*Только весь ли? Не хватает многих:
Кто сейчас работает в ночной,
Кто ещё пока что на востоке,
Кто уж не вернётся в дом родной...*

*Никого хозяев, кроме женщин.
Нет мужчин. И всё – на эти плечи...*

Эти строки я лет через двадцать после войны писал и публиковал не про нас, но наш приезд и то, как нас встретили, отличались только в деталях. Уже на следующее утро начались будни: в первую очередь прописка, карточки, орде-

ра на топливо. Затем – трудоустройство: мама стала брать работу на дом, шила солдатское бельё и гимнастёрки. Наша ножная швейная машина фирмы «Зингер» вполне подходила для этого и прошла проверку ещё до эвакуации, мама и тогда шила на дому.

Я пошёл в школу, но к этому времени как раз разделили мальчиков и девочек, и та школа, где я учился перед эвакуацией, стала женской, а городская школа №1 – мужской десятилеткой. Как я пришёл в её четвёртый класс после нашего приезда, так и окончил её десятый класс в 1950-м году. В четвёртом я встретил немало ребят, с которыми учился во втором – их перевели в мужскую школу. Многих из уехавших в эвакуацию судьба разбросала затем по другим городам, или их определили в другие перовские школы. Одного из учившихся со мной ребят я узнал в мальчишке на протезе: он потерял ногу, когда вместе с другим мальчишкой заинтересовался в парке большим металлическим предметом, оказавшимся неразорвавшейся бомбой. Его товарищ погиб, а Витя стал инвалидом. Мы с ним проучились вместе несколько лет, потом его отца – офицера отправили служить в другой город.

У Евгения Евтушенко есть прекрасное стихотворение, посвящённое подвигу и оканчивающееся так:

*О сколько тихо настрадавшихся,
Чтоб всё – для взрыва затаённого,
Но сколько взрывов не раздавшихся
И пороха не применённого.*

*Я не хочу быть дымным порохом:
Боюсь воды и отсырения.
Вся жизнь моя пусть будет подвигом,
Рассредоточенным во времени.*

Вот так же, рассредоточенным во времени, оказался и подвиг моей сестры. Рая не ограничилась возвращением в Москву, её мечтой была медицина. И она добилась перевода в Первый Московский мединститут, но на факультет не лечебный, а на санитарно-гигиенический. Получив квалифика-

цию санитарного врача, Рая затем, поработав по совместительству рентгенологом, поступила в ординатуру и всё-таки добилась своего, став врачом-терапевтом, а затем и заведующей терапевтическим отделением крупной больницы.

Сразу же по приезде мама с помощью Раи подала документы на получение пропуска в Москву для Одиных, и осенью 1944 года дядя Моисей с семьёй вернулись в Москву. Но их комната по-прежнему была занята ещё с 1942 года, когда их сын Иосиф, приехавший с институтом из эвакуации, был вынужден жить в кладовке, пока его не мобилизовали в армию. Теперь в этом положении оказались трое: Моисей, Рахиль и Клара Одины. Потребовалось длительное судебное разбирательство, прежде чем им комнату вернули.

Моисей продолжил работу на Курском вокзале по доставке грузов, Рахиль устроилась работницей по обслуживанию Института гражданской авиации.

Клара в Минусинске закончила девять классов, предстоял десятый, а из-за двухмесячного опоздания к началу учёбы её отказывались принимать. С большим трудом, с учётом её отличного табеля и данного слова, что «догонит», всё-таки приняли в десятый, и в победном 45-м Клара получила аттестат. Осенью того же года Клара поступила на лечебный факультет Второго Московского медицинского института.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВОЙНЫ

Вернёмся к лету 1944 года. Немцы ещё упорно оборонялись. И всё-таки уже освобождены Крым, Новгород, почти вся Украина. Москва заметно повеселела: с улиц ещё раньше исчезли заграждения, зенитки, аэростаты. Нормально работал транспорт. Мало того: строились и открывались новые станции метро. Вернулись из эвакуации и открылись театры. С карточками стало больше порядка: в Москве их «отоваривали». В общем, в Москве порядка, как нам показалось, больше, чем в том же Минусинске, хотя, с другой стороны, сопоставлять их несправедливо по отношению к самоотверженным сибирякам, у которых отнималось буквально по лозунгу: «Всё для фронта, всё для победы». Столицу же снабжали

лучше, но тоже вовсе не перекармливали, и простые труженники жили впроголодь.

В нашем Перове на центральной Пролетарской улице соблюдалась чистота, даже сточные канавы были расчищены. Мостовая проезжей части была ещё булыжной, тротуары мощённые. А перед горсоветом даже установили две скульптуры - Ленина и Сталина. Не помню, в то ли лето, или позднее мне кто-то из ребят рассказал по поводу этих изваяний анекдот, для того времени «убойный» в прямом смысле этого слова.

Ленин перед Горсоветом стоял в своей традиционной позе, простирая вперёд правую руку. Сталин же свою правую держал у груди, ладонью вверх, как бы рассуждая и убеждая. Но довольно убедительной была трактовка позы каждого: Ленин: « - Всем!», Сталин: « - Мне!». По тем временам – тут же «вышка». Я, впитавший от папы и мамы, что лучше молчать, не стал никому повторять этот анекдот.

Мы вернулись из Сибири имеющими навыки обработки земли. По опыту Минусинска, мы вспахали нашу часть двора и посадили картошку и по грядке лука, моркови, редиски. И ещё нам дали небольшой участок на каком-то пустыре в Кусково, там тоже сажали картошку. Удивительно, но никто не воровал, точнее – не выкапывал. На лето я ездил в школьный лагерь, и хотя там мы каждый день до обеда пололи совхозные поля, но всё-таки нас там кормили, и приехал я немного даже потяжелевшим. Теперь я был для мамы уже мужчиной в доме: прибывал отвалившиеся доски сарая и уборной, полыл и окучивал картошку.

В воскресные вечера, если не было дождя, в нашем Перовском парке часто на улице показывали кино совершенно бесплатно – старые фильмы, но сначала обязательно киножурнал «Новости дня». Показывали одним стрекочущим аппаратом, ленты обрывались, подолгу ждали перемотки, собирались кучками, шутили и спорили, и никто не уходил.

У нас сложилась небольшая компания ребят и девочек нашего Безбожного переулка. Главным у нас был Гена Селезнёв. Он в свои лет пятнадцать уже где-то работал и, навер-

ное, общался со старшими ребятами, потому что учил нас курить, собирать окурки папирос и сворачивать из газеты «козью ножку», учил нас блатным песням и просвещал и ребят, и девочек по вопросам пола. Последних – не могу сказать, в какой степени, но помню, как меня поразила песня «На Молдаванке» в исполнении двух девчонок – соседок. Это было именно в том 1944-м, когда мы приехали. Вскоре Гена пропал: за что-то его посадили в колонию для несовершеннолетних. Когда он вышел, помню, давал моей маме слово, что «завязал». Но потом снова «сел». А когда снова вышел, начал работать и, кажется, действительно «завязал», ему свои же дружки воткнули «финку» и сбросили с электрички.

Такие компашки, как наша, и такие «вожаки», как Гена, в то время были, пожалуй, одними из самых «скромных» для времени войны и безотцовщины. То, что те же наши девочки, да и мальчики распевали модную тогда песенку: «Старушка, не спеша, дорожку перешла...» с соответствующим акцентом и картавя, воспринималось нами хотя и с обидой, но не такой глубокой, чтобы разорвать отношения. А когда с издевкой говорили о соседе-инвалиде, еврее Абраме Петровиче К., спекулировавшем сахаринном, - ну что же было обижаться, когда мы сами считали его своим позором, уверенные, что он сам устроил себе инвалидность, прострелив ногу. Уж больно быстро он вернулся домой в первый же месяц после призыва и не так уж сильно хромал. С ним и жена разошлась. Но не любили у нас в переулке и русских мужиков – соседей, сидевших в тылу неизвестно почему и занимавшихся неизвестно чем. Например – за глухим забором напротив нашего двора жила семья Крымовых, хозяина считали дезертиром.

Лето пролетело быстро, и вот уже пора готовиться к школе. Та же проблема с учебниками, тетрадями и прочим, но здесь она не такая острая, как в Сибири. Гораздо острее проблемы с одеждой и особенно с обувью. Мне достаточно одного простенького лыжного костюма и дешёвых ботинок из чего-то вроде фетра с резиновой подошвой. Гораздо серьёзней дело у Раи: всё-таки студентка второго курса. Но она неприхотлива и довольствуется чем-то ушитым и простой обувью.

ВОЙНА И ШКОЛА

Теперь, в пятом классе, у нас не один учитель по всем предметам, а по каждому – свой. И теперь у нас – много новых серьёзных предметов. Есть и военное дело. Сейчас уже точно не помню, но, кажется, уже в пятом я умел разбирать и собирать затвор винтовки «образца 1891/ 1930 года» и знал устройство автомата «ППШ». Мы и стреляли, для начала - из пневматических и мелкокалиберных ружей. Учили нас и «зарываться в землю», орудуя сапёрной лопатой. Всё это было интересно ещё и благодаря тому, что у нас был отличный преподаватель физкультуры, он же военрук. А вот то, что было необходимо в продолжавшейся войне, немецкий язык, мне не нравился потому, что у нас была невзрачная и не способная справиться с нами Екатерина Петровна, хотя сама она не-



Военный плакат

мецкий знала в совершенстве, переводила книги.

Русский язык и литературу нам преподавала Юлия Осиповна. Она учила нас точно «от» и «до» по программе, но я учительнице благодарен за то, что она поощряла мои первые несовершенные пробы пера, очень дипломатично обращая внимание на плохую рифму, а то и просто ляпсус. Например, я так гордился «циклом» собственных «стихов» про солдата Тараса Иванова (ударение – на втором слоге), которые с успехом читал в госпиталях в Минусинске, награждаемый аплодисментами и сахаром, и никто не подвергал сомнению форму и содержание моих «произведений». А вот Юлия Осиповна мягко говорила:

- У тебя тут:

*Раз Иванов шёл с разведки.
Вдруг к нему подходит смерть...*

Прямо так и шёл? И не боялся? И почему «с разведки»? Это что – с горы, что ли? И смерть так прямо и подходит на глазах у него, не спеша и не скрывая своих намерений? – в общем, я чувствовал своё творческое ничтожество. Но Юлия Осиповна вдруг сменяла критику на похвалы:

-А вот то, что он обманул смерть и выкопал себе окоп, идея хорошая, только то было – смерть подошла, а теперь вдруг «добыча далека» для неё? Ведь она рядом стояла. Значит, не «далека», а недоступна. – Я снова краснею, но учительница цитирует:

*И с тех пор в том отделении,
Где Иванов – командир,
Слоя три кладут с умением
И бревенчатый настил
На окоп, и смерть обходит...*

- Это, говорит учительница, прекрасно, что находчивое спасение командира послужило примером для его солдат. Но вот «слоя три» - чего? - кладут солдаты до бревенчатого настила? Не поверх ли? И на окоп, или на блиндаж?

Вот так протюживала мои сброшюрованные нитками

разнокалиберные листочки. Я уходил обиженный, а дома пытался что-то исправить. «Вот теперь...!», - казалось мне, и я снова шёл к Юлие Осиповне, и опять ... Вспоминаю с благодарностью. Она до седьмого класса учила меня излагать и рифмовать с умом, а с восьмого по десятый литературную эстафету продолжала замечательный педагог Полина Абрамовна Трасковская, которая научит нас и мыслить литературно.

Мы долго не знали, что наш преподаватель истории – инвалид этой войны: он прихрамывал, ходил с палкой, но мало ли людей хромает. Его раздражительность нас возмущала, и мы жаловались классному руководителю – Юлии Осиповне. Наконец, после очередного инцидента, она открыла нам секрет: наш преподаватель истории потерял на фронте обе ноги и ходил на протезах. Узнав об этом, мы на уроках истории вели себя, как мыши. Может быть, именно поэтому я здорово усвоил историю древнего мира, после чего у нас учитель, к сожалению, сменился.

В те годы наша двухэтажная школа отапливалась плохо. В классах ещё были печи, топили дровами. Лишь после войны смонтировали центральное отопление, а тогда мы часто занимались в верхней одежде. Завтраков не давали, как и в Минусинске. Социальное неравенство здесь ощущалось ещё явственней, чем в Минусинске: одни приходили с солидными бутербродами, а другие, и я в том числе, терпели до домашнего обеда. Но в пятом классе было на два урока больше, и на последнем чувство голода мешало сосредоточиться.

Хотя и моя, и наши соседские «идише маме» старались дать детям всё, что могли, я бы не сказал, что как мне, так и большинству еврейских ребят было легче, чем другим нашим сверстникам. Бывало и наоборот: в соседнем доме жила многодетная семья Фурманов. Дети там настолько голодали и не имели даже необходимой одежды и обуви, что какое-то время младшие вообще не ходили в школу. Помню, как мама с соседками собирала Фурманам детскую одежку. У них даже не было кастрюли, помню – мама им отдала свою, совсем не лишнюю. Между прочим, несмотря на такое тяжёлое,

безрадостное детство, два старших сына, Семён и Ефим, мои сверстники, окончат ВУЗЫ. Про младших – не знаю.

Если у нас в школе седьмых классов было ещё два, то восьмых – уже один, а в десятом нас оставалось всего 18 человек, причём половина класса жила на расстоянии свыше двух километров – там вообще не набирались десятые классы. У большинства не было возможности, а у многих родителей – и желания давать детям высшее образование, и отправляли в ремесленные училища или техникумы.

ДЕТИ ПОДМОСКОВЬЯ - 1945

Живя впроголодь, мы, дети, сами уже знали, где и как можно что-нибудь добыть дополнительно съестного для себя, а порой и для дома. Что греха таить, осенью лазили через заборы в сады. В нашем переулке был дом тех самых Крымовых с большим двором, огородом и садом, обнесёнными высоким глухим забором. Крымовы жили замкнуто, были неприветливы. Сам хозяин, здоровый мужик, всю войну просидел в усадьбе. Вот в этот сад мы лазили. Сначала приучили к себе огромного пса, подзывая его через забор и ведя с ним длительные беседы. Вишни, груши, яблоки – кажется, в мире не было лучших плодов, чем добытые опасным путём в соседском саду. Бывало – попадались, получая хорошие побои от хозяев. Правда, дело этим ограничивалось: они не отводили нас к родителям, не сообщали в школу, почему-то упорно ни с кем не контактируя. Может быть, не зря его считали дезертиром.

Ближе к зиме, когда люди выкапывали на отведённых властями участках картошку, мы рыскали по заброшенным на зиму участкам, выискивая, и не без успеха, в грязи, в холодной, пока ещё не схваченной морозом мокрой земле оставленные картофелины или их резаные доли. Выковыривая их детскими лопатками, а то и окоченевшими руками, собирали и относили мамам. Между прочим, и мысли не было покушаться на ещё не выкопанные участки, хотя они никем не

охранялись: уважали чужую нужду. Если люди сажают на участках, значит – без этого будут голодать. Да и бессовестно воровать незащищённое. Другое дело – преодолеть забор зажиточных Крымовых.

Картофельные участки были и на пустыре рядом с Церковным прудом – так он назывался потому, что был около церкви, в которой, по преданию, венчалась чуть ли не Екатерина Вторая, а в военные годы располагался толевый завод. На заводе работали немецкие военнопленные из расположенного рядом лагеря. Они же строили большой красивый городок кирпичных трёхэтажных домов. Когда мы собирали остатки картошки на участках, примыкающих к двойной ограде лагеря, немцы толпой собирались по ту сторону колючей проволоки, жестами прося поделиться с ними. Мы кидали им подмороженные грязные картофелины через высокую ограду. Немцы бросались к ним, стараясь опередить других. Счастливики тут же обтирали грязную картофелину рукавом и начинали грызть. Охрана не вмешивалась, лишь иногда появлялись наши солдаты и отгоняли немцев от ограды, а нам кричали дежурные с высоких сторожевых будок.

Худые, истощённые, промёрзшие в своих лёгких шинелях «фрицы» были совсем не похожи на тех чопорных, солидных



Музей-заповедник Кусково в городе Перово, ныне район Москвы

специалистов, с которыми мне пришлось сталкиваться по работе через много лет. А в то время злость к врагам-фашистам смешивалась у нас с простой человеческой жалостью к поверженным, больным и голодным людям. Хотя эти несколько картофелин нам и дома были не лишними, мы их кидали «фрицам», и хотя взрослые нас осуждали за это, но, как мы чувствовали, им нравилось то, что война и лишения не убили в детях человечность.

С начала учебного года я стал заниматься в хоре. Но выступать нам приходилось не часто, совсем не так, как в Минусинске. Как видно, всё зависело от местных руководителей «культпросвета». Хором руководил наш учитель пения, которого мы хотя и прозвали «козлом», но уважали. Иногда нас везли в Центральный дом детей железнодорожников, где нас прослушивал Семён Осипович Дунаевский, родной брат всемирно известного композитора, сам тоже композитор, дирижёр и хормейстер. Ряд песен мы разучивали и исполняли на крупных праздничных концертах в составе сводного хора, которым руководил Семён Осипович.

РАДОСТИ И СЛЁЗЫ

Зимой папу наконец демобилизовали, но не разрешили возвращаться в Москву, и он уехал в Казахстан, в Кызылорду, где в эвакуации жили Заславские: тётя Женя, сестра мамы, и её муж Ушер. Их сын Иосиф по окончании Ташкентского офицерского училища был направлен на Украинский фронт и погиб в одном из своих первых боёв. Лишь после приезда отца в Кызылорду из переправленных без цензуры писем мама узнала о злключениях отца на уральском трудфронте. А до меня дошла правда, возможно и не вся, гораздо позже, лет через восемь.

Оказывается, воинское формирование отца привезли на Урал, в закрытую зону. Условия мало отличались от лагерных: бараки, старая армейская форма, скудное питание. Работа – обогащение руды, почти вручную. Но главное, что не просто руды, а радиоактивной. Защиты – никакой, только

то, что непосредственно с рудой работали по четыре часа в день, а остальное рабочее время – ещё не менее четырёх часов – на других работах. В результате отец получил дозу облучения, заболел лейкемией и стал постепенно угасать. Со всех работавших в зоне взяли подписку о неразглашении характера работы. Но этого было мало: отец с его «лучевой болезнью» мог стать объектом внимания. Поэтому, демобилизовав его в начале 1945 года, в Москве и крупных городах европейской части ему разрешили появиться лишь весной 1946 году. Постепенно у отца будет развиваться лейкоз – «гипопластическая анемия», как официально называется его смертельная «лучевая болезнь», вызванная радиацией.

Победа приближалась теперь уже неумолимо. Это стало окончательно вопросом времени, когда союзники наконец-то летом 1944-го открыли второй фронт, а Советская армия к зиме завершила освобождение фактически всей территории Союза. Чем дальше продвигались наши, тем всё больше вскрывалось фактов невиданных миром злодеяний фашистов. Когда начали освобождать лагеря массового геноцида, – я как сейчас вспоминаю газеты с фотографиями крематориев и гор человеческих тел и костей. Впрочем, в нашей печати эта тема освещалась сравнительно скромно. Запомнились ужасы на цветных фото американских журналов, которые откуда-то иногда приносила Рая, а я просматривал тайком от неё и мамы: там было много всякого...

В те годы трагедия еврейского народа вызывала у людей всеобщее сочувствие, но мои украинские родственники рассказывали, что сталкивались с ненавистью, злобой. Да и сам я сталкивался с такими проявлениями, правда не лично к себе, в той же Украине и в Прибалтике в первые послевоенные годы. В Москве мне, мальчишке, в те годы если и приходилось слышать, то высказывания по поводу «Ташкента», олицетворявшего уклонение от армии, и о спекуляции. Ну и песенки ходили, вроде упомянутой «Старушки». Злобного антисемитизма я не припомню. Он расцвёл после 48-го года,

Но в том 1945-м все были в приподнятом настроении в ожидании Победы, хотя это настроение у многих, в том чис-

ле в нашей семье, было омрачено и продолжало омрачаться, когда убеждались, что уже нет надежды на возвращение кого-то, или когда узнавали о новых жертвах. Но – что делать? – жизнь продолжалась. К концу войны возвращались к родным очагам...

Заславские неплохо жили в Кызылорде: тётя Женя была прекрасной портнихой. Они приютили и откормили отца. Но он не жил на их иждивении, зарабатывал сам, и к весне 1945 года мы от отца стали регулярно получать хорошую помощь деньгами, а то и посылками. Весной 1946-го отец наконец-то вернулся домой. Одновременно Заславские возвратились в свой Славянск в Донецкой области. Отцу ещё предстоит, года через три, воспользоваться их гостеприимством, когда, непонятно за что, его будут преследовать в период «борьбы с космополитизмом». Тогда Матвею Ринскому придётся на время уехать из Москвы, хотя в эти годы его болезнь уже примет серьёзный характер. Вернётся он совершенно больным и скончается на моих глазах в больнице у Петровских ворот в декабре 1954 года. Обо всём этом ещё расскажу подробнее ниже.

Тётя Женя и дядя Ушер Заславские были вообще исключительные люди. Потеряв на фронте единственного сына, они гостеприимно каждое лето принимали у себя в Славянске, курортном городке с соляными озёрами, кого-нибудь, а то и нескольких сразу из наших московских семей. А когда безвременно умерла от неизлечимой болезни тётя Лариса Рынская, с которой мы три года провели в эвакуации в Минусинске, Заславские взяли из Житомира в Славянск и усыновили младшего из её сыновей Руфу и оказали большую помощь старшему – Лёне, пока он учился в техникуме и затем служил в военном флоте.

Постепенно возвращались из эвакуации наши родственники, и мы узнали о судьбах их и тех, кто уже не вернётся никогда. Узнали мы, что бабушка Хана, мама отца, вместе с тётей Симой, его сестрой, и двумя пятилетними близнецами, сыновьями Симы Илюшей и Мариком были «цивилизовано» умерщвлены нацистами и полицией в машине – душегубке.



*Матвей Ринский (справа)
с Ушером и Женей
Заславскими*



*Иосиф Заславский. Погиб на
фронте.*

Их выдали местные станичники на Северном Кавказе, куда они были эвакуированы из Кременчуга. В их планах было продолжить путь в Среднюю Азию, но немецкие войска «догнали» их в одной из станиц.

Узнав об этой трагедии из письма, мама прослезится, что с нею случалось нечасто, и уже по этой причине страшная смерть и жестокость фашистов произведут на меня ужасающее впечатление. Вечером, рассказывая Рае, мама несколько раз упомянет наших с сестрой дедов, отца папы Моисея и отца мамы Иосифа, и я впервые услышу о гибели их обоих в погромах в гражданскую войну. Но тогда я до конца не пойму и не осознаю трагедии двух семей, Ринских и Одиных. Почти через десять лет, уже будучи смертельно больным, отец, обычно немногословный, расскажет мне, правда, не так уж много, как мне хотелось бы знать сейчас.

Другая сестра отца, Соня, с семьёй вернулась из Средней Азии на Украину, в Кривой Рог. Сразу же она начала поиски мамы Ханы и сестры Симы, которые писали им в начале войны с Кубани, что намерены приехать к ним в Среднюю

Азию. Муж Сони Соломон специально ездил на Кубань, в ту станицу, откуда мама Хана и Сима отправили последнее письмо. Он нашёл свидетелей садистской расправы нацистов и их приспешников-полицаев над женщинами и маленькими детьми. Ему расскажут, с каким достоинством встретила мученическую смерть патриарх семьи Ринских.

Так и не сбылись надежды на то, что вдруг всё-таки объявится Иосиф Ринский, брат отца, также добровольцем воевавший в ополчении и погибший под Москвой.

Только после Победы приедет из госпиталя инвалидом Иосиф Один, сын Моисея, который, в то время студент, добровольцем ушёл на фронт в конце 1942 года, несмотря на ревматический порок сердца. Всю войну он провоевал пулемётчиком, трижды был ранен. Об Иосифе расскажу более подробно, тем более, что хочется приложить написанные им воспоминания о войне. По окончании школы в 1950 году я, не имея возможности по желанию учиться в медицинском из-за свирепствовавшей кампании «борьбы с космополитизмом», поступлю, по стопам Иосифа, на его факультет «Мосты и тоннели». Но это – через пять лет.

Вернулись с фронта израненными сверстники Раи и в дальнейшем её друзья Лёня Дудиловский, Борис Родионов. Позднее из немецкого плена возвратился и Илья Пустыльников, будущий муж Раи.

*Бабушка Хана Ринская,
патриарх семьи - погибла
в нацистской душегубке
вместе с дочерью и
внуками*



Илья – с 1922 года, ещё до войны он поступил в военное училище, если не ошибаюсь, в городе Калинин, ныне – Тверь. Невысокого роста, но физически сильный, он завоевывал высокие награды на соревнованиях штангистов. Окончив военное училище, Илья воевал на фронте лейтенантом, в 1943 году был тяжело ранен; в плену его вылечили и отправили в Германию, в концлагерь, где заставили работать. "Нейтральная" фамилия Илью спасла. Из лагеря его освободили американцы, он приехал, начал успешно работать, поступил в вечерний институт. Клеймо бывшего военнопленного, к тому же освобождённого американцами, долго ещё будет мешать жить ему и его солагерникам, их будут вызывать и допрашивать. У Ильи будет "алиби" – оторванные пальцы ноги, и, в конце концов, его оставят в покое, мало того – вручат орден Красной звезды.

В конце войны вернулся наш сосед Фридель Хаит, седым и очень постаревшим. Помню, как он раздал нам, детям, свои



Сима Ринская - погибла в
нацистской душегубке

ордена, а у него были и орден Красной звезды, и почётный для солдата орден Славы, и медали. Мама не одобрила его поступок и сказала, что сосед рискует. Не знаю, чем объяснить его настрой. Призванный сначала в истребительный батальон, Фридель потом служил в каком-то спецподразделении и, возможно, повидал то, что повлияло на его отношение к властям, войне и регалиям.

Так и не вернулся муж соседки тёти Жени Крystalь - Аркадий Во-

лович, и отец, чем мог, помогал иногда семье по хозяйству. В материальной помощи семья не нуждалась, но двум мальчикам явно не хватало отца. Мама, возможно по просьбе тёти Жени, часто предлагала мне, как старшему, помочь ребятам с уроками. С Мишей Воловичем мы затем проработали вместе много лет в Моспроект.

Я хорошо помню, как весной 1945-го года, к еврейской пасхе, мама привезла целую пачку мацы, очевидно, присланной из-за границы: упаковка была красивая. Были и ещё какие-то импортные продукты, которые изредка бывали на нашем столе.

К нам приезжали вернувшиеся из Минусинска дядя Саша Красный с тётёй Маней и тётёй Любой Горенштейн – как бывшие американки – коммунистки, они были, кажется, персональными пенсионерками. Их дружба с мамой продолжалась и после возвращения в Москву. Иногда мы ездили к ним на Кузнецкий мост: там, в самом центре Москвы, им дали комнаты в общих квартирах. Девочки-сиротки Тамара и Полина, потерявшие маму в эвакуации, жили у них. Отец девочек, когда вернулся с фронта, взял к себе младшую Полину, а Тамара осталась с бабушками. В 1961 году Тамара переедет к нам, в Перово, и наша совместная жизнь продлится 35 лет.

У Красных – Горенштейн всегда были какие-нибудь продукты в заграничных упаковках, пёстрые книги и вещи, в Союзе ещё в те годы – редкость, вызывавшая в то время подозрение. Наверное, у них оставались какие-то связи с



*Близнецы - дети Симы
- погибли с матерью и
бабушкой в нацистской
душегубке*

США, скрывать которые было им просто бесполезно. Потом я узнал, что они были на волосок от ареста, и их спас, кажется, сам руководитель Компартии США Генри Уинстон. А ведь в своё время, сразу после 1917-го, тётки Маня и Люба Горенштейн приехали строить коммунизм в России, в составе целой большой группы, привёзшей с собой оборудование целой швейной фабрики. У всех были в одежде зашиты подпольные документы принадлежности к Компартии США. И, несмотря на это, они всё время жили под дамокловым мечом ареста.

ПОБЕДА

Кажется, в весенние месяцы всеобщей эйфории люди забыли всё плохое, что было и может быть. Следили за тем, как сжимались сильные руки союзников на горле нацизма. В школе у нас висела большая карта Европы и поменьше – Германии, и старшеклассники каждый день переставляли флажки.

И вот наконец 8 мая взяли Берлин. На следующий день Красная площадь и все прилегающие улицы и площади были запружены народом. Ликование было всеобщим, единодушным, искренним. В тот день, думаю, были забыты все обиды, но не потери близких на войне: со слезами радости смешивались горькие слёзы утрат. На Красной площади – сам видел – качали фронтовиков и утешали плачущих. Все были уверены, что вот теперь-то всё будет по-другому. Вечером был грандиозный салют.

Ещё до Дня Победы через станции Перово и Кусково потянулись воинские эшелоны на восток с демобилизованными, частью – к местам новой дислокации, а многие – в Приморье, где началась подготовка к войне с Японией. В эшелонах ехали вчерашние фронтовики, гордые за себя и за страну, радовавшиеся тому, что остались живы, что скоро



Иосиф Ринский - погиб на фронте под Москвой

увидят своих близких. И хотя специальные распоряжения запрещали им пить, покидать эшелоны, продавать вещи, - ну как тут было не попрощаться как следует с друзьями, а значит нужно было купить водку или самогон, а значит нужны были деньги. И вот в нашем Перове произошёл совершенно дикий случай. Вот только не помню, в каком месяце лета 45-го.

С одного из эшелонов пришли два солдата на наш рынок продать сапоги. Милиция их задержала. «Полундра! Наших фронтовиков – кто? Тыловые крысы!» Всё отделение прибежало к бревенчатому в то время зданию нашей перовской милиции. Но милиция потребовала ответственных на уровне командиров. В самое короткое время тренированные фронтовики во главе с полковником - Героем Советского Союза оцепили милицию и, дав предупредительные выстрелы, предъявили ультиматум – отпустить солдат. Милицейские, получив по телефону приказ – выполнять свои обязанности, ответили отказом. Тогда подвыпивший полковник сам повёл солдат в атаку, открыв стрельбу, якобы в воздух. Милиционеры, среди которых тоже были фронтовики, ответили огнём, как утверждали потом, выше голов. Но первыми же пулями, неожиданно для всех, был сражён именно герой – полковник. После этого фронтовики одним броском ворвались в здание и расправились и с милиционерами, и со зданием, и только когда начался пожар, ретировались, унося тело Героя. По счастью, пожар быстро потушили, главное – остались целы сейфы.

Я могу ошибаться в деталях, но штурм здания милиции и смерть полковника-героя точно были. Об этом разговоры шли у нас в Перове несколько месяцев. Вскоре было построено новое, кирпичное здание милиции.

А через полтора месяца после Дня Победы был Парад Победы. На парад нам, конечно, попасть было невозможно, но мы с ребятами ездили смотреть подготовку к параду. Мощная техника, сто раз виденная нами в Перове на платформах поездов, здесь, грохочущая, сочно окрашенная и отмытая, воспринималась совсем по-другому, и мы сами чувствовали себя победителями. Чеканный шаг офицеров академий, солдат и особенно моряков вызывал восторг. Десятки тысяч

людей приезжали посмотреть на репетиции и выстраивались вдоль улицы Горького. На радостях мы вскладчину покупали один брикет молочного мороженого в вафлях на восьмерых - его продавец-потошник резал нам аккуратно и точно острым ножом.

Когда вскоре вышел на экраны фильм о параде, мы смотрели его снова и снова.



Военный плакат

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕСТИ

*Я многие годы забыл навсегда,
Гораздо более близкие:
Выветрились, - и не сыщешь следа,
В памяти сколько ни рыская.*

*Было, конечно, по-своему трудно,
Но после суровых военных лет
Наши послевоенные будни
Воспринимались цепью побед.*

*Зато запомнилась вся война
Суровой порою грозной:
Мы были мальчишками, но и нам
Всё было очень серьёзно.*

*Все те, кто тогда ещё не подросток,
Мальчишкой пройдя сквозь беды, -
Мы помним, как трудно оно далось,
Крылатое слово: «Победа».*

*Я помню, как шагом мерным глухим
По городу шли колонны,
И как грохотали по рельсам стальным
Тяжёлые эшелоны.*

*Я помню – отца целовала мать,
Повиснув на серой шинели.
Как мало ему мы успели сказать,
Как долго об этом жалели.*

*Я помню чёрную мрачность штор
И сырость бомбоубежищ,
И азростатов ночной дозор,
И запах краяхи свежей.*

*Я помню, как чувство тревоги росло:
Враг рвался к столице упрямо;
Как ждали сводок Информбюро,
Как главного самого.*

*Мы ждали от наших отцов побед,
А их поначалу не было.
Но как же так? Неужто... Нет!
Мы верили! Верили!*

*Мы твёрдо знали: им не пройти!
Победа будет за нами!
Мы знали: у врага на пути
Красная армия. Знали!*

*Я помню, как крематориев гарь
Рождала в нас гнев и горечь;
Как радовал каждый новый удар
По морде фашистской сволочи.*

*И мы, - мальчишки, девчонки, дети –
Старались быть как отцы, точь-в-точь,*

*Готовы были на всё на свете,
Чтоб только фронту помочь.*

*Учились писать – и гранаты бросать,
И метко стрелять в мишени;
Учились считать – и учились копать
Окопы и траншеи.*

*И каждый умел разобрать автомат,
Знал тяжесть солдатской каски,
И если не был ещё солдат,
То вёл себя по-солдатски.*

*И пусть моё детство сгорело дотла
В горячих военных бедах –
Победа отцов над нацизмом была
И нашей всеобщей победой.*

*И мы каждый год поднимаем тост
За то, чтоб такого не было.
Мы требуем помнить войну, Холокост,
Мы памяти мира требуем.*

Так заканчивается моя повесть «Война глазами мальчишки», частью опубликованная в 2000-х годах в нескольких газетах Израиля и полностью – в газете «Вести» (приложении «Ветеран и воин»), подряд в еженедельных номерах, с ноября 2010 по март 2011 года.

ЧАСТЬ 3

ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1945 – 1960)



ШЛЕЙФ ВОЙНЫ

Итак, с Гитлером покончили. Но ещё добивали Японию, хотя после разгрома гитлеровской военной машины и после атомных бомбардировок американцами Хиросимы и Нагасаки освобождение Советской армией Маньчжурии было для неё «делом техники». Конечно, и здесь были и свои трудности, и немалые жертвы. Но был огромный боевой опыт войны и превосходство в технике. Прорыв мощной обороны японцев, что называется, «в лоб и в хвост» с запада и с востока сочетались с одновременными операциями с севера, десантами Тихоокеанского флота на Сахалине, в Северной Корее, на Курильских островах...

Мне приходилось писать и об этой войне, к примеру - об участнике войны на германском и японском фронтах Давиде Костинбое, который рассказывал о том, как на трассах спускали танки, чтобы преодолеть Большой Хинганский хребет и нанести удар японцам там, где они меньше всего ожидали. Виктор Выголко, муж моей двоюродной сестры Клары Одиной, в своей книге «От востока до востока» рассказывает о высадке в середине августа 1945 года морского десанта Тихоокеанского флота, участником которого он был, в северокорейском городе Расин. Тогда их десант численностью 2,5 тысячи человек с ходу захватил японскую военно-морскую базу в порту этого города. Японцы вначале яростно сопротивлялись, однако когда морские пехотинцы захватили плацдарм на берегу, начали сдаваться в плен. В течение августа 1945 года война с Японией была практически закончена, и 2 сентября был подписан акт о её безоговорочной капитуляции. Бесспорно, что важную роль в приближении окончания этой войны сыграла атомная бомбардировка США японских городов Хиросимы и Нагасаки.

В книге «Китайские» евреи», составленной из очерков об евреях Китая, в основном Харбина, переживших японскую оккупацию, я писал, на основе их устных рассказов, о героическом противостоянии еврейской общины и японским властям, и белогвардейским эмигрантским антисемитским

организациям. Писал о зверствах японцев по отношению к китайцам и советским гражданам. Писал и о том, что после освобождения Маньчжурии советские органы арестовали и отправили в свои концлагеря и тюрьмы, наряду с белогвардейцами, руководителей еврейской общины Харбина. Но писал через шесть десятилетий после тех событий.

А в 1945-м и в послевоенные годы всё это происходило так далеко от нас и после главной войны казалось таким второстепенным, что знали мы обо всём этом сравнительно мало. И всё-таки здесь нельзя не написать, пусть кратко, о событиях на Дальнем Востоке, хотя бы из исторической справедливости. Потому что у сотен тысяч советских солдат, участвовавших в японском финале Второй мировой, многие из которых так и не вернулись домой, были и свои семьи. Поэтому что те события круто изменили историю великого Китая. Изменили, а в скором времени, в 1950-х годах, и завершили историю еврейской диаспоры Китая: все «китайские» евреи тогда эмигрировали в молодой Израиль, в Америку и другие страны. Об этом – тоже в упомянутой книге автора «Китайские» евреи».

Начался постепенный переход страны к мирной жизни. Отменили карточки, но лучше бы не отменяли, а нормально их «отоваривали», как тогда говорили. Чтобы купить самое необходимое, приходилось ходить по немногочисленным магазинам: в одном «давали» масло, в другом – колбасу, в третьем – гречку или рис. И везде – очереди. Хозяйки узнавали одна от другой, где что «дают», и бежали занимать очередь себе и соседкам.

Работавшие в горкомах, исполкомах, банках, больницах и в других госучреждениях получали продовольственные «заказы», в зависимости от значимости учреждения и от ранга – разного качества и содержания, по нисходящей. На заводах и фабриках «продзаказами» более-менее обеспечивалась в основном «оборонка». Многие крупные, а часто и мелкие предприятия – во многом зависело от личных качеств их хозяйственников – напрямую заключали договоры, часто негласные, с колхозами и совхозами и «по бартеру» (тогда ещё

это слово не употребляли), делясь продукцией или выполняя заказы, «подкармливали» своих рабочих и сотрудников. Многие предприятия ещё в дни войны создали свои подсобные хозяйства и продолжали выращивать картофель и овощи, откармливать свиней или что-либо делать другое, используя труд своих же сотрудников. Но, конечно, подобные хозяйства могли лишь подкормить, а не прокормить. Как и личные огороды во дворах и на участках, выделенных предприятиям для своих сотрудников.

Весной и летом почти каждое предприятие и учреждение обязано было отправлять, по разнарядке горкома, какое-то количество сотрудников на сев, прополку, заготовку кормов, а осенью – на сбор урожая. Посылали и школьников старших классов, а в дни летних каникул – и старшие группы пионерских лагерей. В общем, в вопросе обеспечения продовольствием страна едва сводила концы с концами.

Не менее острой была проблема жилья. Миллионы демобилизованных из армии и возвращающихся из эвакуации в освобождённые от оккупантов республики и области не могли быть обеспечены крышей над головой из-за разрухи, причинённой войной – на её ликвидацию потребуются десятилетия. А в Москве, Ленинграде, крупных городах всего Союза одной из главных причин был бурный рост их населения. Не только за счёт оставшихся без крова и искавших в городах пристанища и работы, но и продолжавшегося быстрого развития их промышленности: ещё не восстановив разрушенные, страна строила новые предприятия, прежде всего оборонные, в тяжёлом соревновании со вчерашними союзниками за гегемонию в послевоенном мире. Как и во все века, главным аргументом в нём была сила, а теперь ещё и новый фактор – атомное оружие и средства его доставки. Сталин спешил добиться паритета любой ценой, так что конец войны не принёс благополучия народу.

МЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1945-47 годы)

В нашей семье началась послевоенная жизнь. Вернулся отец, постаревший, исхудавший, какой-то немногословный, задумчивый, но с тем же своим юмором, вот только пели они с мамой гораздо реже. Я тогда ещё не знал о подтачивавшей его болезни, и до событий 1948 года оставалось ещё три года. Мама продолжала работать надомницей, только теперь шила не армейское бельё, а халаты или ещё что-то. Годы были трудные, не было достатка, но эти три года были единственными из школьных лет, ничем вроде бы, по большому счёту, не омрачёнными. Нет, пожалуй, всё-таки тем, что всё время ходил в одной и той же курточке, а когда она продырявилась окончательно - в скромном лыжном костюме с начёсом, в то время как почти у всех ребят в классе было что-нибудь одеть на смену к празднику. Но я понимал, что отец ещё «не нарабатал», да и была старшая сестра-студентка «на выданье», и без того настрадавшаяся и проявившая редкую стойкость в годы войны.

Осенью 1945-го я пошёл в шестой класс и через два года окончил, как тогда квалифицировали, неполную среднюю школу – семь классов в своей школе-десятилетке. Учился средненько, используя потенциал, почерпнутый в прежние годы из учебников старшей сестры Раи. Но с алгеброй, физикой, химией этого было недостаточно, а так как заниматься системно, вдумчиво мне все предыдущие годы было ни к чему, то и навыка таких занятий не было, и усидчивости тоже. Я начал съезжать с «круглого»



Миша Ринский в 1946 году

на «середняка». Тем более что родители ограничивали контроль моей учёбы только присутствием на родительских собраниях.

Старшая сестра Рая, вернувшаяся в годы войны в Москву со своим пищевым институтом, в который поступила ещё в Сибири, добилась перевода в 1-й Московский медицинский институт. Ей, естественно, пришлось сдавать дополнительно ряд экзаменов. Но приняли её лишь на санитарно-гигиенический факультет - «Сангиг». Здесь студентам преподавали практически всё то, что и на лечебных факультетах, так что я в свободное время, вместо того чтобы решать задачки по математике, с интересом знакомился с её учебниками, прежде всего по анатомии и физиологии человека и всяческим болезням.

У Раи были весёлые подруги, а со временем – и друзья. С подругами, попеременно с зубрёжкой (в медицинском без этого нельзя), они пели студенческие и фривольные, по тем временам, песни. Из студенческих запомнилась, к примеру:

*С похмелья как-то в древности глубокой
Придумал медицину Гиппократ,
Чтоб в институте мучили жестоко
Нас полдесятилетия подряд...*

А из фривольных:

*Жили-были два кутилы,
Дзынь-дзынь-дзынь, -
Они на рыло некрасивы,
Дзынь-дзынь-дзынь.
Если нравимся мы вам,
Дралафу – дравая,
Приходите в гости к нам,
Да-да-да!*

*Мы вам фокусы покажем,
Дзынь-дзынь-дзынь,
Без штанов на печку ляжем,
Дзынь-дзынь-дзынь...*

И дальше – в том же духе...

Сейчас любой скажет: «- Ну и что?» А тогда для меня, пионера, а с 14 лет комсомольца, это было: «Во, дают!».

Мне обе песенки запомнились скорее всего из-за лихих мелодий: всегда почему-то прежде всего мне мотив запоминается, и лишь потом – текст. Когда я поделился почерпнутым у старших репертуаром со своими школьными и уличными друзьями, те, с восторгом приняв, задали ряд вопросов, к примеру: почему «на печку?». В ближнем Подмоскovie русские печи с широкими лежанками были редки. Почему «ляжем» - мы к тому времени уже если не постигли, то знали.

Но всё подобное пелось в тесном кругу, при огласке грозила проработка на комсомольском собрании, а то и исключение из комсомола. Тем более - осмотрительно рассказывали анекдоты, за которые запросто можно было « вылететь» из института, а то и «схлопотать срок», и немалый. Но народная мудрость всё равно рожала всё новые меткие шедевры.

Я уже где-то писал про чисто наш, перовский, хлёсткий и опасный анекдот. В палисаднике перед горисполкомом города Перово на Пролетарской улице стояли лицом друг к другу фигуры Ленина и Сталина в полный рост, в традиционных для них позах: Ленин – в призывном порыве, с протянутой вперёд рукой, как на памятнике у Финляндского вокзала в Ленинграде. Сталин – с опущенной вниз, но выдвинутой вперёд рукой ладонью вверх, как бы олицетворяя рассудительную мудрость и уверенность. Проходя мимо, люди улыбались и, подтал-



*Рая Ринская (в центре)
- студентка*

кивая плечом спутника, тихо говорили:

- Ленин: «Всем!» Сталин: «Мне!».

Можно себе представить, какая кара грозила распространителю таких анекдотов.

В те послевоенные годы студенческие песни ещё не владели массами, бардовские вроде бы ещё не родились, по крайней мере я, в то время подросток, не припомню, да и термина такого, кажется, ещё не знал. Блатные типа магаданских к бардовским не отношу. Народ любил репертуар Бернеса, Петра Лещенко, Шульженко и привезённое с фронта. Высоцкие и Розенбаумы ещё не подросли, и слава Богу, потому что в те годы их скосили бы на корню.

Нам, певшим в школьном хоре и ещё в той его «элитной» части, которая входила в сводный хор под руководством Семёна Осиповича Дунаевского, родного брата великого Исаака Осиповича, доводилось разучивать и русскую классику, например, «Девицы-красавицы...», и традиционные «Амурские волны», и военный репертуар, и прекрасные детские песни. Само собой, пели и величальные партии и вождю. Последние составляли лишь положенную часть репертуара, ну может быть пятую часть. Сейчас новоявленные историки навязывают потомкам, что нашим поколениям только и вбивали совково-партийный патриотизм. Не будучи никогда коммунистом, обращаю внимание ради справедливости, что – да, ещё как вбивали, но нас ещё и учили настоящей культуре.

В то же время было и замалчивание «крамольных» русских и советских авторов, а с 1948 года, а может быть и раньше – ограничение в программах западной классики. В общем-то, где их нет, этих замалчиваний, а то и охаиваний? В одной стране или в одних кругах – по причинам политическим, в других – по национальным и разным другим. Но одно дело – борьба на экранах, в эфире и в прессе, и совсем другое – расправы, застенки, убийства... К этому мы ещё вернёмся, к тем годам и я стану старше, и жизнь меня многому научит... А пока все эти постановления партии и правительства, типа «О журналах «Звезда» и «Ленинград», меня мало трогали.

Кроме хора, ещё увлекался танцами, был и такой у нас

кружок, я был ещё пока в младшей группе. В то время доминировали вальс, фокстрот, танго, но осваивали и вальс-бостон, и мазурку. Мы ещё были маловаты, но танцы тогда были в моде у молодёжи как место для знакомств: отдельные квартиры были лишь у немногих, клубов – не так много. Трудно было найти крупный парк, где бы не было танцевальных площадок с доступными ценами. Устраивались танцевальные вечера и со скромным оркестром, и с аккордеонистом или баянистом, и под радиолу. Кружки балльных танцев действовали в каждом клубе, каждой школе. Спортивные кружки я тогда ещё не посещал: самый младший и один из самых маленьких ростом в классе, я в те годы не верил в свои физические способности и боялся насмешек.

Что бы там ни говорили, многочисленные кружки играли неоценимую роль, прививая культуру, дисциплину, одновременно – занимая свободное время детей, родители которых тяжело работали в те годы минимум восемь часов шесть дней в неделю, а потом вынуждены были ещё добывать и готовить пищу, топить печи, стирать вручную... Даже холодильники были тогда ещё далеко не у всех. Не могу вспомнить, когда у нас появился скромный, уже не новый маленький холодильник, кажется, марки «Саратов».

Летом для каждого школьника были доступны бесплатные пионерлагеря, в которые родители отправляли детей – и меня тоже – на одну, а то и на две смены. Почти каждое лето до или после пионерлагерей ездил с мамой, а постарше и один в Славянск, к тётке Жене и дяде Ушеру Заславским. Зимой – лыжи, коньки. Лыжи у меня, как и у большинства мальчишек в те годы, были простые деревянные, с ремёнными креплениями к валенкам: лыжные ботинки доступны были не каждому. Коньки также крепили к валенкам верёвками, закручиваемыми простыми палками. У меня были простые «снегурки», а беговые «норвеги» и хоккейные «канады» были недоступными предметами роскоши даже без ботинок. Лишь позднее появились лыжные базы и платные катки, где лыжи и коньки с ботинками стали давать напрокат.

Моими друзьями были: в классе – Ледик Сычёв, Юра



*Миша Ринский (в центре) с
друзьями Мишей Воловичем
и Озей Гиндичем*

Елютин, Вова Яковлев, а из соседских ребят – Миша Волович, Озя Гиндич. Отличные ребята, не могу не упомянуть.

Вот такими скромными интересами и радостями мы жили в первые послевоенные годы. Конечно, ходили в кино, изредка школьные учителя при поддержке родителей возили нас всем классом в театры или клубы на детские спектакли. В

классе, до седьмого включительно, нас было человек тридцать, многие ребята – отставшие за годы войны по тем или иным семейным обстоятельствам, по уровню и образования, и развития. У многих вообще не было, чувствовалось, родительского глаза. Случалось в классе мелкое воровство, хулиганство по отношению к учителям. А наши педагоги и сами-то на свою нищенскую зарплату еле сводили концы с концами. Вряд ли кто из них мог где-нибудь подработать, нравы тогда ещё не позволяли и думать о взятках, репетиторство было редким явлением, тем более – в шестом-седьмом классах.

В СТАРШИХ КЛАССАХ (1947-50 ГОДЫ)

1 сентября 1947 года я, придя на занятия уже в восьмой класс нашей 1-й Перовской городской мужской школы, оказался в непривычной обстановке: в классе было всего человек двадцать. Причём в нашу школу собрали ребят практически с половины города Перово, от района Новогиреево до района Плющево. Объяснялось это несколькими основными

причинами. Во-первых, вообще рождаемость в 1932-34 годах была крайне низкой из-за голодных лет по причине сильной засухи. Во-вторых, в тяжёлые послевоенные годы в старшие классы отправляли своих детей далеко не все родители.

Было много техникумов, училищ, школ фабрично-заводского обучения (ФЗО), где сын или дочь в срок от двух до четырёх лет приобретали специальность и могли начинать самостоятельную жизнь или быть помощниками в семье. Да и в училище или техникуме была пусть небольшая, но стипендия, которую давали часто независимо от успеваемости. Часто были и общежития, а то и интернаты с питанием. Для многих родителей это был выход. Тем более – для матерей, у которых муж погиб на фронте или пропал без вести.

Причём не закрывались двери для дальнейшей учёбы: окончившие техникумы получали аттестат, соответствующий среднему школьному образованию, и с ним могли поступать в ВУЗы, в том числе вечерние и заочные. Аттестат можно было получить и в вечерней школе, где требования, да и подготовка были несравненно ниже, чем в дневной. Как и в заочных и вечерних ВУЗах по сравнению с очными. Причём продолжающим учёбу полагались дополнительные отпуска на сдачу экзаменов.

Отправляя же чадо в старшие классы, родители отдавали себе отчёт, что ещё восемь лет, до окончания ВУЗа, им его предстоит обеспечивать «от» и «до», в том числе прилично одеть студента, покупать ему всё необходимое, от учебников



Юра Елютин, школьный друг

до билетов в театры, а может быть и не ему одному: ну как студенту без любви, да к тому же и в те годы были ранние браки и ранние дети, хотя и не так само собой, как сейчас. Будет ли сын или дочь получать стипендию – неизвестно, в любом случае она – капля в море.

Да и далеко не все родители стремились дать детям высшее образование. Но в еврейских семьях это стремление было, и объяснялось оно тем, что как раз поколение родителей тех лет в большинстве хорошо помнило, что такое черта оседлости, дискриминация евреев в местах проживания, в специальностях, а еврейских детей - в получении образования,

Скорее всего по этим причинам так мало было учеников в нашем единственном в школе восьмом классе, В течение трёх лет кто-то наш класс покидал, были и «новенькие» - это объяснялось прежде всего переездами семей в связи с работой или службой родителей, например – военных.



Миша Ринский после войны

«Отсеивались» и из-за неуспеваемости: в годы войны и первые послевоенные далеко не все дети на периферии получали должную подготовку, а табели и справки об окончании семи классов получить было несложно: школам надо было в отчётах обеспечивать высокий процент успеваемости. Как, впрочем, везде и во все времена.

В результате, к десятому классу у нас оставалось восемнадцать выпускников. Класс наш был в целом неплохой, лишь единицы отставали, но зато были мощные «головные», которые тянули весь класс так, что семь или восемь человек получили золотые и серебряные медали – процент и высокий, и крайне редкий. Очевидно, слишком мало было в те годы выпускников школ, а план по медалям тоже был снижен.

Примерно половину в классе составляли евреи. Быть может, их было и больше – как-то не принято было выяснять друг у друга, а в школьных журналах – слава Богу хотя бы здесь – «пятый пункт» указывался где-то там, куда нам, ученикам, доступа не было. Целая дружная компания ребят влилась к нам из школы в Плющево, причём из них, кажется, только Вова Панин был «русак», а остальные – еврейские



*Друзья Борис и Самуил
Блох*

ребята, причём почти все – жильцы одного дома. Об этих ребятах стоит рассказать подробнее: с этой компанией в дружбе и тесном контакте я был многие годы, а с одним из них и по сей день.

Борис Блох и его брат Самуил – двойня у родителей, но в жизни совсем разные и по физическим данным, и по характеру. Борис – высокий, широкий, даже немного грузный для своих лет, красивый, с копной густых чёрных волос, энергичный и напористый во всём. В учёбе он – круглый отличник, вот только не знаю, что у него было по физкультуре: подтянуться с его ве-

сом было нелегко, но он и здесь старался и добивался. Он и общественник был активный. Не важно, какие комсомольские посты Боря занимал – он и вне зависимости от них был душой и гордостью класса. Борис был непременным участником, а часто инициатором и организатором различных «мероприятий», особенно праздничных и литературных, не только в классе, но и в школе.

В отличие и даже в чём-то в противоположность Борису Самуил Блох в восьмом классе был ещё скромным, среднего роста худощавым пареньком. Казалось, тем более в тени своего брата, он избрал своим девизом: «Не высовываться». Наверное, так же в то время выглядел и я, тем более что был я на год моложе любого в классе. Самуил – все мы его тог-

да звали Мулей, как принято было в их семье – не слишком утруждал себя домашними занятиями, предпочитая нередко списывать у брата. Бывало, что списывал у меня, а я - у него. В школьной общественной жизни участвовал «постольку-по-скольку». Из всех видов спорта предпочитал волейбол, причём у него это неплохо получалось не за счёт силы гаса, а за счёт аккуратности при приёме и пасовке мяча. Ещё неплохо играл в пинг-понг. И по сей день любит шахматы, а ныне «грешит» и преферансом, теперь уже и в интернете.

Жили они в двухэтажном кооперативном доме у железнодорожной станции Плющево. У братьев Блох были отличные родители, радушные и мудрые: Арон Семёнович и Мария Исаковна. Они гостеприимно принимали многочисленных друзей и товарищей Бориса и Самуила, хотя и квартирка у них была не из просторных, и жили они, в общем, в достатке, но скромно. Мария Исаковна была умным, очень внимательным к людям, отзывчивым человеком. Когда преследовали моего отца, она не раз, бывая в центре Перова, например в нашей школе, с которой мы жили рядом, заходила к моей



Арон Семёнович и Мария Исаковна Блох



Борис Блох - студент

маме. Ей, одной из немногих, мама доверяла наши семейные невзгоды.

Золотой медалист Борис Блох поступит в Институт химического машиностроения – МИХМ и будет успешно, с именной стипендией, учиться на втором курсе, когда трагически оборвёт жизнь этого талантливого молодого человека совершенно нелепая смерть от рук, точнее от ножа молоденьких подростков-хулиганов... Похороны Бориса на Немецком кладбище Москвы, на которые съехались десятки скорбящих и возму-

щённых людей, в том числе студентов МИХМа, у меня перед глазами по сей день...

Самуил Блох по окончании школы поступил в Институт народного хозяйства имени Плеханова. Трагедия брата буквально перевернула сознание и жизнь Самуила. Со второго курса и до конца учёбы он – круглый отличник в институте. Здесь он знакомится и соединяет жизнь с сокурсницей Тамарой Ницкиной. Далее у них – много лет, по сей день и дай Бог –ещё лет на сорок - совместной жизни и успешной работы, двое детей. С начала 1990-х годов они с семьёй сына Бориса – в Тель-Авиве, дочь Ирина с семьёй – в канадском Монреале. Я благодарен этой семье за многое. Так, когда я был далеко от Москвы, а моя мама оказалась в больнице, именно они навещали её. Можно ещё многое хорошее вспомнить.

Непосредственно под квартирой семьи Блох, на первом этаже, жил ещё один наш соученик Гарик Мордухович. Жил он вдвоём с мамой и, как мне казалось, очень скромно. Мы с Гариком какое-то время сидели за одной партой, но, в отличие от братьев Блох, с ним у меня доверительные отношения

не складывались ни в те годы, ни в последующие, возможно, из-за разных жизненных принципов. Григорий Мордухович окончит Станко-инструментальный институт (Станкин), со временем станет главным инженером крупного завода, в дни «перестройки» создаст собственную фирму. Но уже пенсионером уедет в Германию и там скончается. Его жена и сын живут и поныне в бывшем «логове нацизма»... Что ж, «каждому – своё»...

Зато ещё один наш «плющевский», Миша Гальперин, был отличным парнем, как говорят – «душа на распашку». Красивый, спортивный, компанейский, он имел только два недостатка: логопедический – мы его поэтому с добрым юмором звали «Гапеин». И ещё – он был правдолюб, вступал в дебаты, любил «права качать» и порой даже обижался. Поэтому часто в разговоре с ним я старался скорей согласиться или перевести тему. Учился тоже средне, любил и давал списывать. Получив школьный аттестат, Миша поступил в Станкин,



Восьмой класс. 1948 год

но из-за какого-то конфликта угодил в солдаты, затем всё-таки окончит институт и много лет проработает в Гипрометзе, проектируя металлургические заводы. Сын его, как говорят - способный программист – лично я с ним не знаком, - ныне в Израиле, у него многодетная семья. Но дед не дожил, умер ещё в Союзе...

Вова Панин был одним из трёх «гигантов» нашего класса, в смысле роста. Жил он неподалеку от дома Блохов в одноэтажном домике. Хорошо учился и вообще был отличным парнем, никогда, насколько помню, не уклонявшимся от просьб и участия в жизни класса. Мы будем уже студентами, когда мне придётся играть роль парламентария во взаимоотношениях Володи и моей соседки Раи Ерохиной перед соединением их судеб.

Двумя другими «гигантами» нашего класса были Борис Блох и Валентин Кутасов. Валя, как мне кажется, был чуть постарше ребят (меня-то уж точно). Высокий, в очках. в сером пиджачке, за три года учёбы ставшем ему не по росту, увлекавшийся уже тогда науками, он, окончив школу с медалью, вроде бы этим наукам себя и посвятил. Очень сожалею, что не знаю подробностей его дальнейшей жизни, обещавшей быть интересной и плодотворной.

Ещё одна личность в нашем классе – Вячеслав Гаврилин, тоже ещё со школьной скамьи энергичный, целеустремлённый, отличный разносторонний спортсмен. Успешно освоив в институте журналистику, Слава в короткий срок стал одним из ведущих спортивных обозревателей Союза, возглавлял отделы спорта газеты «Красная звезда», затем, кажется, «Советского спорта». В период Олимпиады-80 был первым заместителем председателя Комитета по физкультуре и спорту СССР. Не знаю причину, но вскоре он почему-то стал редко печататься, а затем и вообще выпал из поля зрения, по крайней мере моего.

Моим близким товарищем в классе был Юрий Елютин, отличный друг, культурный и порядочный. Он, как и Слава, целеустремлённо готовил себя к журналистской работе. Сын рабочего, всего достигавший без чьей-либо помощи, Юра по-



Михаил Ринский. Начало 1950-х годов

ступил в соответствующий институт, если не изменяет память, со второго захода. По окончании института так же, как и Слава, в короткий срок стал международным обозревателем, печатавшим большие и серьёзные статьи в ведущих журналах. Когда мы с Юрой общались в последний раз, он говорил, что предстоит серьёзная и длительная командировка, а может быть и работа за границей. Далее у нас связь прервалась.

Пожалуй, не стоит перечислять весь класс, скажем только, что мне неизвестно ни об одном из выпускников нашего класса что-либо не-

достойное. Не приходит на память и ни одного серьёзного конфликта в классе, в том числе на национальной почве. И это несмотря на то, что именно в период нашей учёбы, в 1948 году, было провозглашено Государство Израиль, которое с первых же дней вело отчаянную борьбу за своё существование. И именно вслед за образованием еврейского государства началась отчаянная кампания борьбы с «безродными космополитами». Не могу припомнить и обид в этом отношении со стороны наших преподавателей. Хотя, конечно, и у нас проводились собрания и осуждались «неверные». От этого некуда было деться, иначе – не избежать жизненных осложнений: всем, тем более преподавателям, был памятен 1937-39 годы. И только демагоги могут сейчас бить себя в грудь и осуждать участников собраний, «положенных» в таких случаях: попробуй не проводи. Но скорей всего сказанное там не выходило за рамки - всё-таки у нас были вполне приличные



Десятый класс. 1950 год

преподаватели. Им удалось выстоять эту кампанию так, что ни одного преподавателя вроде бы не сменили и не отправили куда-нибудь.

Больше всех мы тогда переживали за нашу Полину Абрамовну Трасковскую. Во-первых, эта уже очень пожилая, маленькая скромная еврейка учила нас русскому языку и литературе, далеко выходя за жёсткие рамки программы. В соответствии с направленностью кампании, могла без всяких объяснений быть уволенной по меньшей мере на пенсию, не говоря уже о худшем. Для этого у любого директора были все основания, мог и попросту «сообщить» любой. Достаточно было войти в её тесную комнатку и оглядеть стеллажи книг, полностью «оккупировавшие» все четыре стены её обители, а на стеллажах прочесть фамилии всех в то время запрещённых или не входивших в программы: редкие издания Северянина и Гумилёва, Ахматовой и Цветаевой, не говоря уже о западных авторах.

Но, к нашему счастью, ни среди учителей школы, ни в нашем классе, надеюсь, подонков не оказалось. А ведь вполне могло всякое быть, потому что раз в неделю смелая Полина

Абрамовна приглашала нас, человек восемь, проявлявших интерес к литературе, её шедеврам и судьбам, в своё бесценное жилище-хранилище в вечерние часы. Мы не только слушали её рассказы и знакомились с не включёнными в программу Шекспиром, Гёте и другими великими, но и читали свои опусы, в большинстве наивные и робкие. Чем не тайный кружок – просто находка для «сексота» - секретного сотрудника, злопыхателя или просто карьериста, желающего выслужиться. Так что риск был немалый и для Полины Абрамовны, и для нас.

Я в то время, как, думаю, и другие ребята, «не ведал, что творил». В ноябре 1948 года вышла замуж старшая сестра, весной 1949 года она оканчивала мединститут. Но раньше, в начале той весны, был арестован отец. По счастью, его, скорее всего временно, выпустили, и он, во избежание нового ареста, уехал из Москвы. Никто, кроме самых близких, об этом не знал. Попади я в разряд членов запрещённого кружка «безродных космополитов», я не только мог пострадать сам, но и подставить отца, которому могли бы присовокупить лишнюю политическую статью, а может быть - подвести и сестру. Время-то какое было... О злоключениях отца я ещё поведаю в следующих главах. Как и о замужестве и дальнейшей жизни Раи. Раз уж эти важные события в семье случились по времени в самой середине моих старших классов школы, позволю себе довести свой рассказ о школе если не до конца, то до логичного перерыва.

Я вспоминаю Полину Абрамовну Трасковскую самыми добрыми словами: она привила нам не просто любовь к литературе, но научила нас глубоко вникать, работать с книгой и словом. Уже в десятом классе я, по памяти, вроде бы не написал ни одной домашней работы, не познакомившись с первоисточниками и критикой не где-нибудь, а в читальных залах Ленинки и библиотеки Исторического музея. Тогда они, несмотря на тяжёлые для страны годы, были доступны для школьников: в Историческом совершенно свободно, а в Ленинку, кажется, требовалась от школы то ли просьба, то ли справка. И совершенно бесплатно. Думаю, не будь у нас тог-

да Полины Абрамовны, научившей не только работать с первоисточниками, постигать прочитанное, но и излагать, вряд ли я сейчас писал бы эти строки.

В нашем школьном обучении тех лет немало было интересных парадоксов. В том числе и приятных. Именно в эти трудные для страны годы нас всем классом из подмосковного Перова возили каждую неделю в Московский планетарий на уроки астрономии. Мэр Лужков через полвека лет двадцать реконструировал планетарий, и целые поколения московских ребят были лишены подлинных знаний без этого грандиозного наглядного пособия.

Интересно, возят ли сейчас московских школьников, а тем более из области, еженедельно и бесплатно на уроки астрономии? А в те годы не только сохранили в годы войны планетарий, но в то время как в Москве везде, где можно, экономили электричество, когда лампочку нельзя было «достать», - десятки тысяч лампочек, имитирующих звёздное небо, «работали» на нас, школьников, и на этом не экономили. Так же как и на бесплатном проезде тысяч ребят на уроки астрономии. Любой может возразить: зато экономили на зарплатах и пенсиях, - и будет трижды прав. Были вот такие парадоксы...

Я ещё многое мог бы рассказать о хорошем и не очень в московской средней школе конца 1940-х годов. Ограниченный рамками главы, лишь поблагодарю своих педагогов, которые были у нас довольно строги в оценках, но именно поэтому наш уровень подготовки был выше, чем во многих школах. Это помогло мне, троечнику по алгебре и по химии, сдать на пятёрки эти предметы при поступлении в институт и пройти по высокому конкурсу – четыре человека на место.



Манечка Беленькая
- школьница

Конечно, мы не только учились, но и проводили время, каждый по интересам и возможностям и вместе. Что такое дружба, влечение, тем более любовь? У каждого они – свои и внутренне, и внешне, в зависимости от характеров, принципов, условий, обстоятельств. Постоянная нужда и семейная тайна в течение всех моих юных и студенческих лет заставляли меня ограничивать свою дружбу со сверстниками, тем более – с девушками. Но об одной не могу не рассказать.

Неподалеку от нашей мужской была 2-я железнодорожная женская школа-десятилетка. Старшие классы ходили на вечера друг к другу. Складывались совместные компашки. Сложилась она и у нас, с главной базой – квартирой Бориса и Самуила Блохов, в неё входили как и их соседки по Плющево – Фаня, Мина, - так и девушки из 2-й школы – Белла, Маня. Среди последних была одной из самых весёлых в компании Манечка Беленькая. Мы с ней испытывали друг к другу взаимное влечение, по крайней мере я – уж точно. Со временем к этому добавилась и общность судеб: мой отец был «под прицелом», а у Манечки, как мне казалось, отец вообще в это время был не на свободе, а, как она говорила, «на севере», в то время как мама – в Баку.

Манечка снимала маленькую узкую комнатку, в которой размещались лишь печурка, кровать, столик и этажерка. Ей, как и мне, было тоже очень нелегко, потому что зимой в комнатке часто бывало холодно до инея в углах. Я нередко заставлял Манечку в кровати в одежде под двумя одеялами. Она порой дрожала от холода, худенькая, возможно и полуголодная – никогда не жаловалась – и беззащитная. Тогда я ложился рядом, и мы пытались согреть друг друга, ни о чём другом стараясь не помышлять – так нас учили, да и наше положение – мы понимали – не позволяло. Брали в руки учебник или книгу и пытались не вспоминать о еде. Часто я



Манечка
Беленькая
- студентка

всё же приносил Манечке что-нибудь из маминого - они обе симпатизировали друг другу.

Наши встречи стали редкими, а со временем прекратились, когда я поступил в институт, а Манечка – в училище аэрофотосъёмки. За ней стал усиленно ухаживать студент Изя Потиха – он закончил нашу школу раньше. Когда Маня через три года, по окончании училища, уехала по распределению на Кавказ, Изя добился её возвращения в Москву, и состоялась их свадьба. Но мы остались друзьями и изредка обменивались семейными визитами.

Наши дружеские контакты возобновились и стали частыми в Израиле, где к 1996 году Манечка была уже старожилком, а я – новым репатриантом. У каждого, естественно, была своя жизнь. Я благодарен Мане за то, что она в первые же дни моей репатриации познакомила меня со своей семьёй, близкими, друзьями. К сожалению, Маня уже ушла из жизни. Изя Потиха живёт в Германии. Их сын Борис из Канады вернулся в Израиль, дочь Таня с семьёй в Израиле. У Мани внуки – там и здесь, есть и правнуки.

Но я, увлечшись своими воспоминаниями, несколько забежал вперёд. Самое время прервать на этом повествование о школьных годах, чтобы не пропустить событий куда более важных и серьёзных.



Маня Беленькая и Лия Ромм в Израиле

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, И НЕ ТОЛЬКО.

В 1948 году советские евреи радовались созданию еврейского государства, ценили ту роль, которую сыграл Советский Союз, борясь в ООН за его провозглашение и помогая оружием израильтянам в самое тяжёлое для них время. Но историческая родина сразу же стала притягательной для советских евреев, а власти нового государства упорно не спешили подчиниться диктату ревнивого вождя. Портретов Ленина и его собственных, висевших в то время в клубах каждого израильского кибуца, самолюбивому до паранойи вождю было недостаточно, и он решил поставить на место это непокорное племя, а одновременно и преподать урок другим, потому что после войны немалый процент советских граждан всех национальностей надеялся на свежий западный ветер.

Вихрь разнузданной кампании «борьбы с космополитизмом» достиг и нашей семьи, снова, как уже не раз, перевернув её такую долгожданную пусть не богатую, но хотя бы благополучную жизнь, которая, казалось, могла бы наступить. А почему бы и нет? Всё в семье налаживалось: отца подлечили, он нормально работал.

Как я упомянул выше, Рая в ноябре 1948-го вышла замуж. О её суженом я уже писал ещё в конце повести «Война глазами мальчишки». Илья Пустыльников нравился и родителям, и мне: простой в обращении, безотказный – впрочем, никто из нас и не обременял его просьбами. Разве что иногда он давал мне покататься на велосипеде. Илья работал сначала в конструкторском бюро авторемонтного завода, потом в крупном КБ Управления авторемонтных заводов Москвы. Он со временем окончит вечерний институт, а с годами станет главным конструктором того же КБ по нестандартному оборудованию.

Сестра моя Рая, мне кажется, вовсе не сразу сделала выбор в пользу Ильи: были у неё и другие ухажёры, внешне очень привлекательные. Помню, к нам приезжал высокий, красивый капитан, звали его Григорий. Случайно я был свидетелем и их встреч вне дома. Но Григорий уезжал служить

в другой город, и, возможно, в том числе и по этой причине Рая, которая тогда ещё училась в институте, а скорее всего не только в связи с этим, предпочла Илью. Жил он там же, в Перове, недалеко от нас, у них с его мамой на улице Достоевского был скромный флигель во дворе двухэтажного дома, Первые положительные выводы об Илье я сделал задолго до их свадьбы, бывая у него и отмечая его спокойный нрав в обращении с матерью, соседями. Своенравный характер моей сестрицы мог выдержать всю жизнь, пожалуй, только такой человек, как Илья. Наша мама, например, насколько помню, ни разу не ночевала у Раи, она и сама об этом говорила в минуты откровения.

Но у сестры были и положительные качества, далеко не каждому данные. Я уже писал выше о том, как она героически поступала в институт, добивалась разрешения на наше возвращение из эвакуации в Москву. Перейдя затем из Мясо-молочного института, с которым она приехала из эвакуации в Москву, в 1-й медицинский на факультет санитарии и гигиены(на лечебный факультет не разрешили перевод), Рая успешно закончила его весной 1949 года и по распределению работала некоторое время в санитарно-эпидемической станции города Перово. Но уже через короткое время она «по совместительству» работала и в нашей большой железнодорожной больнице, в рентгеновском кабинете. Так как диплом факультета «сангиг» не давал права на лечебную работу, Рая использовала работу на рентгене как трамплин для дальнейшего продвижения к цели.

Затем доктор Раиса Марковна, теперь уже Пустыльниковна, а не Ринская, поступит в лечебную ординатуру своего МОЛМИ и, по её окончании получив право на лечебную работу, начнёт участковым врачом, поработает в больницах в Новогиреево и у Крестьянской заставы, а со временем возглавит терапевтическое отделение крупной больницы в центре Москвы. Оформив пенсию, Рая будет продолжать работать, руководя в поликлинике отделением физиотерапии.

Молодые Пустыльниковы начали семейную жизнь в до-мике на улице Достоевского вместе с мамой Ильи. В 1950

*Рая и Изя
Пустыльниковы, январь
1949 года*



году у них родилась дочь Марина, которая до самого школьного возраста будет жить подолгу у нас в семье, в Безбожном переулке, под патронажем мамы. В первые годы изредка жизнь Пустыльниковых будет омрачаться вызовами Ильи в органы – регулярными проверками в связи с тем, что он в 1943-45 годах нахо-

дился в плену у немцев и был освобождён из лагеря американскими войсками. Но после смерти «вождя» эти проверки прекратятся. Несколько раз доктору Пустыльниковой удастся поменять квартиру – в Новогиреево, район города Перово, в Москву, на Фортунатовскую улицу, и, наконец, в район Песчаных улиц.

Сейчас необходимо вернуться к тому, с чего я начал эту главу – к кампании борьбы с «безродными космополитами», чтобы, напомнив весьма уместную, к сожалению, для нашего случая поговорку вождя: «лес рубят – щепки летят», рассказать о том, как разлетелись в щепки наши надежды на благополучие семьи и выздоровление отца. В начале весны 1949 года был совершенно неожиданно для нас арестован отец. Об обстоятельствах этого ареста, да и всего послевоенного периода жизни и работы отца, его отъезда, скитаний и возвращения, последних лет жизни отца – обо всех этих тяжких годах его и семьи - в отдельном рассказе.

ТРАГЕДИЯ ОТЦА (1949-54 годы)

Поезд набирал скорость. Харьков остался позади. С трудом Матвей преодолел желание выйти в Харькове и вернуться домой, в Москву, где он так нужен был семье, где его с готовностью вновь приняли бы на работу, как говорил директор – просто разорвали бы его заявление и приказ, в которых увольнение Матвея мотивировалось состоянием здоровья. Директор делал вид, что не знает о подлинной причине его скоропалительного ухода с работы, но, конечно, ему не только сообщили, но и получили от него же о Матвее все сведения, какие были нужны органам. Знал, да скрывал – он прекрасно умел это делать. Они с Матвеем понимали друг друга без лишних слов, и это помогало обоим иметь неплохой «парносе» - доход - и выходить сухими из воды при проверках ОБХСС – Отдела борьбы с хищением социалистической собственности.

Но одно дело – «гешефты», без которых в комиссионной торговле просто не обойтись, и другое дело – «политика», участие в которой, похоже, пытались приписать Матвею. Неизвестно, как бы относился к потенциальному «космополиту» директор, если бы Матвей решил остаться. А, может быть, он всё-таки преувеличивает опасность нового ареста, и не следовало так спешно уезжать из Москвы? Тем более что как раз дочь Рая заканчивала институт и наконец-то расписалась с Ильёй, давно бы уж пора. Ему бы повременить, побыть ещё хотя бы месяц в Москве. Но нет, нельзя рисковать.

Ещё одного ареста, ночных допросов и карцера он не выдержит: белокровие, или по-научному гипопластическая анемия, даёт себя знать. На длительном допросе он и без «физического воздействия» потерял сознание. То же повторилось и в карцере, металлическом «ящике», в котором невозможно было ни выпрямиться, ни сесть, ни лечь, и непрерывно оглушала бравурная музыка.

Если снова арестуют, поскольку не успели выбить ничего существенного, - нет шансов, что Матвею снова повезёт, как в прошлый раз. Он уверен, что его выпустили только благодаря однополчанину, которого встретил, когда вели по коридору

ру после допроса: идёт навстречу моложавый капитан, лицо знакомое, а вспомнить Матвей никак не может, где видел. И тот вроде узнал: что-то у него промелькнуло в глазах. Но прошёл – как ни в чём не бывало. И Матвей как-то интуитивно не подал вида. Лишь в камере, мысленно прокрутив возможные варианты, вспомнил: ну точно, вместе выходили из окружения, но ни имени, ни фамилии его Матвей, похоже, и в то время не знал. Ринского же в группе знали все: командир группы приказал ему и ещё двум опытным ополченцам, воевавшим ещё в Первую мировую и гражданскую, идти впереди – выбирать дорогу, присматриваться к следам, искать съедобное в припорошённом снегом лесу. Поняв, что большую их группу вот-вот обнаружат немцы, сжимавшие кольцо окружения, командир разбил её по несколько человек, в надежде перейти к своим через неплотную, перемещавшуюся к востоку линию фронта. Тогда Матвей уже во второй раз выходил из окружения.

Матвею в этот раз не повезло: пришлось провести несколько месяцев в оккупированной деревеньке, пока её не освободили при наступлении под Москвой: уйдя он тогда из деревни – расстреляли бы старушку-хозяйку, приютившую его с напарником как племянников. А вот этот молодой солдат или сержант не только вышел к своим, а ещё и, судя по орденским колонкам, неплохо воевал и успел стать капитаном. Наверное, ярлыка «окруженца» как-то избежал, иначе не был бы в элитной когорте борцов с «врагами народа». Неужто тот самый солдат или сержант, ныне капитан, узнав его, каким-то образом поспособствовал освобождению Матвея? Немногие узники тех мрачных подвалов возвращались домой, тем более всего через несколько дней после ареста.

Матвей был доволен тем, что из него не успели выдавить ничего существенного. Собственно, выдавливать было нечего: он и впрямь не слышал ничего такого крамольного ни от Зускина, о котором было больше всего вопросов, ни от других своих клиентов, заходивших в его «Скупку мехов» то продать что-нибудь, то «раздавить пузырь» в дружеской компании. Но, судя по допросам, следователи уже заранее знали всё,

что будет в обвинительных заключениях, а Матвею отводилась роль лишь ещё одного скромного «свидетеля». Он понимал, что «показания» его должны были стать лишь страничкой многотомного «дела».

Просторная «Скупка мехов» по-прежнему располагалась во дворе лучшего винного магазина Москвы, поставлявшего дефицитные заморские и советские вина и фрукты по заявкам Кремля и элиты. К Матвею часто заглядывали его посетители из московского бомонда – его клиенты и одновременно завсегдатаи магазина, которых знала страна, и которым продавцы не могли отказать в бутылке «Хванчкары» или пакете бананов, тем более, что они щедро приплачивали. Этим людям по статусу никак не полагалось, встретив в магазине друзей, распивать с ними в подворотнях Столешникова переулка – слишком они были узнаваемы поклонниками. Вот и заходили они к Матвею, многих он знал с предвоенных времён, в основном артистов, привозивших с гастролей меха и шубы и приносивших их Матвею то на продажу, то на реставрацию.

После войны к ним прибавился разного рода высокопоставленный люд, вернувшийся с войны, позднее – из Восточной Германии и стран Европы. И из китайской Маньчжурии, освобождённой от японцев. Приносили не только шубы и меха, но и другое, в том числе что-нибудь миниатюрное, приобретённое там тем или иным способом. Каким - Матвея не интересовало. Всё меховое оценивалось, оформлялось, как положено – это не значит, что не было «левых» перепродаж и работы по реставрации шкур и шуб, не входившей в круг их служебных обязанностей. Но Матвей и его напарник были аккуратны настолько, что ни одна проверка не нашла ничего существенного. Так что когда арестовали Матвея, лишь на первом допросе задавали провокационные вопросы по части скупки мехов, а со второго стало ясно, чего от него хотят: помещение «Скупки мехов» могло фигурировать, как место сборища антисоветских, а заодно и сионистских элементов, явкой их «подпольных организаций».

Вся страна жила под гнётom развёрнутой в газетах, на радио и ещё не всем доступном телевидении кампании «борь-

бы с космополитизмом». От своих клиентов Матвей знал об арестах: их становилось всё больше, и среди «взятых» – всё больше евреев. Впрочем, «борьба» началась ещё в первый же послевоенный год, когда возвратившиеся с войны миллионы граждан могли сравнить то, что они увидели за рубежом, с тем, к чему они вернулись, и немалое число было таких, которые уже не хотели безоговорочно воспринимать то, что им говорилось и писалось. Агентура работала отлично, и вожди всё это знали и пытались пресечь на корню.

Началась пропаганда патриотизма, быстро переросшая в борьбу с «низкопоклонством перед Западом» в литературе, искусстве и даже технике, в выискивание приоритетов в отечественной науке. Шельмовали А. Твардовского, журналы «Звезда» и «Ленинград», Ахматову и Зощенко. Разнесли репертуар театров. Постановление о фильме «Большая жизнь» было сигналом к травле выдающихся деятелей кино, а об опере «Великая дружба» - выдающихся композиторов. Травили за «низкопоклонство» учёных-медиков; к примеру, академика В.В. Парина осудили на 25 лет за сотрудничество с американскими медиками, как за «измену родине».

Когда же в ход пошла терминология «безродные космополиты», стало ясно, в чей адрес направлены обвинения. Догадываться не требовалось: слишком много было еврейских фамилий. «Ату их!» - был дан сигнал, и начались угоднические статьи, а на местах – увольнения с мало-мальски значимых постов не только в литературе и искусстве, но и в самых разных отраслях хозяйства, особенно в оборонке.

В январе 1948 года в Белоруссии погиб Соломон Михоэлс. В некрологе вообще не говорилось о причине смерти великого артиста, и уже это могло показаться странным. Матвей тогда был на похоронах Михоэлса у театра на Малой Бронной. Понятно, что тогда ещё никто из присутствующих не знал истинных причин смерти. Похороны были организованы на высшем уровне, хотя не было никого из известных государственных деятелей. Внимание Матвея, естественно, было приковано к ближайшему соратнику Михоэлса, Вениамину Зускину.

До войны общительный Зускин, звезда театра Михоэлса и



*Великий артист и режиссёр
Вениамин Зускин*

его друг, порой заглядывал с друзьями в скупку Матвея, прихватив что-нибудь в винном. С Матвеем он с удовольствием говорил на идише, называл его «майн фрайнд Мотэлэ» - мой друг, хотя Матвей был на восемь лет старше. Они пели вполголоса песни на идише, Зускин отпускал ему комплименты по части языка, голоса и слуха. Иногда Веня выяснял у Матвея какие-нибудь тонкости произношения украинского диалекта идиша – сам он был сыном портного из Литвы. Анекдоты, порой фривольные – всё это было, несмотря на многочисленные аресты предвоенного

периода, о которых эйфория победы помогла немного призабыть. Не раз Матвей, как хозяин помещения и старший по возрасту, приструнивал остряков, а особо языкатых старался отвадить. И в те первые послевоенные годы – он знал - стены имели уши.

После войны Зускин был уже не тот Веня, открытая улыбка сменилась доброжелательной, но серьёзной, обременённой чем-то недосказанным. Ни звание Народного артиста, ни ордена, ни даже Сталинская премия, полученная им совсем недавно, в 1946 году, за музыкальный спектакль «Фрейлехс», казалось, не могли вернуть того прежнего, предвоенного Зускина. Теперь он редко заходил к Матвею с кем-нибудь из друзей, не было уже весёлых попоек и слишком острых анекдотов. Но непременно при встречах давал контрамарки или записочки в кассу театра, и Матвей с Басей старались не пропустить спектакль, даже если уже его видели, порой прихватывая с собой дочь Раю, уже студентку-медичку, и

пятнадцатилетнего сына Мишу. Уже на вечерние спектакли и сеансы пропускали, хотя и действовало правило – старше шестнадцати лет.

После трагедии с Михозлсом Зускин сменил его на посту художественного руководителя ГЕСЕТа, и в течение всего 1948 года Матвей видел его всего раза четыре. Два раза из них Матвей, по его просьбе, приберегал или доставал у коллег вещицы, необходимые для театрального реквизита – всё это официально оформлялось: все были «на мушке» у ОБХСС. Матвей тогда пользовался случаем побывать за кулисами театра – отвозил находки лично, благо от Столешникова до Бронной - всего две остановки, или минут двадцать пешком.

В первую же их встречу после гибели Михозлса Матвей, выказав Вениамину всю скорбь – он хорошо знал по их прежним беседам, что значил для нового худрука его старший друг и наставник, - спросил, как он сам представляет себе работу театра в новых условиях. Известно, какую роль в судьбе театра, в отстаивании его интересов, да и всей еврейской культуры играл высокий авторитет Соломона Михозлса. Вениамин печально посмотрел Матвею в глаза, оглядел кабинет, давая понять: могут прослушивать. Поблагодарив Матвею за помощь, Зускин вышел его проводить и на ходу произнёс с расстановкой на идише:

- Дос из соф, Мотэлэ - это конец... Но пока есть время, будем работать. Да...

И добавил афористично:

- А паяц махт алемен фрейлех ун алей из ег умэтик – шут делает всех весёлыми, а сам остаётся грустным.

Матвей сразу вспомнил Зускина – шута в «Короле Лире», вспомнил Михозлса в роли короля, обнял Веню и быстро вышел, чтобы успеть достать носовой платок и вытереть невольные слёзы.

Это была последняя их задушевная, но слишком короткая встреча, остальные оставшиеся были на ходу и на людях. При одной из них на вопрос Матвею, как дела в театре, Веня ответил на идише:

- Энгэн ын дер лыфт – между небом и землёй, то есть как

бы под вопросом. Руководитель Еврейского театра либо знал, либо догадывался о том, что дни театра Михозлса сочтены. Так же как не мог не предчувствовать и свою судьбу. Матвей его понял и, прощаясь, пожелал – эта поговорка была всегда при нём:

- Эс зол зих горнит трэфн, вос эс кон зих трэфн – пусть совсем не случится то, что может случиться.

В декабре 1948 года начались аресты членов Еврейского Антифашистского комитета. Первыми взяли председателя Комитета Исаака Фефера и Вениамина Зускина. В начале 1949 года арестовали ещё несколько десятков членов Комитета и других известных деятелей – евреев, под аккомпанемент разнузданной пропаганды борьбы с «безродными космополитами». И закрыли Театр Михозлса – впрочем, к этому времени театр уже не носил имя великого режиссёра и актёра, объявленного главным сионистским заговорщиком.

Дело ЕАК слушали в 1952 году. Последнего художественного руководителя и ведущего актёра театра Вениамина Зускина расстреляют после суда в августе 1952 года вместе с другими осуждёнными, среди которых всемирно известные Д. Бергельсон, Л. Квитко, П. Маркиш... Но это будет через три года.



Великий тенор Иван
Козловский

Весной 1949 года, когда Матвей был неожиданно арестован прямо на работе, он знал об аресте Фефера и Зускина только со слов своих клиентов. Того, что арестованы практически все члены Еврейского антифашистского комитета, Матвей не ведал, поэтому ему трудно было понять, к чему клонят следователи. То, что им нужно о Зускине всё, что было и чего не было, стало ясно из их вопросов. О предвоенном их знакомстве, слава Богу, не

спрашивали, а в послевоенные годы их немногочисленные встречи не содержали практически ничего политического. У него в скупке бывали и актёр Яншин, и тенор Козловский, и дирижёр Мелик-Пашаев, и много других выдающихся деятелей культуры и искусства.

Спрашивают про «еврейскую тему» - так если они имеют в виду анекдоты, то русские их рассказывали чаще, чем евреи. Нет, не политические. Да, обсуждали новости, но только опубликованные в советской печати. Да, про Израиль говорили, глупо отрицать: не только евреи следили за войной только что созданного, с помощью СССР, государства со своими соседями. Нет, ни национализма, ни антисоветчины он не слышал. Нет, никаких изданий на идише, кроме советских газет и программ театра, у Зускина и кого-либо другого не видел. А были ли они у них – Матвей не знает.

Когда Матвею стало плохо во время допроса, - вызвали врача. Матвей сказал врачу, что у него – анемия, и что скорее всего причина – в его продолжительной работе по обогащению урана на трудфронте во время войны. Напомню, что отправлен он был туда, когда, выйдя из окружения, был по возрасту - ему шёл 52-й год - демобилизован, но снова пришёл в военкомат, и его отправили не на запад, а на восток – на уральское предприятие. Там, очевидно, и получил высокую «дозу» облучения.

Напомню также, что Матвея демобилизовали с трудфронта в начале 1945-го, с него взяли подписку о неразглашении и предложили для проживания выбрать на первое время один из нескольких регионов. Точно как в ссылку после ГУЛАГа. Он выбрал казахстанскую Кызыл-Орду, где жили в эвакуации сестра жены Женя и её муж Ушер Заславские. Тётя Женя, отменная портниха, до войны в Славянске обшивала местных и отдыхающих, а Ушер, ещё в Москве в 1920-х годах имевший свой хозяйственный магазин, в Славянске работал продавцом в хозяйственном магазине. Жили в достатке. И в эвакуации тётя Женя шила жёнам всего городского руководства. В войну погиб на фронте их единственный сын, и после войны Заславские взяли на воспитание Руфу, младшего сына род-

ного брата Матвея Меера Рынского, майора-артиллериста конной армии, погибшего в боях.

У Заславских Матвей прожил до весны 1946 года, когда, наконец, получил разрешение вернуться в Москву. В Кызыл-Орде у него хватало работы: не только каракуль и овчина, но и дорогие меха из близлежащей Киргизии проходили через руки опытного меховщика. Всё бы ничего, да ещё в Казахстане начал слабеть. Заподозрил, в чём причина, но, помня о неразглашении, медикам всего не рассказал, да и медицина в то время, тем более в тех краях, была не на уровне. Отпаивался кумысом – вроде бы стал крепче.

В Москву вернулся – здесь по анализам крови сразу определили причину, но записали просто: «анемия» В обиходе термин уже был: лучевая болезнь. Лечения от поражения радиацией, кроме переливания крови, тогда советская медицина практически не знала, да и иностранные препараты мало чем помогали. Само собой, не для того Матвея поместили в эти сырые подвалы, чтобы лечить. Но, может быть, всё-таки из-за этого диагноза его мучить не стали, а может быть – до этого просто он не успел досидеть – вдруг оказался на воле благодаря счастливой встрече с капитаном - бывшим «окруженцем».

Все эти несколько дней в скупке работал его напарник, которого не тронули. Матвей успел, с разрешения арестовавших, написать ему записку – домашних телефонов у обоих не было, да и вообще – в то время они были у немногих. Написал, что ему приходится отъехать на несколько дней, о чём он просит сообщить семье. Чтобы не волновались и никому не говорили. Через несколько дней он даст о себе знать. «Или я, или кому положено», - написал Матвей, дав тем самым понять, где он. Удивился, что разрешили написать: тоже, наверное, ребята были из фронтовиков, порядочность оставалась, несмотря на эту новую и вряд ли приятную для них службу.

Когда Матвея неожиданно выпустили, он приехал домой, в Перово, где Бася, в отчаянии не зная, что делать, встретила его радостно. Первым делом Матвей решил обеспечить

семью, на случай новых поворотов судьбы, на как можно более длительный срок. Хорошо, что ему удалось приберечь из заработанного ещё в Казахстане и добавить за два с лишним года в Москве кое-какие деньжата и вещицы – этого хватит Басе с Мишей, если жить скромно, хотя бы на год. Дома хранить нельзя ничего: в любой день могут прийти с обыском. Слава Богу, есть надёжные родственники, как семья Моисея и Рахили, есть и друзья – можно оставить по частям. И, слава Богу, Рая – считай – уже самостоятельная: врач, и у неё своя семья. Илья – отличный муж, и свекровь у Раи – спокойная и мудрая.

Понимая, что в любое время могут взять снова, Матвей постарался выяснить общую ситуацию с арестами. Узнал через клиентов рангом ниже, но осведомлённых, что аресты «космополитов» приняли массовый характер, что во многих местах людей, не только евреев, под разными предлогами если не увольняют, то перемещают, понижают в должности, отстраняют, не принимают, перестают печатать...

Один из русских соседей, совсем даже не близкий, с которым просто были в добрых отношениях, сам пришёл и рассказал, что участковый, уже несколько лет прикреплённый к их Безбожному переулку и потому знакомый со всеми и с каждым, заходил к нему и как бы между прочим расспрашивал о нескольких соседях, в том числе о Матвее Ринском. Как было принято в те времена, участковые - и милиционер, и врач - были как свои люди. Сосед предложил чаю, выпили по рюмочке, и в душевной беседе участковый посетовал, что лично он ни к кому из евреев, людей законопослушных, ничего не имеет, да вот – устное распоряжение – проверить. А ничего не обнаружить, когда идёт широкая кампания борьбы с этими разлагающими страну космополитами, - значит расписаться в отсутствии бдительности. Вот и расспрашивает.

Итак, началось: «ату их!». В этих условиях можно было ждать нового ареста даже не по тому делу, где он, очевидно, был «мелкой сошкой», иначе бы его так просто не отпустили. Могли «припать» и по работе «хищение собственности» - это делалось очень просто. Вот почему Матвей решил уехать,

уволившись со ссылкой на состояние здоровья, действительно подорванного. Маловероятно, что будут искать. Кампания пройдёт – и о нём не вспомнят.



Соня Ринская с внуком Ромой

Поезд тормозил у станции Славянск. В окно тамбура, куда заранее вышел Матвей, он разглядел Женю и Ушера. Встреча была радушной. А дальше больше года скитаний по родственникам: не хотел долго оставаться в одном доме, чтобы не вызвать подозрение соседей и не подвести гостеприимных хозяев. Из Славянска переехал в Кривой Рог, к сестре Соне, оттуда – к её дочери Кларе в Таллин...

Обострилась лучевая болезнь, и пришлось вернуться в Москву. Надо было работать: сбережения кончились. Бася под-

рабатывала шитьём на дому; Михаил поступил в институт – тоже подрабатывал, как мог, но этого было недостаточно. Михаил хотел перейти на вечерний факультет, чтобы устроиться на работу – и Матвей, и Бася категорически потребовали: учись!

- Аз мы лэрнт нышт – вэйст мын нышт – нет учёбы – нет знаний, - внушал сыну Матвей, - а – что за учёба после работы? На вечернем знаниях не приобретёшь.

Хотя Матвея и приняли в тот же комбинат и на ту же работу, но работать с прежней отдачей он уже не мог: всё больше времени проводил в больницах, где его поддерживали лишь переливанием крови. Даже лучший специалист Союза тех лет по лучевым болезням, профессор-гематолог Иосиф Абрамо-

Матвей
Ринский в
Таллине с
Кларой и
Борисом
Капланскими
и их сыном
Феликсом



вич Кассирский, в клинику которого Михаилу удавалось положить отца, каждый раз с разрешения министра, смог продлить Матвею жизнь ненадолго. Матвей умер в декабре 1954 года, в возрасте всего 63 лет, избежав в 1949 году участи жертв сталинского террора, но став одной из жертв начавшейся в те годы ядерной гонки.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Прежде всего хочется лишний раз напомнить: при том, что книга эта – мемуарного характера, цель автора – осветить «по совместительству» жизнь, быт, нравы и поведение людей XX века в тех местах и в той обстановке, где происходили те или иные события. Ясно, например, что психология и поступки бандитов-погромщиков в украинском Чигирине в гражданскую войну в корне отличались от суровых лет в Сибири и поведения местных жителей в Отечественную войну. Пять послевоенных лет – короткий временной период, но за это время, с началом «холодной войны», Советский Союз в сторону совсем других врагов, вчерашних друзей, повернул оружие, которое стало несравненно более мощным. А всё ещё боевой настрой людей, ждавших лучшего, вождь отвратил от главных проблем в сторону «опасности» со стороны

искусственно созданной «кучки космополитов». Потом вдруг оказалось, что в этой «кучке» - сотни тысяч отправленных в тюрьмы и лагеря, уволенных с работы... «Лес рубят – щепки летят» - одной из «щепок» оказался и мой отец.

В этих условиях мне при поступлении в институт поневоле приходилось учитывать другую крылатую в то время пословицу: «яблоко от яблони недалеко падает». Арест отца и затем «исчезновение» его из Москвы, если «докопаются», вполне может лишить меня студенческого билета. Была у меня задумка – стать медиком, вслед за двумя сёстрами. Но незадолго до лета 1950-го прошёл слухок, что министр здравоохранения публично высказался по поводу несовместимости понятий «врач» и «космополит». И хотя до «дела врачей» ситуация пока не созрела, рисковать не стоило, потому что уже в 1950-м любой с «пятым пунктом» мог подозреваться в «космополитизме».

Мой старший двоюродный брат Иосиф заканчивал Московский институт инженеров транспорта – МИИТ, престижный, но очень тяжёлый для студентов факультет «Мосты и тоннели». Высокая теоретическая подготовка и широкий диапазон изучаемых предметов гарантировали выпускнику престиж знающего инженера и достаточно высокую должность – конечно, при соответствующих его личных качествах.

Но конкурс был – четыре с половиной человека на место. При моём средненьком школьном аттестате шаг был рискованный, тем более - Иосиф «разведдал», что на факультет подали документы очень много медалистов. Зато, как утверждал брат и в чём я позднее убедился не раз, в институте, и особенно на этом факультете, была на редкость доброжелательная обстановка, при этом неподвластная политическим ветрам. Очень сильный профессорско-преподавательский состав факультета возглавлял профессор Анатолий Филиппович Смирнов, в будущем - академик, начальник ведущего в стране ЦНИИСК – Института строительных конструкций. Ему я обязан очень многим в жизни – об этом речь впереди.

Я скорее всего не решился бы участвовать в таком конкурсе, но Иосиф убедил меня. Мне удалось «сложиться» и

серьёзно подготовиться, сдав на все пятёрки при одной четвёрке. Тем не менее, уверенности не было никакой: у слишком большого числа абитуриентов без медалей был такой же результат. Само собою, я обрадовался и в то же время удивился, увидев в списке принятых свою фамилию.

Из примерно 80-ти человек нашего потока две группы из трёх состояли практически полностью из медалистов; третья, в которой был и я, - наполовину. Окончили институт в 1955 году 69 человек: учиться было нелегко, очень трудная и насыщенная программа, и немало отсеялось, причём в основном медалисты: уже в те годы медаль не всегда отражала подлинную подготовку.

Была и другая причина отсева: время было ещё тяжёлое, и на стипендию, даже повышенную по сравнению со многими институтами, прожить было невозможно, особенно тем, кто приехал с периферии и жил в общежитии. Многие из нас подрабатывали, где и как могли, причём негласно: студентам дневного отделения это запрещалось. Подрабатывал и я: отец был «в бегах», а по приезду уже был так болен, что работать не мог. Пришлось работать помощником геодезиста, а то и на разгрузке. Против моего перехода на вечернее отделение категорически возражали отец и мама.

Когда я в конце первого курса из-за подработок запустил учёбу и не сдал три зачёта, за что полагалось отчисление, именно декан А.Ф. Смирнов, выслушав моё откровенное объяснение, поверил мне и в меня и разрешил сдать с опозданием зачёты и экзамены. После чего я все последующие годы учился «со стёпкой», то есть без троек, со стипендией.

То, что мне удалось достичь достаточно высокого поста и неплохо справляться с работой на всех этапах жизни и работы и на каждой должности при всём разнообразии этих должностей и сложных объектов различного назначения, – всем этим я всецело обязан МИИТу и его профессорам и преподавателям. Понятно, что если железным дорогам нужны пути, здания и мосты, то инженер-мостовик должен знать и уметь строить и ремонтировать все эти виды сооружений. Мне же довелось в жизни руководить проектированием и строить,

кроме всего этого, и то, чему нас специально не учили: высотные здания, театры и кино, больницы со сложнейшей технологией.

Нас учили, наряду с геодезией, геологией, металловедением, казалось бы, и совсем не нашему. Например, профессор Пратусевич так много дал нам по теории механизмов, что я даже участвовал в его научной работе – и затем, уже молодым специалистом, получал премии за разработку станков для обвязки шпал. Нас учили зачем-то тяговым расчётам допустимых весов поездов с учётом рельефа местности, и мне, когда я по со-



*С Игорем Невзоровым
учились в институте*

вместительству преподавал в железнодорожном техникуме, пришлось, по просьбе завуча, выпускать брошюру «Руководство по проектированию тяговых расчётов». Не говоря уже о мостах и зданиях. Позднее я преподавал, также по совместительству, на кафедрах конструкций одновременно двух московских институтов: МИСИ – строительного и МАРХИ - архитектурного. Всё это разнообразие в работе – благодаря моей всесторонней подготовке в институте.

Но главное наше «кредо» - из нас готовили отменных расчётчиков, и мне не раз приходилось выступать в этом амплуа, рассчитывая и «свои», и на субподряде здания и сооружения специфического назначения или в специальных сейсмических и грунтовых условиях. За высокую подготовку в высшей математике, строительной механике, теории сооружений мы должны быть благодарны профессорам Зылёву, Прокофьеву, Смирнову, Синельникову, совсем молодому, талантливому доктору Болотину и многим другим.

Заметьте: на потоке я был скромным середняком, «звёзд с неба не хватал», хотя всплески были: при выполнении курсовых, научных работ отмечали порой оригинальность. Быть

может, по этой причине наш круглый «вундеркинд» Саша Глушанков предложил почему-то мне на четвёртом курсе принять участие в каких-то его разработках новейших решений: нужны, говорит, идеи. Я ему, и впрямь, как-то подсказал что-то, но скорее всего случайно попал «в яблочко». К сотрудничеству с Сашей был не готов во многих отношениях, в том числе из-за положения в семье. Я всё это о себе излагаю к тому, что если я, середняк, преуспел в работе, то, думаю, были и куда более «вушлые» и успешные. Я знаю о жизненных путях далеко не всех наших выпускников, многие работали на периферии.

Мы учились в период «дел» космополитов и врачей, но, пожалуй, с «пятым пунктом» у нас действительно было куда лучше, чем во многих других ВУЗах. Передо мной список выпускников нашего потока. Из 69-ти человек 23, то есть треть, «явных» евреев. Сколько неопределённых – трудно сказать, но и так – разве мало?

Этот подсчёт я делаю только сейчас, через шесть десятилетий, по списку адресов и телефонов выпускников, приложенному к памяtnому фотоальбому. А в годы учёбы – не припомню, чтобы вакханалия антисемитизма в связи с «космополитами» и «делом врачей», царившая в эти годы в стране и затронувшая и нашу семью, как-то сказывалась на личных взаимоотношениях студентов на нашем потоке. Да и вообще – не припомню крупных конфликтов. Скорее всего, помимо напряжённой учебной программы, сказывалась и серьёзность поколения «детей войны», тем более что среди нас было и несколько студентов постарше.

Среди них прежде всего хочется отметить Игоря Алексеевича Невзорова, замечательного человека, мудрого и чуткого. Он успел отслужить в армии, в парашютно-десантных войсках. Затем успел поработать, стать членом партии, обзавестись семьёй. Всегда в учёбе обстоятельный и педантичный, он в жизни был радушным, открытым и в то же время, когда я обращался к нему за практическими бытовыми советами, становился серьёзным при любом вопросе и выкладывал всё, что знал и думал, даже если вопрос не заслуживал внимания. Игорь и в период учёбы в институте «болел» парашю-

*В студенческих военных
лагерях. Командир
отделения Михаил
Ринский - внизу в центре*

том и нас пытался привлечь к этому опасному, но интересному виду спорта. Игорь был для меня примером и старшим другом, и мне очень льстило, когда он, не решив какую-то задачу или не построив эпюру, обращался не к нашим корифеям, а «к Ринскому – с ним проще». Правда, бывало, что и я не успел – тогда



садились на лекции подальше и решали вместе.

Из «старших» - вспоминаю добрым словом и Зденека Грегора, одного из иностранцев, учившихся на нашем потоке. Были и китайцы, и корейцы – всех не помню. Но Зденека мы все особо уважали. В период немецкой оккупации он был в числе боровшихся в подполье. К нам он поступил, практически не зная русского языка, но быстро его освоил и затем занимался на равных со всеми.

Интересный смешной курьёз случился с этим серьёзным человеком. Его поселили в общежитии рядом с институтом, в одной комнате с нашими студентами из союзной глубинки. Понятно, почти ни один разговор на любую тему не обходился без русского мата, вмешанного в бытовую, даже совсем не злобную речь. Откуда он мог знать, где цензурное, а где неприличное? И когда одна из наших немногочисленных девушек (десяток на 80 студентов) спросила у него о ком-то или о чём-то, Зденек благодушно ответил услышанным: «- А х... его знает!», или что-то в этом роде, и мило улыбнулся. Юная ком-

сомолка тех времён была в шоке, Зденек поначалу не понял, а потом бросился извиняться, в отчаянии, на чешском языке. Этот курьёз вспоминали мы на посиделках все пять лет.

Зато на выпускном торжественном собрании среди праздничных поздравлений некоторым диссидентом прозвучала речь Зденека, поблагодарившего преподавателей и друзей, а потом, по праву старшего, бывалого коммуниста-подпольщика, упрекнувшего своих сокурсников в разгильдяйстве, то есть фактически в бессовестном отношении к тому, что государство



*Мой институтский
товарищ Александр
Голанд*

предоставляло им бесплатно в столь трудный для него период. Все были пристыжены, никто ему не возразил. Помимо личного авторитета и обаяния Зденека, сыграла и выработанная на Руси за долгие годы сдержанность во взаимоотношениях со столь немногочисленными иностранцами, даже «друзьями».

Вот со «своими» у нас «проводилась работа», бескомпромиссная и нелицеприятная. Комсомольское бюро работало, как положено: и клеймили, и откликались, и призывали, и ставили на место, а то и изгоняли. Меня на втором, кажется, курсе избрали профоргом, а на третьем «повысили» до комсорга. Когда же мне предложили созвать собрание, чтобы «заклеймить» Эльду Гловацкую за её вызывающе узкие фирменные джинсы и я отказался, члены бюро немедленно устроили собрание под своим председательством. Эльду «раздели» - морально, естественно, - а меня «попёрли» из комсоров. Это меня вполне устраивало: дел, в том числе общественных, и без этого хватало. Эльде со временем пришлось нас покинуть – точно не помню, но, кажется, она куда-то перешла.

Из пригорода Перово до института приходилось добираться автобусом, электричкой и трамваем, всего часа полтора – два. Метро в тот район только строилось. С деньгами было туго, я мог себе позволить потратить в большую перемену только полтинник. Правда, у нас в институте был недорогой буфет, а неподалеку – своя фабрика-кухня. Принадлежность к железнодорожному транспорту, «государству в государстве», давала возможность получать бесплатные путёвки в дома отдыха, бесплатный пригородный билет и раз в год – бесплатный билет в любой конец Союза и обратно. И ещё – пользоваться в то время одними из лучших в стране железнодорожными больницами и поликлиниками. Я уже писал, что устраивал на лечение и отца.

У МИИТа был свой большой дворец культуры, где я за-



Марина Абрамсон была красивой женщиной, умным и талантливым человеком и отличным товарищем

нимался в литературном кружке: тянуло к стихам, но получались они весьма далёкими от совершенства. В группе у нас была замечательная девушка Марина Абрамсон, она отлично писала стихи, и мы с ней постоянно, в тайне от всех (по крайней мере – я), обменивались виршами. По-моему, у Марины они были лучше. Не раз я провожал её, мы шли от Арбата по бульварному кольцу, читали стихи свои и не свои. Дело ограничивалось стихами хотя бы потому, что у каждого было своё личное. Марина была тогда, по-моему, влюблена в студента курсом старше, активиста по фамилии, если не ошибаюсь, Каплан. Мне она тогда написала, как бы ставя точки над возможным нашим «и», но

в то же время подчёркивая открытость души:

*Очень жалко, дорогой товарищ,
В жизни нам с тобой - не по пути.
Ты, наверно, так и не узнаешь,
Что в тебе мечтала я найти...*

*... Мне б всегда любить того, другого,
Только в этом – не моя вина...*

Марина была отличницей, и вообще – активной. После окончания института успешно проектировала крупные мосты. Мы какое-то время ещё перезванивались, пока со временем не захлестнули дела семейные и прочие. Через много лет я с болью узнал о безвременной её кончине.

У нас на потоке было всего с десяток девушек, потому что учиться было трудно, да и профессия нелёгкая. Я общался далеко не со всеми, но ещё об одной не могу не сказать. Нина Шмелёва была (надеюсь, и сегодня есть) отличным товарищем. Именно она помогла мне на первом курсе вылезти из «долговой ямы» зачётов и экзаменов, приезжая ко мне в Перово и приглашая к себе домой на Арбат. Причём инициатива исходила от Нины: я не приглашал её сам из-за положения с отцом, из-за занятости на подработках, из-за того, что дома у нас было – «как шаром покати», и нечем было принять. Наверное, Нина многое поняла. Но в дружбе мы оставались все пять лет, что не мешало ни ей иметь многочисленных поклонников на курсе, ни мне – возлюбленных вне института.

Нина отличалась от многих наших принципиальным «невмешательством»



Нина Шмелева

в общественную суету. Например, она, несмотря на неоднократные призывы и упрёки, так и не вступила в комсомол. Её «хобби» был спорт. Все эти пять лет мы регулярно встречались и тренировались на стадионе, в секции лёгкой атлетики. Мы оба «болели» бегом, причём Нина предпочитала короткие, а я – длинные дистанции.

Ещё в школе, уже в десятом классе, я вдруг почувствовал, что легко бегу в любом кроссе, опережая многих. В институте сразу определился в секцию лёгкой атлетики, и мне довелось не раз участвовать в соревнованиях в основном районного масштаба. Наш МИИТ славился своими спортивными достижениями в баскетболе и ряде других видов спорта, а в лёгкой атлетике – имел своих чемпионов и призёров даже Союза. У нас был пожилой, скромный по характеру, но замечательный тренер Николай Владимирович Петров, бывший чемпион Союза ещё в 1930-е годы. Слишком много прошло лет, и прошу заведомо прощения, если что-нибудь напутал. Что интересно, у нашего тренера было два диплома: консерватории и Института физкультуры. Когда мы упражнялись в зале, он часто садился за рояль и одновременно командовал и аккомпанировал нам.

В общем, мои студенческие годы были и тяжёлые, и интересные. На четвёртом курсе наш поток перетасовали, создав, в основном по желанию каждого, одну группу тоннельщиков и две – мостовиков. В тоннельщики записались преимущественно москвичи и жаждущие остаться в Москве. Я был не против города, где родился и прожил всю жизнь, но под землю зарывать себя принципиально не хотел. Да и по Союзу строились и метро, и подземные сооружения различного назначения, так что и у тоннельщиков уверенности в распределении не могло быть.

Несмотря на то, что я был минимум на год младше своих сокурсников, к четвёртому курсу сам я чувствовал себя повзрослевшим и возмужавшим, на равных с доброй половиной потока. Несколько самостоятельных поездок по стране и на заработки, военные летние сборы, спорт, домашняя нелёгкая ситуация и московские подработки, ну и, конечно, собствен-



А. Голанд, М. Ринский и М. Абрамсон на дружеской встрече через 20 лет

ное созревание сделали своё дело: теперь и рост, и комплекция были на уровне, хляком не назовёшь. К тому же работа, помощь по хозяйству отцу, умевшему многое. Словом, и белоручкой я уже не был.

Через, если не ошибаюсь, двадцать лет после окончания института наш энергичный сокурсник Борис Минкин организовал встречу нашего потока в московском ресторане «Будапешт». На встречу съехалось свыше сорока выпускников; были и преподаватели, в том числе зам. декана Г.К. Федорков. На встрече, тёплой и весёлой, подсчитали, что из 69 окончивших наш факультет в 1955 году ко времени встречи свыше 50 человек уже обосновались в Москве и Московской области. А ведь когда мы заканчивали, в распоряжении комиссии по распределению было всего восемь мест в Москве и Подмосковье. И когда наш принципиальный декан А. Ф. Смирнов, вдруг неожиданно предложил отдать мне, середняку, место в Перово, где я жил, на меня почему-то обиделся Лёша Зверев, наш отличник и, главное, племянник всесильного министра финансов. Как будто я был виноват в том, что тот же А. Ф. Смирнов отправил его на Север, на Печору, мастером. Прав-

да, после того как тот же наш декан взял Алексея Зверева, если не ошибаюсь, к себе в аспирантуру, от его непонятной обиды на меня не осталось и следа.

Но не все наши отличники были одинаково успешны. К примеру, Андрей Блошенко, наш двухметровый гигант, по распределению отправленный то ли в Среднюю Азию, то ли в Казахстан, не растерялся и быстро написал диссертацию на тему сельского строительства в тех краях. Успешного молодого учёного с опытом производства привлекли к работе в столице, кажется – в Министерстве сельского строительства. Мало того: выросший на периферии, он хорошо устроился в Москве и с жильём, в прекрасной квартирке в Измайлове, на Первомайской улице.

Жил Андрей неподалеку от меня, и я его как-то навестил. Выпили, он захмелел – не более того, - и с горечью рассказал мне о неудовлетворённости своей, мостовика, вынужденного перебирать бумажки сельского строительства. Хотелось бы ему глотнуть свежего воздуха, но силы воли не хватало ни оставить тёплое местечко и квартиру в Москве, да и семейные дела не позволяли. Когда же через некоторое время он приехал ко мне и после первых же рюмок сполз на пол, успев проклясть свою неудавшуюся жизнь, я понял, что он уже неизлечим... С трудом с помощью шофёра такси мы отвезли 120-килограммового Андрея домой, причём жена долго отказывалась открыть дверь и принять его. Вскоре в ответ на один из моих звонков мне ответили, что он скончался, кажется – от передозировки.

Сколько талантливых, способных на многое молодых ребят не нашли себя, став жертвами формальной системы распределения. Иван Тищенко с лёгкостью осваивал любые языки, включая китайский. Однако эта его уникальная способность вряд ли востребована в сельской местности, где он работал.

Мне ещё предстоит вернуться к последнему году «моих университетов», но прежде, пожалуй, вставлю два очерка о своих жизненных эпизодах институтского периода, опубликованных в газетах.

"УЧИЛ ИДТИ ПО ЛЮДЯМ ОН" рассказ очевидца

*... Палачами стали друг для друга,
Позабыв о главных палачах...*

Е. Евтушенко

Для нашей семьи год 1953-й был, как и предыдущий, и последующий, нелёгким, но хотя бы в одном отношении переломным. Смерть "вождя" позволила моему отцу перестать скитаться по родственникам на периферии, где ему пришлось искать пристанище в предшествующие года три.

К весне 1953 года отец, уже тяжело больной лучевой болезнью, вынужден был вернуться в Москву, где я, студент третьего курса Московского института инженеров транспорта, записавшись на приём к министру, получил разрешение на госпитализацию отца в Яузскую железнодорожную больницу, к профессору И. А. Кассирскому. В это



*Академик И. А.
Кассирский, продливший
на несколько лет жизнь
отцу*

время продолжалась охота по поводу "дела врачей", фактически выходявшая далеко за рамки этого "дела", и мы ожидали всего в любое время. Ко всему был готов и сам профессор И. А. Кассирский, входивший в число консультантов советской властной элиты. Выдающийся гематолог и диагностик со временем станет академиком.

Тем не менее, смерть "вождя" 5 марта повергла в растерянность и ужас всю страну, и нас в том числе. Все, по "совковой", а может быть и не только совковой стадной ментальности были в шоке, а многие – что уж греха таить – и в горе. К исключениям относился мой отец, в любых ситуациях невоз-

мутимый и не теряющий самообладания, что не раз спасало его, в том числе в войну. При всеобщем вопросе: «что теперь будет?» – отец мог смело сказать: для него худшее уже произошло. Болезнь в то время была вообще неизлечимой, и всё, что мог сделать знаменитый профессор, – насколько возможно продлить отцу жизнь.

Мне, 20-летнему студенту института, носившего в то время имя Сталина, как и многим в Союзе, было, что и за что спросить с властей, только мы такие умные сейчас, а тогда – кто и что понимал из нас, даже из переживших многое. А я – что? Ну, закрыли перед нами, потенциальными «космополитами», двери медицинских институтов – пошёл в технический, всё равно прошёл. Угробили здоровью отцу, да ещё и больного вынудили на добровольную ссылку – ну так со многими было хуже: лагеря, туберкулёз и там же – смерть. Ну, "попёрли" меня из комсогов – опять же сам виноват: отказался собирать ребят и исключать из комсомола Эльду Гловацкую за узкие джинсы. Спасибо, что самого не исключили, а то ведь автоматически и из института могли. А могли и просто за анекдот. Так что – спасибо партии, спасибо вождю.

Был у нас в семье и свой "враг народа" – дядя Наум, работавший в органах, а потом "пропавший без вести" в магаданских лагерях. В нашей семье были уверены, что никакой он не "враг", тогда на слуху было у каждого: "Лес рубят – щепки летят".

Но, с другой стороны, отец, несмотря ни на что, напоминал, что в погромах от рук бандитов-черносотенцев погибли оба моих деда, рассказывал о черте оседлости и говорил, что только теперь его дети смогли, несмотря ни на что, получить высшее образование. Возможно, подчёркивая положительное, отец старался уберечь нас с сестрой от лишнего неосторожного слова, которого порой было достаточно. Но, скорее всего, он и думал так, взвешивая все "за" и "против".

Словом, когда уже 5 марта поползла молва, пока меж близких друзей, а 6-го официально объявили о кончине Его, все мы, студенты, как и вся страна, были в искренней скорби. Все вспоминали только то, чего страна добилась, прежде

всего – о победе в войне, и всё это по привычке ассоциировали с Его именем. Разве, и впрямь, не скажет Его злейший недруг Уинстон Черчилль: "Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомным оружием".

И изо дня в день все мы слышали подобное:

*С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт!*

И вот теперь – за кем? Все устремили взоры и помыслы к Москве, а мы, москвичи, бросились к нему, ища ответа.

Уже 6 марта к вечеру открылся доступ в Колонный зал Дома Союзов, пока ещё ограниченный. ? марта с утра объявили, что Комиссия по организации похорон во главе с Н.С. Хрущёвым назначила их на утро 9 марта.

7 марта утром, не представляя себе, как прощание с усопшим будет организовано, мы группой из нескольких студентов почему-то "вычислили" Трубную площадь, а может быть и кто подсказал – не помню. Сколько можно было, проехали трамваем, потом – пешком. Именно где-то на Трубной, как потом узнали, просачивавшиеся родники сливались в поток многочасовой очереди, и именно на Трубной, как потом шептали, давили насмерть и топтали людей.

Я, признаться, этого не видел. Наша компашка в толпу не вклинилась, а вдоль Бульварного кольца двинулась по внешнему тротуару в сторону Пушкинской площади. По дороге опрашивая себе подобных, пришли к логическому выводу, что скорее всего очередь должна неминуемо пройти по Пушкинской (ныне Большая Дмитровка) или Петровке. Значит, где-то между ними надо искать лазейку. Только – легко сказать...

По всей длине Бульварного кольца все улицы и дворы со стороны центра были наглухо перекрыты тяжёлыми грузовиками, где армейскими, где и самосвалами с песком и щебнем. Перед машинами и за ними – густые цепи милиции и солдат. Мороз был довольно крепкий, но мы как-то сгоряча его не очень замечали. На мне было довольно рыхлое пальтишко

и шапка-папах. Грубые ботинки с каким-то верхом из материала валенок, на толстых резиновых подошвах, с меховыми прокладками были тёплые, что спасёт пальцы моих ног от обморожения. Зато перемахивать через заборы в них было нелегко. Но вот вязаные перчатки были не из самых тёплых.

У въездов на Петровку и Пушкинскую буквально шла осада машин, непрерывная, не шумная, но жёсткая. Солдаты, стоя в кузовах машин, сбрасывали тех, кому удавалось



Похороны И. Сталина

прорваться сквозь "передний край обороны" на машины.. Мы рассудили, что нет смысла прорываться на эти улицы: позади машин было слишком много сил третьего эшелона. Нам впервые повезло, когда шумная многочисленная ватага попыталась прорваться в ворота одного из особняков. Солдаты бросились на помощь своим, и мы, приставив заранее припасённый ящик к забору, вчетвером успели перескочить, остальным не удалось. Мы тут же юркнули куда-то вглубь двора, преодолели ещё какой-то заборчик и оказались ,насколько помню, в Петровском проезде. В те послевоенные годы "задами" пробираться было куда легче, чем сейчас, но всё равно трудно.

Где подсаживая друг друга, где – подавая руку, мы каким-то образом постепенно добрались почти до театра Станиславского – театр Ромэн в этом здании поселится, кажется, позднее. Примерно напротив было здание музыкального театра. Здесь перебегать Пушкинскую не имело смысла: дальнейший путь преградил бы комплекс Госпрокуратуры.

Ещё несколько препятствий, в ходе преодоления которых мы "потеряли" ещё двоих, и вдвоём со Стасом мы всё-таки в Столешниковом. Ещё рывок через Пушкинскую, - и мы в той части Столешникова, откуда рукой подать до Театрального проезда, ныне вновь называемого Камергерским переулком. Прорываясь через Пушкинскую, видели толстую "змею" очереди, двигавшейся по правой её стороне ниже, но в неё проваться прямо с улицы было немыслимо.

Тут мы и со Стасом как-то разминулись: он, вслед за кем-то, двинулся в сторону улицы Горького, ныне Тверской, не слушая моего предупреждения, что там можно упереться в тылы МХАТа. Я предпочёл, вслед за двумя ребятами, подняться по пожарной лестнице на крышу какого-то невысокого дома и затем спуститься с другой его стороны. Холодные прутья лестницы обжигали руки даже через перчатки. Ещё манёвр – и я во дворе позади углового дома, где много лет размещался – сейчас не знаю - большой магазин канцелярских товаров. И вот здесь я попал в руки двух дюжих ментов.

Предвидя такую возможность, я заранее обдумал, что мне сказать. В конце Театрального проезда, где он продолжается улицей Кузнецкий мост, дом на углу Петровки известен мозаикой самого Врубеля на фасаде. В этом доме жила уважаемая семья, с которой мама дружила с эвакуации. Две престарелые женщины, в революцию ещё молоденькими приехавшие ей на помощь из США, были персональными пенсионерками, у них всегда были дефицитные лекарства, за которыми мама меня якобы и послала к ним. Я назвал адрес: Кузнецкий мост 3. Назвал квартиру, телефон – всё это было у меня в записной книжке.

Менты, естественно, не очень поверили, но всё же, очевидно, решили, что у меня хоть какое-то алиби есть, а так как всё новые осаждавшие вылезали из подворотен, окон и дверей, они отпустили меня, предупредив, что всё равно к дому друзей мне через Пушкинскую никак не "перескочить".

И вот я на углу Театрального проезда и Пушкинской улицы, по которой, на этом её участке, медленно движется очередь в сторону Дома Союзов. Но она отсечена от Театрального про-

езда стоящими вплотную друг к другу армейскими грузовиками – всё так же, как на Цветном бульваре, только здесь и солдат гораздо больше по обе стороны машин и на машинах, и осада идёт непрерывно и куда более ожесточённо. Разгорячённые, буквально озверевшие солдаты безжалостно ведут рукопашный бой, отбрасывая от машин осаждающих и сбрасывая тех, кому удалось подняться на подножку кабины или на колесо. Я тоже попытался вскочить на подножку, но, сброшенный на гранитную замороженную и обледенелую брусчатку мостовой, больно ударившись, по счастью, догадался заползти под машину, иначе рисковал быть затоптанным сражающимися. Дело было не только в опасности для жизни и здоровья, а, что не менее важно, в том унижении для меня и всех "действующих лиц" – зверски растоптать человека на похоронах. Унижение у меня всегда сопоставимо со смертью. Тогда я себе представить не мог, что, может быть, именно в это время где-то неподалеку происходит подобное.

Под машиной все вакансии были заняты, так что мне пришлось буквально втиснуться между замерзающими на льду и брусчатке, отполированных нашими телами. Не менее получаса я, вконец окоченевший, пролежал под машиной, не имея возможности ни продвинуться вперёд, к очереди, ни вылезти назад, чтобы не растоптали. Наконец, впереди лежащему то ли удалось выскочить в очередь, то ли его выволокли из-под машины солдаты. Во всяком случае, я тут же поспешил «заполнить вакуум» и оказался на "передовой позиции", видя перед собой сапоги плотной шеренги солдат и за ними – ноги счастливых в очереди. Иногда солдаты нагибались, пытаясь схватить и вытащить из-под машины высовывающихся, а то и просто ударить сапогом – поэтому мы под машиной были настороже и не приближались к краю.

В своём хилом пальтишке и перчатках я бы, возможно, вообще плохо кончил, но мне повезло: кому-то в очереди стало плохо, солдатские сапоги перед нами углубились на минуту в толпу, - и я и кто-то ещё рядом успели выскочить из-под машины и "затесаться" в очереди. Люди в очереди помогали нам, тут же протолкнув нас вперёд, подальше от места "про-



Композитор Сергей Прокофьев

рыва". Да и сами солдатики в цепи не стали нас ловить. Тут же кто-то дал мне кусок хлеба – чая ни у кого в термосах не осталось, да и далеко не все принесли с собой. Очевидно, меня уже начало лихорадить и вид был соответствующий – кто-то растёр мне закочевшие пальцы.

Остававшееся расстояние в несколько сот метров до Колонного зала мы в очереди "преодолевали", наверное, не меньше часа, а скорей всего – дольше. Я после всех "подвигов" и переохлаждения на ледяной

брусчатке под машиной, а ещё и не евший с утра - не считая куска хлеба в очереди – был в каком-то полусонном состоянии, плохо воспринимая разговоры окружающих. Помню только, что говорили о достоинствах усопшего, и ещё я, неотёсанный студент-"технар", в этой скорбной очереди узнал от кого-то о том, что здание Колонного зала проектировал великий архитектор Казаков. Вряд ли, подумалось, зодчий в то время даже в кошмарном сне мог представить, что его творение будет служить, помимо основного назначения, для отпевания сильных мира сего.

И ещё в очереди я узнал о смерти выдающегося композитора Сергея Прокофьева того же 5 марта, но для этого сообщения в газетах нашлось место только на последних страницах: все газеты практически целиком были отданы траурным статьям, стихам, интервью только на одну тему.

И вот мы, наконец, у входа в Колонный зал. Кто-то подталкивает меня, и, догадавшись, я снимаю свою папаху. Траурная музыка сразу настраивает на скорбь. В этом зале я бывал де-

сятки раз, начиная с детских лет, по разным праздничным поводам и на классических концертах. Сейчас его трудно было узнать: величественные колонны и уникальная люстра задрапированы красным и чёрным. Но всё это воспринималось как фон. Глаза невольно искали и затем уже неотрывно смотрели на человека в гробу, вознесённом так, что видели только профиль лица, куда более полного, чем привыкли видеть на портретах. Маршальская форма, подушечки с орденами, и цветы, цветы – это всё, что запомнилось. Помню – стоял почётный караул, охрана. Но совершенно не помню, кто был в это время в почётном карауле. Непосредственно у гроба были две женщины, кто – не знаю: в те годы мы по многочисленным портретам знали вождей, но не их родственников. Да и вглядывались мы все в одно лицо.

В зале никто очередь не подгонял, но плотной она здесь не была. Хотя и соблюдая подобающий темп, прошли мы сравнительно быстро. В очереди были сдержанные всхлипы и стоны, но рыданий не слышал, а может быть – состояние было такое, что не воспринимал.

Но вот и выход. Поток выходящих направляется верёвочным ограждением и более редкими шеренгами солдат. И вдруг я обнаружил, что наш поток параллелен на каком-то небольшом участке очереди входящих, отделённый верёвками и солдатами, в основном стоящими лицом к входящим. Несмотря на то, что меня уже к этому времени трясла, всё усиливаясь, дрожь, а эйфория от успеха операции прошла ещё в очереди, - как в 20 лет не воспользоваться возможностью ещё раз самоутвердиться. Ещё после первого успеха поняв, что солдатам в цепи приказано лично не преследовать нарушителей – для этого был "второй эшелон", а его в этом месте не было, - я поднырнул под верёвку, не коснувшись солдат в шеренге, и оказался в очереди почти у входа. И хотя в этот раз я не был принят так доброжелательно и заботливо, скорее наоборот, но мысли людей уже были устремлены к предстоящему видению, и меня не "сдали", хотя это было бы справедливо.

Таким образом, я дважды имел "счастье" проститься с

"вождём", на зависть моим друзьям и однокурсникам, и не пытавшимся (а, может быть, и не стремившимся, но таких тогда было мало) отдать последние почести всеобщему в то время кумиру. Во второй раз я попытался более внимательно обозреть зал, запечатлеть в памяти какие-то детали, но память мало что сохранила, да и прошло уже более полувека. Запомнилось только, что на смену караулу штатских встали военные, сплошь с широкими маршальскими погонами – вот и всё.



Поэт Евгений Евтушенко

По обозначенному милицией коридору для "отдавших долг" дошёл до метро "Площадь революции" и, пытаясь согреться, бегом сбежал по эскалатору на станцию. Пока добрался до своего дома, чувствовал, что ломает всё больше. Две недели после этих горе-приключений провёл я в постели с температурой за 39 градусов с диагнозом: "Воспаление лёгких". Выкарабкался благодаря молодости и антибиотикам, полученным от тех самых старушек-американок из дома с мозаикой Врубеля на Кузнецком мосту.

До похорон и ещё несколько дней после газеты со страницами целиком в траурных рамках были полны прощальных статей и стихов. В то время они, декларативные и большей частью не глубокие, воспринимались нами чистосердечно. Мне, например, запомнилось написанное Львом Ошаниным:

*Когда мы возле гроба проходили,
В последний раз прощаясь молча с ним,
Мы вспоминали о великой силе
Того, кто тих сейчас и недвижим...*

Далее – так же поверхностно, привычными клише. Даже у мастеров – в таком же духе, потому что за долгие годы культа выработались стереотипы, которые нарушать было не-

безопасно, да и жизнь Его была за семью замками даже для культурной элиты, рассказать ей было нечего.

Выходя из Колонного зала, да и ещё длительное время после этого тяжёлого во всех отношениях дня, я, конечно, не знал о жертвах в давке людей, о чём так сочно напишет Е. Евтушенко:

*На этой Трубной, пенящейся, страшной,
Где стиснули людей грузовики,
За жизнь дрались, как будто в рукопашной,
И под ногами гибли старики.*

Сейчас, более чем через полвека после недоброй памяти похорон "вождя", я, вспоминая это событие, думаю, что, с одной стороны, знай я заранее, какие унижительные перипетии и жертвы предстоят москвичам и мне в том числе, вряд ли бы, как и многие, принял участие в этом памятном для истории событии. А с другой стороны - не надо стыдиться своих поступков, соответствующих конкретному состоянию истории и общества. Тем более, что был живым свидетелем одного из кульминационных моментов, знаковых событий, о котором трудно сказать лучше того же Е. Евтушенко:

*Напраслиной вождя не обессудим,
Но суд произошёл в день похорон,
Когда шли люди к Сталину по людям,
А их учил идти по людям он.*

В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ

1953 год – один из важных в истории российского еврейства. За полвека до этого евреи России начали массовую эмиграцию из-за черты оседлости и за океан, и за Урал. Первая мировая, революция и НЭП позволили сотням тысяч евреев расселиться по центральным её областям. Катастрофа Второй мировой, насильственное переселение 1939-40 годов и эвакуация 1941 года рассеяли сотни тысяч наших соплеменников по восточным и южным районам Советского Союза. «Борьба с космополитизмом» и "дело врачей" явились под-

готовкой к планировавшейся «вождём» новой концентрации евреев на Дальнем Востоке, альтернативной молодому ближневосточному государству. «Вождь» не успел. Так и остались многие евреи в российской глубинке.

После смерти "вождя" в марте 1953-го отец смог вернуться, но в полную силу уже не мог работать. Как я уже писал, мне, студенту, приходилось подрабатывать, где только можно: родители и слышать не хотели о моём желании перевестись на вечернее отделение и пойти работать. Летом, в свободное от учёбы и военных лагерей время, я, с разрешения деканата, устраивался на работу взамен летней практики студента факультета мостов Института инженеров транспорта. А то и в дополнение к ней.

Вот и летом 1953 года я поехал в Челябинскую область, в посёлок угольщиков Бреды, где находился крупный мостопоезд, строивший мосты на близлежащих участках дорог. Поехал по приглашению двоюродного брата Иосифа Одина, возглавлявшего в мостопоезде проектную группу. По его стопам я и поступил в МИИТ.

В дорогу меня пригрузили до предела. С продуктами в стране было трудно вообще, а в южном Зауралье – тем более. И в Москве было не густо, но всё-таки. Стремясь после смерти «вождя» показать народу, что "руль – в надёжных ру-



Челябинск

ках", власти и провели амнистию, и прекратили "дело врачей", и слегка пополнили пустующие прилавки. Но не в российской глухомани. В общем, вёз я консервы, рис, гречку и для брата, и себе, и незнакомым мне людям по ходу поезда – от родственников. Вёз, конечно, и пару «пузырьков», как это принято на Руси.

После двухдневного пути в купированном вагоне, по положенному студенту МИИТа бесплатному билету, выхожу на перрон закопчённого Челябинска, показавшегося мне хмурым, сырым, серым во всех смыслах. Меня встретил на вокзале один из тех, кому я вёз посылку. Леонид, лет тридцати пяти, радушно предложил мне проехаться с ним в машине по Челябинску – ему написали родственники, что у меня будет несколько часов до пересадки. "Москвич" первой модели, трофейная копия "Опеля", из гаража завода-гиганта, где он работал, провёз нас по нескольким центральным улицам – больше смотреть было нечего. Огромный город вырос, как на дрожжах, во время войны за счёт эвакуированных. Немало было заводов с Украины, а с ними – и еврейских семей.

Многие, как и семья Леонида, после войны так и остались в Челябинске. В войну в Кременчуге дом их сгорел, все остававшиеся родные погибли в гетто и лагерях. А здесь отцу Леонида, которого по возрасту на фронт не взяли, пришлось зимой 1941-42 буквально на морозе пускать эвакуированный завод, и в одном из первых двухэтажных бревенчатых домов ему дали небольшую квартирку. Но заслуги отца были забыты в период травли, и он, не дожидаясь худшего, ушёл на пенсию, а мог бы ещё принести немалую пользу.

Леонид, тяжело раненный в конце 1943-го - он сильно хромотал, - после госпиталя приехал к родителям в Челябинск, окончил политехнический институт и работал на заводе, но не на том, где работал отец. В моде было обвинение в семейственности, династии могли быть только рабочие. И уж, во всяком случае, не среди Фельдманов, которых, между прочим, среди инженеров было немало. А в этом промышленном районе, пятом по мощности в Союзе, - тем более. По словам Леонида, в закрытых городках вокруг Челябинска тоже рабо-

тали "наши", в том числе брат Леонида, кандидат наук. Много было среди врачей, а вот учителю устроиться было непросто, и жена Леонида, школьный преподаватель, работала в ремесленном училище под дамокловым мечом увольнения.

Закрытие "дела врачей" воодушевило отца Леонида. Пенсионер стал активистом еврейской общины, полулегально возрождавшейся после преследований 1949-53 годов. В то время это было ещё не безопасно, тем более – для члена партии. Благодаря таким "старикам», поддерживавшим гаснущую свечу, сейчас в миллионном городе синагоги, культурный центр.

После вкусного обеда Леонид, отвозя меня к поезду, подробно расспросил о том, как там Москва "без самого". В Челябинске, как и по всей стране, по-прежнему висели его портреты и стояли бюсты "вождя" в кабинетах чиновников.

С куда меньшим комфортом доезжаю до станции с тоским названием Бреды. Брат меня встретил тепло, поселил в своей просторной комнате, которую для него снимал мостопоезд вблизи конторы. После традиционного тоста "за встречу" с лёгкой закуской Иосиф повёл меня к главному инженеру.

- Наш получеловек – охарактеризовал он по дороге главного и пояснил: - Во-первых, полукровка, "наш" по маме. А во-вторых, из кожи вон старается, чтобы ему об этом не напоминали, хотя внешне на нём написано. Специалист хороший в своём деле, но в человеческие проблемы не вникает, этим занимается зам., которого все зовут "политруком"

Лишь как раз к тому времени транспорт, находившийся в войну и первые годы после неё на военном положении, был как бы "демобилизирован". Так что прозвищу "политрук" я не удивился. Не снял ещё погоны и комсостав мостопоезда, и мой брат.

Главный инженер по-военному чётко задал несколько вопросов и подписал подготовленный приказ о моём зачислении старшим техником в отдел брата. По обращению "Иосиф Моисеевич" я понял, что его главный уважает и что, возможно, в отношении "получеловека" брат не совсем прав.

В тот же день я сел за чертёжную доску проектировать временный мост. В отделе меня приняли хорошо. Куда бы москвич ни приезжал, традиционно встречали вопросами, как будто он "приближённый Его партийно-императорского величества". В этом году – тем более: страна жила ожиданием политических перемен, в советской прессе закулисная возня была завуалирована, и люди надеялись услышать хоть что-то от "очевидца".

Брата уважали как руководителя, инженера и фронтовика – пулемётчика, неоднократно раненного. Но, при его "типичной" внешности, Иосифу, в этом пьяном городке и в этом рабочем коллективе на колёсах, не раз приходилось слышать в адреса свой и своего народа привычные, как мат, шаблоны. А может быть – и угрозы. Слишком мало времени прошло после смерти "великого антикосмополита", и в народе ещё продолжало расходиться кругами: "Ату их!". Поэтому в комнате Иосифа у двери стоял тяжёлый арматурный прут, "на всякий случай", как сказал он. Дверь закрывалась изнутри на засов.

На следующий день после приезда меня вызвал "политрук" и, не скрывая, что ему надо "провести мероприятие", попросил рассказать вечером в клубе, как Москва прощалась с товарищем Сталиным. Я отметил про себя, что ранее неременных эпитетов, вроде "дорогой", уже не было. Когда "политрук" узнал, что я сам был и "участником событий", и жертвой, так как переохладился и долго болел воспалением лёгких, он попросил рассказать подробнее, но не упоминать о жестоких рукопашных при прорывах в очередь к Колонному залу.

Вечером в клубе – огромном деревянном, со стенами из дощатых щитов - я выступил перед "рабочей аудиторией" человек в сто, после чего, как положено, начались танцы под аккордеон. Я уж было собрался идти домой, как обещал брату, но "политрук" подвёл ко мне симпатичную молодую девушку и предложил потанцевать. Ну кто же в 20 лет сбежит с такого "поля боя"? Всё-таки оговорившись, что меня ждёт брат, я взял девушку за талию – и, конечно, тут же забыл о своём обещании Иосифу.

Во-первых, Аня была красива в своей простенькой кофточке. Во-вторых, удивительно было встретить среди этих резких рабочих ребят и девчат такую мягкую, плавную в движениях девушку, тонко чувствующую музыку и партнёра по танцу. Оказалось, что никто её танцам не учил, и вообще – Аня была сиротой. Ей было всего лет семь во время войны, когда умерла мама, еврейская беженка из Польши, и Аннушку взяла к себе из сострадания одна женщина, даже не поинтересовавшаяся документами умершей – знали только, как девочку зовут и что на польском она лучше говорит, чем на русском. Я мысленно поблагодарил "политрука" за то, что он, конечно же умышленно, познакомил меня с этой милой девушкой. Только чем я, простой студент, приехавший на заработки, чтобы помочь семье, мог быть ей полезен?

Когда девочка пошла в школу, её записали Аней Волощук – по фамилии приёмной матери. Года два назад новая мама встретила друга жизни. Надежды на возвращение мужа с войны не оставалось, и она уехала к новому другу в Омск. Аннушка, только что получившая паспорт, в Омск ехать отказалась: новый "папа" слишком плотоядно на неё поглядывал,

а маме она желала только хорошего. Аня осталась в мостопоезде простой рабочей, жила в общежитии и училась в вечерней школе, в восьмом классе.

Танцы были в разгаре, когда появился симпатичный парень, в фирменных джинсах, которые и в Москве-то были далеко не у каждого и не рекомендовались, мягко говоря, комсомолом. Парень прошёл к компашке ребят в углу. Едва увидев его, Аня заторопилась домой. Я, ко-



Михаил Ринский в 1950-х годах

нечно, пошёл её провожать, несмотря на её предупреждение: "Смотри не пожалей". По неопытности я не среагировал на эти слова и мог бы поплатиться за это. К этому я ещё вернусь.

Деревянный барак женского общежития внешне напоминал клуб, но был поприземистей. В огромном зале с рядом колонн посередине в два ряда, вдоль наружных стен, стояли, торцами к стенам, вместо кроватей высокие лежаки, напоминающие пляжные, одинаково аккуратно застеленные, и между ними – тумбочки. А в середине стояли в два ряда самодельные шкафы, образуя коридор с проходами к лежанкам. Кроме туалетов и душевых в торцах барака, комнаты дежурной и кладовой, никаких помещений больше не было. В каждом ряду у стен было, пожалуй, не менее тридцати лежаков.

Зал был почти пуст, лишь на нескольких "кроватях" лежали в основном женщины постарше. На одном из лежаков рядом с девушкой, под общим одеялом, спал парень. Как я узнал позднее, здесь это было, как само собой. Аня сразу направилась к своему лежаку, сняла и повесила в шкаф кофточку, оставшись в полупрозрачной белой блузочке и став ещё соблазнительней. Я сел с ней рядом, и – где мне знать здешние обычаи? Потом я понял, что, возможно, от меня требовалась большая смелость...

Вернувшись поздно, я смиренно выслушал выговор Иосифа, а затем с интересом – его лекцию о нравах и обычаях "аборигенов". Узнал я также, кто такой этот красивый пришелец в джинсах, и понял, что, возможно, нам ещё предстоит встреча, но она откладывается из-за того, что парень должен был в тот же вечер уехать на один из строящихся мостов, где работал бригадиром.

Следующим утром я работал над проектом, когда секретарь, неслышно приоткрыв дверь и поманив меня в коридор, провела меня в кабинет главного инженера, где уже сидел "политрук". Энергичный главный сразу перешёл на "ты":

- Мы Иосифа Одина очень уважаем, но мы знаем, что он скорее всего будет против, поэтому решили начать с тебя. У нас сложное положение на одном небольшом, но сложном и

важном объекте. На магистральной линии в сильные дожди - опасность аварии. Надо срочно рядом соорудить небольшой мост взамен существующего. Там – болото, технику не загнишь, придётся забивать сваи вручную. Работает одна бригада, но нужна вторая смена. Кадров не хватает. Приехали на практику несколько иностранных студентов из Новосибирского транспортного военизированного института – НИВИТа. Есть и наши. Тебе сколько у нас положили? Получишь вдвое, плюс бригадирские, плюс командировочные.

- Но должны предупредить, - продолжил "политрук," – что работающая там бригада – из бывших ЗК - заключённых. Возглавляет её Валерий Сыч, одесский рецидивист. С ним – одно из двух: или дружить, или не жить.

Передо мной всплыло лицо угасающего отца, бледное от лейкоза. Деньги семье нужны были позарез. Насколько серьёзна опасность конфликта с рецидивистом, я плохо представлял, хотя помнил похороны Гены Селезнёва, моего соседа, сброшенного дружками с электрички лишь за то, что "завязал".



Иосиф Один, инженер-мостовик

Да и хотелось попробовать себя на физической работе, тем более – лестно было сразу стать бригадиром, к тому же ещё и над студентами – иностранцами. По восемь часов забивать сваи вручную – тут скорей, чем сила, нужна выносливость, а её мне, стайеру, не занимать.

Я в принципе согласился, но сказал, что окончательное решение – за братом: он меня сюда пригласил, полагает себя ответственным, обижать его не имею права, а человек он

осторожный. С Иосифом говорил сам главный, и неожиданно убеждать не пришлось: знал брат, какое в семье положение, а риск с Валерой, считал Иосиф, оправдан тем жизненным опытом, который могу приобрести.

- А как же на фронте – рисковали каждый день, и бандиты свои же были, - сказал брат.

В организационных вопросах прошли и день, и вечер – так Аннушку я и не повидал. На следующее утро мы были уже в дороге. Со мной ехали два венгра и один румын – студенты НИВИТа – и ещё три парня – сибиряка. Ехали в плацкартном вагоне. Выдали нам денежный аванс, снабдили тюками с постельным бельём, дали рабочие грубые кирзовые, но удобные ботинки, брезентовые куртки и плащи с капюшонами, по две пары рукавиц. Брат сказал, что не будь у нас в бригаде иностранных студентов, нас бы экипировали попроще. Всё пригodiлось.

Лишь к вечеру были на месте – такие вот российские расстояния. У поезда на станции нас встретил мастер Петрович, в ведении которого было несколько объектов вдоль линии. Он сразу отвёз нас на заранее снятые квартиры: меня с тремя иностранцами – в один дом, а троих сибиряков – в другой, шестой дом от нашего, где их ждал Николай, привезённый Петровичем, опытный, но уж больно простой. Итак, в бригаде моей – две четвёрки, как и требовалось.

Молодые, здоровые, мы на особые условия не претендовали. Большая горница, четыре кровати, вешалка на стене, три табуретки, небольшой столик, ведро воды, кувшин и кружки – вот и всё. Квартиру оплачивал мостопоезд, еду – мы сами. Хозяева – пожилая пара – поставили кастрюлю со щами, крынку молока, каравай хлеба, миску с огурцами и чайник, заваренный каким-то ароматным настоем.

Не успели помыться с дороги по пояс у колодца и поесть, как явились под каким-то предлогом местные девчата – поглазеть на новичков, да ещё и иностранцев. Позади дома весь участок был занят огородом, оставался палисадник перед домом с традиционным врытым столом и двумя скамьями. В соседнем палисаднике за таким же столом режутся в

карты трое патлатых парней, мускулистых, в одних майках в прохладный вечер. Татуировки на груди и спине. Я понял, что ребята – из бригады первой смены. На нас – ноль внимания, дескать, представьтесь первыми. Не вставая, пожали наши протянутые руки. Ясно было, что знают уже и о нашем приезде, и о нас. Бригадир Валера жил от них через двор ещё с одним из своих, рядом с его двором – ещё трое. Всего тоже восемь в бригаде.

Ещё подходя к дому, я узнал в парне, вышедшем на крыльцо, того самого красавца в джинсах, который появился тогда в клубе, и если тогда поспешный уход Аннушки я не связал с его появлением, то сейчас вдруг сразу понял и ассоциировал с ним предостережения и её, и брата, и "политрука".

- Это ты, что ли, Михайло? – обратился он сразу ко мне. В отличие от Валеры, выделявшегося одеждой среди своих, я был одет скромней своих венгерских сподвижников, на которых были тенниски явно европейского покроя. Румын, правда, ничем не выделялся, разве что своей долговязой фигурой. Сам я был в ситцевой рубашке в клетку – сразу три таких мне сшила тётка, на покупку готовых у нас денег не было. На мне были парусиновые брюки и сандалии.

- Фамилия Ринский, говоришь? – он "и" произносил, как "ы" и смягчал "ш". - Уж не из наших ли краёв папа с мамой? Чигирин – это не Одесса. Но и Одесса – не Москва. Меньше, но лучше, – и сам засмеялся. – Вот угостить вас нечем, поэтому у нас в бригаде завтра – санитарный день. Так что завтра выходите в первую смену, к шести, - заключил Валера будничным тоном, как будто вопрос времени работы моей бригады входил в его компетенцию.

Я не понял, что у них за "санитарный день", и почему он решает за Петровича, но вопросов задавать не стал. Отдал ему пакет с письмами и какими-то документами для него и его ребят.

- Пузырёк за доставку, - схохмил я и, не дожидаясь его реакции, пошёл со своими к дому второй половины нашей бригады. В своём обращении с бывшим зэком я подражал моему покойному соседу-вору Гене Селезнёву. Шёл я и чувствовал

спиной, что оставшиеся смотрят нам вслед и, очевидно, что-то обсуждают. Но мы ушли, не оглядываясь.

"Сибирская" половина устроилась примерно как и мы. Видно было, что местные рады возможности заработать, сдавая нам комнаты. К нашему приходу у "сибиряков" уже был полный контакт с девушками. Подошедший сюда же Петрович подтвердил "распоряжение" Валеры – выходить нам в первую смену.

В пять утра нас уже ждал завтрак: хозяева вставали за-светло. Петрович повёл нас на объект, километрах в полутора от станции. Всё было просто: наша задача состояла в забивке свай вручную. Деревянные круглые, тщательно очищенные, заострённые и чем-то смолистым пропитанные сваи метров по пять длиной лежали штабелями крест-накрест. Места забивки свай геодезисты поместили колышками. Две наших группы - по четыре человека в каждой: одна – я с иностранцами, вторая – сибиряки, во главе с опытным Николаем.

Забивали каждую сваю вчетвером тяжёлыми толстыми, диаметром до метра и длиной сантиметров семьдесят, спилами брёвен. С каждой из четырёх сторон были приделаны по две длинные вертикальные ручки, за которые мы вчетвером поднимали "бабу" и с силой ударяли по торцу сваи. Работа была тяжёлая, наши голые до пояса тела лоснились от пота на солнце.

Когда три очередные шпалы только начинали забивать, прежде выкладывали из старых шпал так называемую "шпальную клетку" высотой метра четыре, на которой стояли. По мере забивки верхние шпалы снимали так, чтобы верх свай был где-то на уровне пояса.

Ребята у нас оказались сильные и выносливые. Дело пошло. Чтобы подбодрить ребят, да и себя, я стал напевать в такт нашим ударам, к примеру, "Эх, ухнем!" , только у меня, конечно, голос был не шалопинский. Почин подхватила вторая четвёрка, стали ударять в такт с нами. "Волга, Волга, мать-река..." – венгры и румын быстро выучили слова. Пели негромко, чтобы не сбить дыхание, но дружно. Не щедрый на похвалы, но улыбающийся Петрович в конце работы оценил:

- Нормально. "План" ещё не сработали, но для начала – ничего.

Вечером с непривычки болело всё тело, но – молодость! – все вышли на пристанционную площадь, на танцы под баян. С удовольствием и бескорыстно играл парень – инвалид войны. Ещё раньше от Петровича я узнал, что бригада Валеры в полном составе "отчалила" для "пополнения запасов" в Челябинск. Такие «санитарные дни», как выразился Валера, бывали один, а то и два раза в месяц, обычно после скромного аванса: до полочки не хватало. Как в Челябинске добывались деньги, нетрудно было догадаться, и назад обычно "валеровцы" возвращались, ящиками привозя спиртное и продовольствие в солидном количестве. Пропущенные рабочие дни компенсировали, работая как звери. Петрович, при негласном попустительстве руководства, прощал им эти "шалости".

Иногда, подстраховывая себя на случай очередного вмешательства милиции, "политрук" вызывал в контору Валеру, как это было в день, когда он появился в клубе. Но дело ограничивалось подписью под очередным предупреждением после очередного милицейского письма. Но "по крупному" – пока всё было нормально: опытные ребята Валеры умели "вовремя смыться", а официальный статус пролетариев был лучшей "крышей" в то время.

От местной общественности на привокзальной площади мы волей-неволей узнали, что и здесь "валеровцы" успели завоевать себе нелестную славу, провоцируя немногочисленных местных парней на стычки, соблазняя девчат и угрожая непокорным. Местные ребята уезжали на работу в Челябинск и в "почтовые ящики" – закрытые городки, после армии многие уже не возвращались, так что их здесь оставалось не так много. У девушек, часто привязанных к родительскому дому, выбор был невелик: "Пусть бы пил, да лишь бы был".

Вот и правили бал "валеровцы" и сам Валера на привокзальной площади. Тем более – и подарки у них бывали соблазнительные, известно откуда. Но "по крупному" пока скандалов в посёлке из-за них не было: Валера удивительно

вовремя амортизировал назревающие серьёзные разборки, в том числе договариваясь и с местными милицейскими, которые за недели две уже стали его друзьями. В чём мы вскоре убедились.

Как и предвидел Петрович, прогульщики приехали дня через три, да не поездом, а в каком-то нанятом ими служебном автобусе. Когда мы пришли с работы, у меня на столике в комнате стояло два "пузырька" и два батона копчёной колбасы. Отказ от презента или предложение денег были бы кровной обидой. Оставалось предложить собраться вместе – "познакомиться". В тот же вечер собрались во дворе наших "сибиряков", расположенном подальше от станции, да и стол во дворе там был побольше. Мы к двум дарённым добавили ещё две, но "валеровцы" тоже пришли не с пустыми руками. После первых стаканов языки развязались, а к концу, наоборот, как говорится, "лыка не вязали" многие. Навеселе был и Валера. В основном тон задавали "валеровцы" рассказами о своих приключениях: кто попал за что и почему. Расспрашивали венгров о Европе, румына – меньше: та же Молдавия, соседка Одессы, всё ясно. Венгры да чехи – самые "продвинутые" из "наших", не считая немцев. Потом – анекдоты, блатные песни. Но не могло же быть всё хорошо.

И вот уже выясняется, что один из наших сибиряков, Шурик, оказывается, провёл вечер, а может быть и более того, с одной девицей: "клюнул" на танцах на её вызывающую красоту. Она ему не сказала, что "повязана" с Вовиком из "валеровцев". И вот, когда речь зашла о местных девочках и Шурик, ничего не подозревая, начал описывать интимные подробности той самой Леночки, Вовик неожиданно вскочил, и в его руке мелькнула складная опасная бритва, которую он ловко извлёк из кармана и на ходу открывал, занося руку над Шуриком. Спас венгр Иштван, сидевший рядом с Шуриком. Так же молниеносно, как занёс бритву Вовик, Иштван ударил его по руке и выбил бритву, отлетевшую метра на три. Спортивная реакция и сноровка взяла верх над сноровкой воровской. "Полундра!" – заорал кто-то из "валеровцев", но осёкся на полуслове: " – Цыц!" мощно выкрикнул Валера и ловко

перескочил через стол, оказавшись рядом с Вовиком.

- Ты за Вовика знал? – Шурик тупо смотрел на него:

- Это кто такой?

- Ну вот! Так что, Вовик, ты с этой б...ю лучше разберись. А ты – молодец! – повернулся он к Иштвану, - Быстрый! За союзников!

Утром "валеровцы" вышли в первую смену, как ни в чём не бывало. Я пришёл на смену раньше – посмотреть на их работу. Они не пели, как мы, но ритм у них был чуть выше нашего и удары – сильнее, с какой-то жестокостью. Интересно было смотреть на их татуированные спины: лопатки то сходились, то расходились, и на двух лопатках то целовались пары, то сходились в более вульгарных позах. У Валеры татуировка была в меньшем количестве, но со вкусом.

Вечером, когда мы уже довольно поздно пришли со второй смены, хозяин рассказал нам о "наказании" девушки – причины вчерашней стычки. Той же, выбитой у него из рук опасной бритвой Вовик так тонко, ювелирно полоснул по лбу и щекам "изменницы", что хотя и была кровь, но уже дня через три порезы были чуть заметны. Вовика тут же арестовали, но тем же вечером выпустили: Валерик сумел договориться, а предлог – нечем заменить на работе. Ну а через три дня пострадавшая пришла в милицию с просьбой закрыть дело – мол, сама виновата. Столь же ювелирную "работу" бритвой продемонстрировал и сам Валерик, но уже на горле местного верзилы – просто так, для острастки. И тоже – никаких следов и никаких последствий.

После забивки свай были



*Леонид Рынский в 1950-х годах,
в период службы в морфлоте*

другие, по-своему тяжёлые работы. И вот пора нам, студентам, уезжать. Перед этим "валеровцы" съездили в тот же Челябинск, потом все мы как раз перед отъездом получили аванс, и прощались мы по-доброму, хотя за месяц – всякое бывало между подвыпившими ребятами на танцплощадке. В конце нашей совместной "трапезы" Валерик отозвал меня и начал с того, что обо мне знает всё: и про мой "пятый пункт", и про то, что мне позарез надо было заработать, и поэтому я здесь.

- Из меня там, в конторе, пугало сделали, никто не хочет на смену твоим ехать". В память моей мамы – и он обнажил бицепс, где был выколот профиль молодой женщины. - Симы Манусовны, а фамилию – не скажу.

Валере – тогда он бы ещё Вилем - было восемь, когда пришлось семье бежать из Западной Украины, тогда польской. Но в 39-м туда пришли не немцы, а Красная армия. Отца, отказавшегося от советского гражданства, отправили в Заполярье, и уже в 40-м пришло письмо на польском от его сокамерника, что отец скончался от пневмонии. Мама поверила, потому что у отца был туберкулёз. Вместе с семьёй дяди, брата матери, приняв советское гражданство, оказались в Одессе, благодаря письму дальних родственников, а то бы отправили куда-нибудь на поселение. Но в 40-м дядю, когда-то воевавшего в польской армии против Красной армии, взяли, и – "концы в воду". Женщины с детьми остались без определённой работы. Голодный Виль, вместо школы, шёл в порт, рылся в овощных отбросах. Там познакомился со сверстниками, втянулся в бравую "компашку" некоего "туза".

Когда началась война, растерянная, беззащитная Сима не знала, как поступить и к кому обращаться. Так и затянула с отъездом до блокады Одессы. На старую посудину, вывозившую беженцев, она не села, потому что не хотела оставлять сына, пропадавшего в порту. А Виль, в полной уверенности, что мать догадается прийти к посадке и найти его здесь, ловко проник на корабль без документов. До сих пор он не мог себе простить смерть матери, отправленной фашистами в лагерь.

Потом были скитания по российским голодным военным городам, колония для несовершеннолетних преступников, а затем – по более серьёзным делам уже лагеря для совершеннолетних. И за кровь – тоже, но "греха на мне нет", - подвёл итог Валера. Имя и фамилия теперь – с чужого паспорта.

- Ну а как же в баньке - кореши не засекли твоё происхождение?

- А у меня какой-то непорядок там был, воспаление какое-то, брыз отложили, а потом мой отец – он был из "левых" – не то чтобы тянул, но не придавал значения этому, а маме меня жалко было.

- Дальше-то как жить будешь, Валер? "Как верёвочка ни веяся, а конец – один".

- Есть одна задумка. Анечку ты знаешь – молчи, я ведь всё знаю. Ты тут не при чём, ну а она ничем мне не обязана. Только тогда нам с ней уехать придётся, от всех моих подельников подальше. Смогу ли я "завязать" так туго, чтоб ни её, ни детишек несчастными не сделать?

Вернувшись в контору в Бреды, я, оформив документы и получив не виданные мною до этого деньги, укатил в Москву. Не скрою: уезжал с чувством удовлетворения от того, что проверил себя, во-первых, на конструкторской работе, но главное – на тяжёлой физической работе рабочего-мостовика, к тому же ещё бригадира не простой, а интернациональной бригады. Немало мне дало и общение с бывшими ЗК – всего через два года мне, молодому специалисту, предстоит быть мастером-мостовиком, и в моём подчинении будет бригада маститых, уже не молодых бывших заключённых.

Аннушку не видел: мне уезжать, а ей оставаться и уж точно не избежать молвы, которая стольким людям испортила жизнь. Как знать, может быть судьба свела эти такие разные, но родственные души, детьми оказавшиеся в тяжелейших жизненных условиях.

Брат мой Иосиф недолго оставался в Бредах: уехал жить на Украину, в Краматорск, стал отличным специалистом, кандидатом наук, автором технических книг – о нём ниже – отдельная глава, а в приложении – его рассказы и повесть о войне.

ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА

*Две вечных подруги – любовь и разлука
Не ходят одна без другой*

(Булат Окуджава)

Осень 1953 года была полна надежд. К этому времени советские люди успели смириться с «тяжёлой утратой». В нашей семье – тем более: уже мама не вздрагивала при стуке в дверь. Отец после курса лечения чувствовал себя гораздо лучше, начал работать, и хотя и он сам, и мы уже всё знали и ко всему были готовы, но «надежда умирает последней».

Мне на четвёртом курсе учиться было гораздо легче: теоретические курсы в основном были позади, сложная для многих строительная механика, которую нам читали корифеи



*Мои друзья Тамара Ницкина и
Самуил Блох*

А. Ф. Смирнов, В. В. Синельников, мне даже нравилась и давалась легко, а курс мостов, который нам читал профессор Г. К. Евграфов, я просто полюбил. К этому времени пробудился интерес к искусству, театру, и хотя денег по-прежнему не было, но – надо отдать должное тому времени – билеты в музеи и на галёрки театров для студентов стоили гроши. Правда, в кассу Большого театра очередь надо было занимать с вечера.

Теперь над отцом не довлела опасность ареста, я мог чаще об-



Самуил Блох, Тамара Ницкина и её мама Нина Павловна Ницкина

щаться и свободнее себя чувствовать в компании. В будние дни вечернее время редко удавалось выкроить на тусовки институтские, учились шесть дней в неделю, а в единственное воскресенье вырваться из Перова в Москву было нелегко, так что общался чаще всего с нашей перовской школьной компанией или с плющевской.

Я уже писал о моих школьных друзьях, братьях Борисе и Самуиле Блох. После трагической смерти нашего лидера Бориса его брата Самуила – как подменили: он стал в своём Институте народного хозяйства имени Плеханова отличником, и вообще – попрос, физически окреп, возмужал. В этом – «вина» и его однокурсницы Тамары Ницкиной, с которой они подружились ещё на втором курсе, а их безоблачная многолетняя дружба с 17 февраля 1955 года превратилась в прочный семейный союз, которому уже 58 лет.

Именно в один из вечеров в квартире семьи Блох вместе с их доброй соседкой, студенткой-медичкой Фанечкой Сиво-риновская (ныне Фельдман), пришла её сокурсница Ира Мир-кис. Мне всегда трудно даются характеристики близких мне людей, а высокопарные слова и фразы вообще стараюсь не

употреблять, уж слишком они затасканы. Просто эта девушка была не такой, как все другие из знакомых мне, а среди них были и красивые, и яркие, достойные любви и любимые.

В Ире же главное, что сразу привлекало, по крайней мере меня, не так красота – хотя и её было в достатке, – как какой-то интеллект во внешности, пластика в движениях, в речи. В этот вечер главное внимание всех, особенно молодых людей, было сосредоточено на «новенькой», тем более что она охотно и раскованно участвовала в разговоре, проявляя эрудицию и ненавязчивую убеждённость в своём видении. В то же время, если ей тема была неинтересна или неизвестна, она откровенно об этом говорила и не участвовала в дискуссии. Мне и это нравилось и вызывало любопытство. Вот, кажется, нашёл подходящее определение: в Ире была какая-то особая пикантность. Ну и, само собой, женская привлекательность, а со временем – и взаимное притяжение.

Естественно, «в курилке», среди ребят, «новеньких» девушек обсуждают, не откладывая. В данном случае вывод был единодушный, в смысле – выше на порядок цифр всех «свободных» девушек нашей компашки. Я, в общем, был с ними согласен, но это-то меня и привлекало. Период был такой, что мне удавалось «поднимать планку» своих личных «рекордов» и в спорте, и в учёбе, а последняя моя летняя поездка на Южный Урал, где я проверил себя и в проектировании, и в тяжёлой физической работе, и как бригадир, убедила: не надо



Ира Ринская-Миркис в 1950-х годах

ничего бояться!

«Поднимись на ступеньку, чтобы сдружиться» - этот афоризм из танаха я нашёл в своих записях тех лет. Правда, рядом – и другой: «Опустись на ступеньку, чтобы жениться» - я тогда его тоже выписал, но просто заодно, не задумываясь. Но пройдёт ещё год, и я о нём вспомню.

К этому времени в моём подсознании достижение любой цели ассоциировалось с неременной отдачей, приложением усилий, а сил этих было так достаточно, что я этот дополнительный «напряг» не ощущал. А то, что даётся легко, не запоминается. Наверное, наши чувства были в то время настолько взаимными, что мне не запомнились ни наши первые встречи, ни даже то, когда и как пришло осознание того, что мы должны быть вместе вне зависимости от жизненных обстоятельств.

А они были совсем не в нашу пользу. Отцу опять стало хуже, и он уже окончательно уволился с работы, а пенсия у него была мизерная. За надомную работу мама получала гроши. Свою стипендию я отдавал в дом, подработки давали немного. К тому же у нас большую часть времени находилась Маринка, дочь Раи. Хотя Рая и Изя успешно работали, но, сколько я помню, она всегда жаловалась на скромные зарплаты. Я никогда не вникал в экономическую сторону взаимоотношений сестры с родителями, но, думаю, вряд ли они были. Позднее, когда мама получала 22, затем до 29 рублей пенсию (новыми деньгами, с 1960-х годов), - мы с ней жили всегда одной семьёй, но я никогда не брал её деньги, как и те 10 рублей, которые ей, как мама один раз обронила, ей давала Рая. Но тогда, в 1954-м, мама ещё не получала пенсию, а папа - рублей 550 ещё старыми деньгами. Моя стипендия, в нашем институте относительно высокая, на старших курсах была порядка 300 рублей.

В этих условиях – мог ли я позволить себе иметь, так сказать, «на постоянной основе» подругу, когда не имел возможности не только баловать, но даже лишний раз пригласить в кино, да и к себе домой, в одноэтажную хибарку без удобств, где даже уединиться нам не было условий. Это я сейчас пишу

всё как было, но тогда не принято было откровенничать по поводу своих трудностей, хотя умные, наблюдательные люди не могли их не видеть и не понимать.

Ира жила с родителями и младшим братом в небольшом флигеле посреди двора близ Смоленской площади. На четверых у них было две комнаты. Хотя отец Иры Юрий Михайлович Миркис, работая мастером цеха в артели, относительно неплохо зарабатывал, но не настолько много, чтобы роскошествовать, да и всё время был в напряжении под недремлющим оком ОБХСС. С ним у нас установились с самого начала добрые отношения. У Иры был ещё старший брат Семён, уже врач, работавший главврачом санатория, затем медсанчасти, но он редко общался даже с родителями.

Мама, Белла Вениаминовна, была замечательной «идише маме» для своих близких, преданной своей семье. Была отличной домохозяйкой, владевшей несметным репертуаром блюд, в том числе еврейской кухни. В обращении она была резонёром, способным любого спросить «не в бровь, а в глаз», и высказать всё, что она о нём думает. Скажу честно: мне, бедному студенту, именно по этой причине с самого первого знакомства было с ней, мягко говоря, не совсем уютно.

Гена, младший брат Иры, был отличным парнем. Ему было тогда всего лет четырнадцать, но он был развит физически, общительный. Когда я, взяв месткомовские путёвки, поехал с ним в подмосковный дом отдыха, а



с Геной Миркис в доме отдыха

там у нас сложилась отличная компашка, я чувствовал, что Гена ревновал меня, и старался не давать ему поводов, хотя их было, как назло, немало. Гена, ныне уже пенсионер, Григорий Юрьевич, и ныне прекрасный общительный человек, отец и дед.

С Ирой у нас был бурный роман, опередивший, как мне кажется, обычаи и нравы тех лет. Уже вскоре мы стремились к уединению, для которого, к сожалению, не было домашних условий. Летом 1954 года Ира специально поехала на практику в одну из сельских больниц как раз у одной из станций железной дороги на пути к Воронежу, где мне предстояло подрабатывать на строительстве городского моста месяца полтора – я заранее договорился об этом через московскую контору Мостотреста, которому подчинялись мостопоезда.

Здание больницы было скромное двухэтажное, оборудование даже по тем временам – примитивное. Зато прекрасная территория, парк. У Иры в комнатухе, которую ей предоставила больница, мы прекрасно прожили недели две. Пока она работала с больными, я учился готовить суп и жарить на сковороде – уже через год мне это пригодилось, когда работал молодым специалистом - мастером и жил в вагоне. Запомнилась узкая больничная койка, простыни и наволочки с печатями больницы...

Я уехал в Воронеж, оформился арматурщиком пятого разряда и снял по счастливому случаю «за дёшево» маленький домик буквально рядом со строившимся мостом через реку Воронеж, на левом берегу. Красивый многопролётный арочный мост строился долго и тяжело, техника монтажа и сварки в те годы была ещё не на должном уровне, толстую арматуру гнули на простеньком станке и вязали вручную. Кроме моста, нашу бригаду арматурщиков ещё посылали на строительство каких-то исполинских подземных отстойников диаметром метров сорок, там арматура была ещё толще. Мои интеллигентские ладони, несмотря на брезентовые рукавицы, стали мозолистыми, жёсткими, руки постоянно ныли буквально до плеч, но я старался не подавать вида и работал на равных с опытными работягами за счёт того, что трудился

и во время их перекуров.

После практики Ира приехала ко мне, домик ей понравился, и у нас продолжился «медовый месяц», но на сей раз готовила она – тоже ещё многое осваивала. Мы с ней вечерами бродили по окрестностям – на правый берег, в центр города, добираться было от нас нелегко. Купались в реке Воронеж, тогда ещё чистой: Воронежская атомная электростанция в те годы только строилась. К учебному году вернулись в Москву.

У меня в институте начинался последний, выпускной год, а Ире в медицинском ещё предстояло два курса, пятый и шестой. Не помню, когда мы объявили о своём решении родителям – её и моим. Распределение на нашем потоке должно было быть где-то к весне 1955-го, но места обнародовали гораздо раньше, после чего каждый дипломник должен был подать заявление – куда из предлагаемого он бы хотел получить направление. Ира намеревалась, если потребует, перейти на последний курс в тот город, куда меня направят: медицинские институты были во многих крупных городах, и мне обещали при распределении учесть этот фактор. Но советовали оформить отношения до Нового года. То, что неизлечимо болен отец, как мне сказали, учитывать при распределении не обязаны, так как есть у него жена и дочь.

Состояние здоровья отца вызывало тревогу, но папа понимал ситуацию, Ира ему и маме нравилась, и, дотянув до середины ноября, мы подали заявление, и нам назначили официальную церемонию в ЗАГСе на 26 декабря. Родители Иры приехали к нам, познакомились с моими, обговорили какие-то детали. Из-за болезни



*Сколько пережила моя
мама...*

папы речи даже не шло о снятии какого-либо помещения, тем более – о хупе, да и перед распределением моим не хотели давать повод «общественности». Юрий Михайлович, отец Иры, хотел, чтобы была если не хупа по всем правилам, то хотя бы обряды в домашних условиях. Папа не возражал. Так и решили.

Но в конце ноября папе стало хуже, и его положили в больницу у Петровских ворот, в центре Москвы. Ему начали, как обычно, курс лечения, но на сей раз врачи ничего не смогли сделать: пятого декабря папа умер буквально у меня на руках. Я сидел у его кровати, читал ему свежую газету, и вдруг он начал тяжело дышать. Сестра в это время была в нашей палате, попросила помочь поднять папе подушку, я подложил руку под плечи и приподнял его, и в это время глаза папы начали закрываться. Папе сделали уколы, что-то ещё, но к жизни не вернули... Это произошло 5 декабря 1954 года.

Горе было тяжёлым. Мама переживала так, что я очень боялся за неё. Мама редко давала волю чувствам, но в те дни она рыдала навзрыд. Папу похоронили на еврейском кладбище в Малаховке по всем правилам национального ритуала. Кроме родных, были и его сослуживцы, и перовские соседи, друзья Раи и мои. Был и Юрий Михайлович, отец Иры.

Вот так и получилось в моей жизни, по песне Булата Окуджавы: любовь и разлука...

ДИПЛОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Следующий месяц у меня – как в тумане. Совершенно не помню, как мы расписались в ЗАГСе перед Новым годом, потому что этого требовало предстоящее распределение. Всё остальное было отложено. Я только помню, что Юрий Михайлович попросил меня записать русскими буквами два предложения, которые он произнёс на иврите, и повторить их Ире. Смысл их был в предложении жить по законам Моисея и Израиля.

Семейная жизнь наша началась в Перове, втроём с мамой. Поутру мы с Ирой уезжали в свои институты. Началось

дипломное проектирование, проект мой требовал большого листажа чертежей, дома большого чертёжного стола с кульманом не было, и фактически все чертежи я выполнял в специальном зале института для дипломников, засиживаясь допоздна. Диплом у меня был интересный, необычный и сложный, «содрать», как у многих, мне было не с чего. Тема – многопролётный мост через реку с вертикально-подъёмным алюминиевым пролётным строением для пропуска судов. Причём в проект входили расчёт и конструирование не только стальных и алюминиевых конструкций, но и механизмов подъёма. Мой главный консультант был прежде всего мостовик-бетонщик, и консультироваться приходилось на нескольких кафедрах.

После занятий Ира заезжала с Пироговки к родителям на Смоленскую – это, по московским критериям, совсем не далеко. Обедала там и приезжала ко мне в институт, на улицу Образцова, а это – совсем не близко. Я чертил, а она сидела в уголке зала и занималась по своим медицинским учебникам. И так – все будние дни, до защиты диплома в июне. Впрочем, Ира была не единственной, кто приходил к нашим ребятам, приносил что-нибудь съестное, а часто и засиживался у нас: зал был просторный, и лишь в последние недели перед дипломом были заняты почти все кульманы.

Надо сказать, в нашем МИИТе были отличные, по тем временам, условия: общежития и дворец культуры, фабрика-кухня и спортзалы. Особенно хочется отметить замечательную фундаментальную библиотеку, где были все не только книги, но и пособия, и для занятий в читальных залах были все условия. Была и отличная библиотека художественной литературы.

Так как «чертёж – язык инженера», консультанты приходили, как правило, к нам в зал дипломников, где на кульманах им развёртывали чертежи. Контролировал нас и деканат. Помню, однажды пришёл наш декан А.Ф. Смирнов в сопровождении своего зама Г.К. Федоркова. У меня декана заинтересовали не чертежи – даже как-то обидно стало, – а эпюры расчёта ферм, выполненные в цвете – на них была

открыта пояснительная записка. Оно и понятно: профессор А.Ф. Смирнов – крупный теоретик строительной механики. Но неожиданным было то, что декан помнил про болезнь отца – он в своё время визировал просьбу в министерство о госпитализации в Яузской больнице. Узнав, что отца уже нет, задал ещё несколько вопросов. Тогда я и не думал, какую роль сыграет эта краткая беседа.

Когда вывесили список мест распределения, оказалось, что мест в Москве и области всего восемь. Хотя одно из них было – «Путевая дорожная станция» в Перово Московской области, должность – мостовой мастер, – мы совершенно были уверены, что, при всего восьми местах, найдутся среди восьмидесяти выпускников и лучшие кандидатуры. Действительно, были москвичи и семейные с детьми, и отличники, имевшие право приоритетное. Поэтому я хотя и попросил место в Перово, как житель этого города, но, как основной вариант, выбрал Новосибирск, где был медицинский институт – в медицинском учились шесть лет, и Ире оставался ещё год до окончания.

Один мой родственник в своей книге пишет, что Ира якобы вышла замуж за меня, чтобы остаться в Москве. Не стоит останавливаться на этом абсурдном выводе, ведь мы расписались, ещё даже не зная мест распределения. Более того: Ира созванивалась и списывалась с Новосибирском, заранее выясняя условия учёбы в медицинском и даже заботясь о жилье – на случай, если я сразу не получу. Причём до самого распределения мы скрывали новосибирский вариант, чтобы не травмировать мам – Иры и мою.

Распределение проходило, как сейчас помню, в каком-то длинном кабинете или аудитории, где в середине стоял длиннющий стол, покрытый зелёным сукном. По обе его стороны, наверное, не меньше тридцати человек, не только и не столько членов институтской комиссии, но и представителей «покупателей» – министерств и главков, которые, грубо говоря, выдирали нас друг у друга – уж больно нас, мостовиков и тоннельщиков, ценили.

Вызывали по очереди. Как правило, коротко характери-

зовали по заранее подготовленным данным, спрашивали или зачитывали пожелание выпускника и, если он не менял своё согласие на предварительном собеседовании, большей частью удовлетворяли. Во всяком случае, буйных протестов не помню. Когда вызвали меня, где-то в середине, что-то зачитали, потом спросили – не помню что, но не успел ответить, как, словно из преисподней, слышу глубокий баритон декана Анатолия Филипповича Смирнова, сказавшего примерно следующее:

- С Ринским всё ясно: родился и живёт в Перово, жена – ещё студентка, мать - на нём, недавно умер отец. У нас там есть как раз в Перово должность мостового мастера. Вот тут написано: он и арматурщиком, и бригадиром даже поработал. Так что пусть на производстве продолжит. Предлагаю...

Я не верил своим ушам. Выскочил, боясь, что сейчас вернут: были и ещё подавшие на это скромное, но зато московское место. Мне тогда, конечно, было не до реакции ребят на такое неожиданно счастливое моё распределение. Реакция Лёши Зверева, о которой выше писал, была после. А пока я бегом спустился по нашей широкой парадной лестнице: в дворовом скверике института сидела и ждала Ира, боевая в сражениях, но, как правило, невозмутимая в радости. Но в этот раз улыбка её светилась счастьем.

Лишь потом до меня дошло, какую роль в моей судьбе сыграла мимолётная инспекция декана в зал дипломного проектирования и его вопросы как бы между прочим. Тогда я вспомнил, что именно Анатолий Филиппович дал мне возможность досдать зачёты и экзамены на первом курсе и



*Мы с Ирой в
Одессе, 1955 год*

удержаться в институте. И ещё многие добрые дела нашего декана, которые не мешали ему быть и выдающимся учёным. Спасибо ему ещё и ещё раз.

С годами доктор наук А. Ф. Смирнов станет академиком, директором головного института по строительным конструкциям при Госстрое СССР.

ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ЭТАП

Месяц с небольшим оставался после диплома до моего выхода на работу. Лето 1955 года мы провели в Молдавии, куда ездили вместе с родителями Иры. Пока Белла Вениаминовна кашеварила в Бендерах, мы с Ирой наскоком побывали в Тирасполе и Кишинёве, потом на несколько дней съездили и в Одессу – не помню, у кого останавливались. В те годы ещё и Кишинёв, и Одесса не зарубцевали раны войны. Одесса особенно выглядела запущенной, но всё же центр произвёл впечатление, а главное - побывали в знаменитом театре. Остальное время уделили морю: в те молодые годы мы ещё не были им избалованы. Наконец над нами не довели многочисленные жизненные невзгоды и проблемы, и эти дни у моря были одними из самых счастливых на том жизненном этапе.

Незаметно подкрался август, и пришла пора мне приступить к работе в Путевой дорожной машинной станции (ПДМС) Рязанской железной дороги, Ире в сентябре – к учёбе. Работа у меня оказалась куда более серьёзной и ответственной, чем я представлял: ремонтировал довольно крупные металлические мосты на таких реках, как Проня, Нерль. Причём с первых дней работы ответственность была на мне. В моём распоряжении была бригада, по счастью – квалифицированных рабочих, уже не молодых, во главе с умным, опытным бригадиром Петром Прохоровичем. Все они были бывшими заключёнными, не знаю по каким статьям, но уж точно не уголовниками. Вместе работали в лагере, вместе после 1953-го вышли на свободу по амнистии, а может быть и по реабилитации.

Жили мы в небольших двухосных жилых вагончиках. У меня была квартирka из одной комнатки и кухни - тамбура с отдельным входом, занимавшая меньше половины вагона. Рабочие жили в другой половине со своим входом. Станция была маленькая, на отшибе, в магазине – пусто, так что раз в неделю, в субботу, уезжали домой пообщаться с семьёй, помыться, сменить экипировку и возвращались в понедельник утром, привезя с собой съестное на всю неделю. Рабочие мои приезжали из Рязани, им было часа два езды. Мне же удавалось, даже приезжая первыми электричками на Казанский вокзал, добираться до нашей станции только часам к одиннадцати. В Москву же, как правило, ехал «на перекладных»: до Рязани добирался товарняком, а то и на паровозе с машинистом, помогая ему и помощнику подбрасывать уголёк – тогда ещё на этой линии тепловозов не было, об электропотяге только ещё думали. Мне же самому придётся через несколько лет участвовать в проекте перевода этой линии на электропотягу – проектировать реконструкцию мостов.

От станции до ремонтируемого моста на реке было ещё два-три километра. Жили неуютно. В осеннее и зимнее время топили печурки углём, который нам завезли, но вагончики так продувало, что к утру в вёдрах был лёд. На мостах над реками всегда ветер, так что промерзали до костей. Но работали споро и качественно. Иногда мне и самому приходилось помогать рабочим – поддерживать или подвинчивать. Ну и, конечно, помогать разбираться в чертежах, работать с геодезическими инструментами, выбивать вовремя материалы и заготовки. Эти первые полгода были для меня хорошей школой не только инженерной работы, но и работы с людьми – и с начальниками, и с подчинёнными, тем более – с бывшими ЗК. Моим непосредственным начальником был старший мостовой мастер Андрей Тарасович, навещавший нас сначала где-то раз в неделю, а когда убедился, что справляюсь, вообще лишь звонил и просил «не продавать» - говорить главному инженеру, что он был.

Не минуло и полугода моей работы, как меня «перебросили», в конце января 1956 года. Мной заинтересовался глав-

ный инженер ПДМС, к сожалению, не помню фамилию. Хороший инженер и неплохой художник-любитель: стены его конторы, занимавшей целый переоборудованный пассажирский вагон, были увешаны пейзажами и портретами. Несколько раз он вызывал меня в свою контору и предлагал проверить расчётом или прочертить то, что у него вызывало сомнение.

Главный хотел было перевести меня в свою контору, но я был молодым специалистом, и он решил обговорить мой перевод с кадрами Управления дороги. А те взяли да и перевели меня в службу пути самого Управления, на должность инженера. Предложение было столь неожиданным, что я сначала задумался – с чего бы это? Но мне объяснили, что нужен молодой инженер для срочных выездов, как правило – в аварийных случаях. Так оно и было, а в промежутках - проектирование, расчёты и даже сметы. Что ж, отдельные выезды – не работа на морозе, да и должность, и оклад выше. Как говорится, другой бы спорил.

Выезжал обычно не один, а в помощь вышестоящим начальникам, когда обнаруживались дефекты, могущие привести к аварии: отклонения в несколько миллиметров в ширине колеи или по высоте порой могут привести к крушению поездов. Не говоря уже о прочности конструкций мостов: приходилось в мороз, дождь, сильный ветер взбираться на фермы мостов и не только докладывать грузному начальнику внизу, в чём там дело, но и давать рекомендации: что и как срочно надо отремонтировать.

Был и такой случай. Однажды в апреле бурный поток талых вод размыл насыпь у моста, требовалось срочно укрепить откос. Пришлось всем, во главе с самым высоким начальством, встать в цепочку, по пояс в ледяной воде, передавать и укладывать мешки с песком – по счастью, они были в запасе. У начальника вымыло из карманов всё: паспорт, но главное – партбилет! Вот это было настоящее ЧП, так как за потерю партбилета полагалось исключение из партии. А то, что он, – да и я тоже, между прочим, - потом отлёживались с воспалением лёгких, было меньшей неприятностью.

В период моей работы в Управлении железной дороги

как раз проходила подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи в Москве, а в августе 1957 года он состоялся. Мне посчастливилось принять активное участие в этом грандиозном, по тем временам и масштабам, действе. Но об этом – в отдельной главе, повторяющей, с небольшими дополнениями и изменениями, очерк, опубликованный в своё время в газетах и на сайтах.

ФЕСТИВАЛЬ-1957

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве был первым крупным международным шоу, устроенным Н. С. Хрущёвым после XX съезда для укрепления своего нового имиджа. И первым участием израильской официальной молодёжной делегации в столь массовом мероприятии в СССР.

ПОСЛЕ XXII СЪЕЗДА

Как быстро летит время. Ещё одно доказательство этому я открыл для себя, обнаружив в своём архиве фото встречи с делегацией Ямайки, где я – в числе гостеприимных хозяев. Подумать только: прошло уже целых полвека! Но память сохранила очень многое из событий и эпизодов этого, по тем временам для Москвы грандиозного, "мероприятия", потребовавшего огромного напряжения не развитой для подобного действия инфраструктуры столицы.

1957 год был годом всеобщего энтузиазма после смелого разоблачения культа личности, посулов нового Генсека и надежд на серьёзные перемены. Всемирный фестиваль в Москве должен был, с одной стороны, подтвердить курс на относительную демократизацию, а с другой – вернуть если не всех, то многих из отшатнувшихся от "родины социализма" и привлечь новых "друзей". Н. С. Хрущёв из кожи вон лез, стремясь доказать недоказуемое, начиная от его якобы непричастности к сталинским репрессиям и кончая призывами к миру и дружбе, заигрыванием со вчерашними врагами.

Надо сказать, что поначалу многие и в России, и за рубежом поверили если не всему, то многому, что генсек с таким темпераментом неустанно твердил в многочисленных пламенных речах. В его непричастность поверить было невозможно, но в некоторое оправдание ходил, а, может быть и был подброшен, такой анекдот.

На очередном митинге – голос с места:

- Никита Сергеевич, но если вы всё видели, что творилось в сталинские времена, что же вы молчали?

- Это кто задал вопрос? Встаньте! – никто не встал.

- Вот видите, боитесь, молчите. Вот и я молчал.

В любом случае, на XX съезде Рубикон был перейдён, и начался период, который И. Эренбург охарактеризовал как "оттепель".

И вот в этих условиях Москва взяла на себя проведение шестого по счёту Всемирного фестиваля, который по размаху затмевал все предыдущие аналогичные в столицах так называемых "стран народной демократии". Но главное – на него были приглашены не только прокоммунистически настроенные, но и все движения, союзы и группы, солидарные с лозунгом: "Мир, дружба". Этот ход позволил организаторам привлечь мировой молодёжный политический центр и даже кое-кого из "правых".

Подготовка к фестивалю велась с невиданным дотоле размахом. Центральным, самым заметным и афишируемым было строительство спортивного комплекса в Лужниках, на болотистом как бы полуострове излучины реки Москвы, как раз напротив Воробьёвых (тогда – Ленинских) гор. Строились одновременно Большая и Малая спортивные арены, Дворец спорта, бассейн с трибунами. Аврал был необыкновенный. Лужники объявили всенародной стройкой.

Одновременно к открытию фестиваля приурочили и открытие метро на двухъярусном мосту над рекой. В спешке красивый арочный мост выполнили из такого бетона, что в дальнейшем, когда началась его интенсивная коррозия, пришлось менять его конструкции. Но тогда новое метро к Лужникам и далее – до университета сыграло большую роль в

транспортом обслуживании зрителей. Срочно подлатали асфальт дорог и тротуаров в местах движения автобусов делегатов и их прогулок. Отремонтировали фасады на этих улицах, ветхие дома прикрыли заборами. Привели снаружи кое-как в порядок и покрасили даже сохранившиеся Божьи храмы всех конфессий: среди иностранных гостей и туристов было немало верующих. В том числе "освежили" и Московскую хоральную синагогу, как и прилегающие участки улицы Архипова, куда ожидался большой наплыв наших зарубежных и "своих" соплеменников. Но фактическое их количество перекрыло все "плановые показатели".

Ещё, кажется, за год до фестиваля провели Всесоюзный фестиваль, в порядке подготовки, и на основе его опыта и опыта фестивалей в "демстранах" отработали программы и подготовили персонал.

Гостей, спортсменов разместили частью в гостиницах, частью – в студенческих общежитиях: на первую половину августа их освободили, специально подремонтировав. Но, конечно, условия не только в общежитиях, но и в гостиницах Москвы в то время, да и сейчас ещё весьма уступали и уступают большинству столиц мира. Другое дело, что и гости фестиваля были в основном народ непритворный: левая молодёжь.

Вся программа каждой делегации была расписана заранее, и не только к каждой делегации, но и на каждое её мероприятие были "прикреплены" "хозяева", принимавшие гостей. С одной стороны, гости были окружены заботой, им некогда было скучать. С другой – они были под постоянным неусыпным надзором, так как в группах "хозяев" были и сотрудники соответствующих органов.

ЧЛЕН КОЛЛЕКТИВА

Мне посчастливилось попасть в число тех, кому предстояло присутствовать на торжествах открытия и закрытия, с помощью разноцветных флажков "рисун" на всю трибуну то эмблему, то голубей, то лозунги фестиваля. Одновременно,

конечно, удалось увидеть эти красочные зрелища, массовые спортивные и театрализованные выступления. Немаловажным для тех времён было и то, что всем нам, участникам шоу, а также всем, кто обслуживал, охранял, кормил гостей, выдали по тем временам элегантные куртки, тенниски и брюки из тогда ещё дефицитной синтетики. За всё это мы должны были отработать на строительстве Лужников сколько-то часов.

Но если бы не попал в эту группу, всё равно бы отработал, как практически вся молодёжь Москвы. В те времена нам, действительно, давали разнарядки и специально посылали на эти работы в том числе в рабочее время. Но мы тогда уже так привыкли к субботникам, воскресникам, помощи колхозам, что выполняли эту работу по подготовке к фестивалю, как само собой, тем более после стольких лет «железного занавеса» он всем нам был интересен.

Я в то время был ещё молодым специалистом. Окончив в 1955 году Московский институт инженеров транспорта, я был направлен на должность мостового мастера, но уже через полгода переведён в Москву, в Управление железной дороги, а потом назначен старшим инженером. Мне было 24 года, я был активным: возглавлял спортивную работу, вёл стенгазету и печатался в многотиражке. Вообще-то "пятый пункт" в нашем ведомстве не приветствовался, но на технических должностях был весьма не редок. Я быстро стал своим в коллективе, но администраторы мне выговаривали за остроту в стенной печати. Например, что и кого я имел в виду, когда, подражая Маяковскому, писал о "грязи":

*Мы долго терпели твоё обличие,
Но время не то, не те года,
И мы закричим, позабыв приличие:
- К чёрту! Хватит! Вон – навсегда!*

А главное – отказался от предложения написать заявление с просьбой о приёме в кандидаты партии. Предложение, как я понимал, было вызвано только тем, что надо было выполнять план пополнения и без того многомиллионных партийных рядов, а в нашем Управлении явно не хватало мо-

лодёжи. Вот и включение меня в список на зрительскую трибуну фестиваля объяснялось тем же "дефицитом" молодых кадров.

Мало того: меня включили ещё и в одну из групп "хозяев", долженствовавших принимать гостей при их посещениях тех или иных "трудовых коллективов", чаще устраивавшихся не в цехах предприятий, а в их клубах. Так, в Сокольниках мы, "члены коллектива" одного из заводов, принимали делегацию Ямайки, чернокожих (кроме человек трёх) темпераментных ребят и девушек. Интересно, что ребята были сплошь художавые, а девушки – в большинстве весьма упитанные. Отличались исключительной музыкальностью и подвижностью. Первое качество они ярко проявили, мелодично и в то же время ритмично исполняя классику и лёгкую музыку на...бочках разной высоты деревянными молоточками. Дно бочек было разделено молотком и зубилом на "отсеки", соответствующие нотам. Они были исключительно подвижны в танцах.

К фестивалю – что поделаешь? – пришлось властям в полной мере "реабилитировать буги-вуги, рок и твист, за ко-



Стадион в Лужниках, построенный к Фестивалю-57

торые, как и за джинсы, ещё лет пять назад исключали из комсомола, а меня самого, вступившего за "грешившую" этим студентку, сместили с "поста" комсорга. Отставшие и в танцах, и в современной незатейливой моде, мы, "совки", пытались подражать; даже островная Ямайка была для нас примером. Ну а темперамент эти раскрепощённые молодые люди не скрывали, и, наверное, одним из просчётов организаторов фестиваля было то, что не были предусмотрены и розданы средства предохранения, в связи с чем демографический фонд многонационального государства, о котором так печётся сейчас нынешний президент, после фестиваля стал ещё разнообразнее. Зарубежные же девушки эти средства привезли с собой. Зато с нашей стороны, как правило, на встречах в достатке было и шампанского, и прочего "прилагаемого".

ХОРОШИЙ УРОК

Был я "членом коллектива" и ряда других предприятий. В частности, одно из них принимало делегацию молодёжи ныне почившей в бозе Германской демократической республики, русоголовые члены которой были, быть может, менее темпераментны, чем ямайцы, но не менее талантливы и – уж точно – раскрепощены, несмотря на присущую этой нации и неусыпно поддерживавшуюся властями и руководством делегации дисциплину. На этой встрече я познакомился с хорошенькой флейтисткой из Лейпцигского оркестра. Слишком малое количество времени, предоставленное нам организаторами, ограничило близость встреч, но всё-таки они были для меня, неискущённого молодого "совка", откровением. Но окончилось наше знакомство ещё до конца фестиваля. В один из вечеров я приехал в Центральный парк имени Горького, где её оркестр должен был играть на открытой эстраде. Сел на первый ряд. Молодые оркестранты уже знали меня и здоровались, перекидывались впечатлениями, шутками. Я был не единственным: ещё несколько "поклонников" таланта оркестрантов разместились на первом ряду.

Небольшой немецкий у меня был, начальный русский – у них. И вот, на один из вопросов ребят, ещё до начала концерта, я ответил, вставив, очевидно, вместо немецких слов схожие на идише, который многие годы слышал дома от мамы с папой. Тут же сидевший рядом оркестрант что-то сказал Лархен и окружающим ребятам, и они все повернулись в мою сторону. "-Ду бист юден?"- с какой-то вызывающей серьёзностью спросил тот же молодой немец.

Я посмотрел на Лархен – у неё на лице была смесь удивления и, как мне показалось, возмущения: мол, как это её не поставили своевременно в известность? А, может быть, и отторжения? Её серо-голубые глаза, раньше обычно тёплые, на сей раз смотрели жёстко и даже как-то враждебно. Признаться, я настолько редко сталкивался с проявлениями антисемитизма по отношению лично к себе, тем более со стороны женщин, что у меня и мысли не возникло специально сообщать о своей национальности, тем более – искусственно её скрывать. Но, посмотрев в её глаза, я сразу вспомнил о крематориях, гетто, о погибшей в душегубке бабушке. Может быть, мне тогда так только показалось, и я напрасно гиперболизировал реакцию этих моих ровесников, но в ту минуту я вскочил, как ужаленный, и, подскочив к краю невысокой эстрады, прокричал сначала "Я – Да!" в лицо задавшему вопрос, а потом: "Ё, их бин а ид! - Да, я еврей!" – в сторону Лархен, сидевшей сравнительно далеко от края сцены, специально произнеся эти слова на идише, понятные каждому немцу. После чего повернулся, сунул одну руку в карман брюк и, демонстративно не спеша, удалился по направлению к танцевальной площадке.

Выйдя из поля зрения оркестрантов, я повернул к главному входу. Остановившись, по пути к метро, на середине подвесного пролёта Крымского моста, я, под действием прохладного ветерка, окончательно успокоился, напомнив себе, что "отрицательный опыт – это тоже опыт". "Надо быть готовым к чему-то подобному всегда," - решил я для себя и, в общем, не ошибся.

ДВЕ ДЕЛЕГАЦИИ

Плотная загрузка в дни фестиваля оставляла не так много времени на то многочисленное, что хотелось бы увидеть и в чём поучаствовать в дни фестиваля. С работы отпускали только на время "мероприятий", в программе которых мне надлежало участвовать по "разнарядке". Конечно, удавалось какое-то время из рабочего 8-часового дня (а их тогда было шесть в неделю) прихватить, но ведь были ещё и вечерние "плановые" приёмы делегаций и концерты, вроде описанных. Наконец, и дома меня ждали жена, мать и годовалый сын – я и так слишком много времени отсутствовал ещё в период подготовки к фестивалю.

И всё-таки мне удалось несколько раз увидеть делегацию тогда ещё молодого Государства Израиль и совсем немного пообщаться с её членами. Не то чтобы я особо к этому стремился: сионистом я не был. Но посмотреть на своих единомерцев было интересно. Разве большинство из миллиона



*Всемирный фестиваль. Встреча с делегацией Ямайки.
Автор - сзади*

русскоязычных, живущих ныне в США, не стремилось бы посмотреть на российскую делегацию, к примеру, на Олимпиаде?

Тем более, что советские власти, сделав из израильской делегации "запретный плод," сами разжигали любопытство, и не только московских евреев. Сразу надо сказать, что делегаций фактически было две: от молодёжи партий сионистов социалистического толка МАПАЙ и МАПАМ, в этой делегации был и арабский коллектив. И вторая делегация - От Коммунистической партии Израиля, тоже из евреев и арабов. Обе делегации были довольно многочисленны – по сто человек. Они официально были единой делегацией Государства Израиль, но и на открытии и закрытии, и по улицам города ходили двумя колоннами, одна за другой. Мне, к сожалению, не пришлось быть среди организаторов или приглашённых на встречи с ребятами из Израиля: на них был особый отбор, и уж конечно не из числа нас, "пятитупунктников", разве только тех, на присутствии которых настаивали израильтяне. Скрывался и маршрут их прохода и проезда по улицам Москвы, а бывало – и он не соответствовал тому, что удалось узнать. Например, однажды я случайно увидел целую толпу единоверцев, ждавших на Площади революции "нашу" делегацию, и тоже решил подождать, но тщетно: ожидали, что их поведут в музеи. Но, наверное, и в этом случае им изменили программу или маршрут.

Об этом мне рассказали позднее – сам не был, но рассказывал не один. В Камерном театре - в то время он, кажется, был ещё театром имени Пушкина – должен был состояться концерт израильской делегации. Лишь утром делегаты узнали, что концерт переносится – то ли в театр транспорта, то ли в Центральный дом культуры железнодорожников, под предлогом, что зал там больше. Всё бы ладно, но зрителей не оповестили, новых билетов не приготовили. Хорошо, что от самих делегатов, приславших сообщить зрителям о переносе, толпа у театра узнала, и многие всё-таки всеми правдами и неправдами попали на концерт, но далеко не все желавшие.

Совершенно неожиданно я увидел однажды шествие израильской делегации к Лужникам со стороны Пироговской улицы. Сначала показалась буквально демонстрация людей, плотно окружавших делегацию, а потом стали слышны и "позывные", которые её сопровождали, куда бы она ни направлялась: "...А лэйну шалом, шалом, шалом алэйхем!", - "Мир нам и вам" - гремело над шествием, причём пели не только и даже не столько делегаты, как сопровождающие. Потом я узнал, что многие молодые евреи буквально ночами дежурили вблизи места дислокации делегации Израиля и сопровождали её везде, где это было доступно.

Впереди и по сторонам демонстрации шло несколько милиционеров и люди в штатском, отличавшиеся от восторженной толпы своим спокойствием. Молодым неопытным глазом трудно было отличить сотрудников КГБ от, безусловно, сопровождавших делегации сотрудников израильских спецслужб и добровольцев. Нет сомнения, что функции кое-кого не ограничивались обеспечением безопасности, но за то, что её на фестивале обеспечили, надо отдать всем им должное.

Опасаясь первых, некоторые "перестраховщики" шли по тротуарам параллельным курсом. В то время я, наверное, не был столь осмотрительным и быстро оказался рядом с идущими делегатами. Над нестройными рядами реяли израильские флаги, в руках многих были израильские флажки. Один из них тут же оказался и у меня в руках, вместе с несколькими значками: в виде израильского флага с магендавидом на нём – на одних значках - от коммунистов и значков с семисвечником – от социалистов. Но для нас они были едины. Яркая красивая форма; все ребята и девушки, как на подбор, - рослые и загорелые, жизнерадостность на лицах и делегатов, и сопровождающих. Чуть отстав, я и здесь, как и на открытии фестиваля, убедился, что фактически – две делегации. И вторая делегация "левых" была столь же внушительной, здесь были не только израильские, но и красные флаги. В обеих делегациях были и арабы.

Как и многие, я, не проникнутый сионистскими настроениями, невольно включился в атмосферу всеобщего восторга,

если не ликования. Успехи Израиля в войнах с соседями заставили уважать это небольшое государство всех, даже врагов. Разоблачение сталинских кампаний "космополитов" и "дела врачей" позволило выше поднять головы российским евреям. Вот почему уже на открытии фестиваля марш по дорожке арены израильтян сопровождался такой овацией, которой были удостоены лишь немногие колонны. Но одно дело – сидеть на 20-м ряду трибуны, да ещё держа в руках флажки и следя за командами "дирижёра" трибуны, а делегацию видя среди других, и другое – оказаться буквально среди живых героев, возможно, не раз державших в руках автоматы. Это могли быть ребята, отслужившие в армии: военнослужащих среди израильских делегатов, как они сказали, не было.

Попытался я с друзьями увидеть делегатов Израиля и в один из дней, ещё засветло приехав на улицу Чернышевского с целью пройти на улицу Архипова, к синагоге. И хотя через плотную толпу мы протиснулись почти к зданию, но далее пути не было: оцепление из самих же евреев преодолевать



Открытие Всемирного фестиваля 1957 года в Москве

было бы неуважительно. Зато в толпе там и сям были плотные кучки людей, в центре которых, как правило, по двое ребят в бело-голубых нарядах отвечали или на русском без переводчика, или на идише и английском на самые разные вопросы, кроме слишком острых – тут уж сами слушатели одёргивали "provokatora": все понимали, что в толпе немало "ушей". Лично для меня и друзей этот вечер имел те последствия, что с тех пор мы уже не эпизодически, а регулярно в большие еврейские праздники приезжали на улицу Архипова и принимали участие в вечерних весёлых встречах, с каждым годом всё более массовых.

Закрытие фестиваля проходило куда более свободно, раскрепощённо, дружественно. Если на открытии доминировали прекрасные по-своему, но всё же марши типа "Гимна демократической молодёжи", то окончание сопровождалось песней: "Летите, голуби..."

Фестиваль прошёл удачно для всех: Хрущёву он позволил укрепить популярность и завоевать новых молодых приверженцев, прежде всего в странах третьего мира. Но, в то же время, молодёжь стран Запада воочию убедилась не только в нелёгких условиях жизни в "стране победившего социализма", но и в том, насколько отличаются понятия "демократии" в странах с разным строем. Фестиваль приоткрыл "окно в Европу" советской молодёжи и в большой степени способствовал становлению не только "шестидесятников", но и их аудитории. С другой стороны, он намного усилил интерес евреев Союза к своей исторической родине.

Надо было видеть израильскую делегацию и слышать овацию в её честь, чтобы понять, какую огромную роль сыграло её участие в становлении национального самосознания советской еврейской молодёжи. Для неё молодые, сильные израильские делегаты явились привлекательным символом нового своего государства, а то, что делегаций было две, говорило особенно наглядно о разнице с однопартийным строем. Яркое впечатление это до сих пор сохранилось в моей памяти ещё и как символ того, какими хотелось бы видеть и сейчас и Израиль, и его молодёжь.

Р.С. Когда я писал этот очерк к 50-летию фестиваля в 2007 году, представить себе не мог, что после его публикации в газете «Новости недели» в Тель-Авиве мне позволит замечательный человек, координатор и руководитель сионистской части израильской делегации на Московском фестивале Давид Сорек. Выходец из Молдавии, переживший гетто, знавший русский язык, в то время один из руководителей молодёжного кibuцного движения, красивый и энергичный молодой человек, Давид успешно справился с задачами, стоявшими перед ним и делегацией.

По приглашению Давида я приезжал к нему в Беэр-Шеву, где он и в преклонном возрасте продолжает возглавлять организацию помощи абсорбции репатриантов. Давид предоставил мне фото и документы о фестивале молодёжи и свои личные. Обо всём этом я написал и опубликовал несколько очерков. К сожалению, в этой биографической книге нет возможности их опубликовать. Хочется надеяться, что ещё появится возможность издать отдельной книгой всё связанное с Московским фестивалем и его руководителем.



Шимон Перес и Давид Сорек. 1960-е годы

«ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА РАЗБИЛАСЬ О БЫТ»

(Владимир Маяковский).

В Управлении железной дороги я отработал буквально день в день три года. Затем три года работал в крупном проектно-институте Минтрансстроя - здесь проектировал как новые мосты, так и реконструкцию и усиление ряда мостов, в том числе крупных. Работа была интересная, но требовала частых выездов для обследования реконструируемых мостов и изыскательских работ. А потом приходилось допоздна засиживаться на работе за расчётами и чертежами. Так втянулся в поздний рабочий день, что, даже освобождаясь своевременно, оставался играть в пинг-понг. Я понимал, что Ира там одна, что поступаю эгоистично, но на глубокий самоанализ ещё способен не был.

Такие постоянные задержки на работе не способствовали укреплению молодой семьи. Впрочем, до рождения сына Димы 13 сентября 1956 года всё было нормально. Правда, и в этот период и меня самого, и, чувствовалось, домашних тяготил низкий оклад инженера, несмотря на то, что уже с осени 1956 года я по совместительству преподавал в железнодорожном техникуме и готовился к поступлению в аспирантуру ЦНИИСКА. К последнему в семье отнеслись с сарказмом, узнав, что зарплата аспиранта – сто рублей, и хотя я уже был одной ногой в аспирантуре, пришлось отдать предпочтение «халтуре».

После рождения сына Ира, начавшая работать после окончания института в центре Москвы, к тому же привыкшая к удобствам московской квартиры, всё чаще предлагала оставить перовскую квартирку без удобств и переехать на Смоленскую, к её родителям. Я долго не соглашался стеснять родителей и брата её Гену – нас в двухкомнатной квартире было бы шесть человек, включая новорождённого сына. К тому же, мы оба понимали, к чему могут привести резонёрские высказывания Беллы Вениаминовны... Так и вышло: меня хватило на несколько месяцев, после чего я вернулся в Перово, где мама оставалась в одиночестве. Вскоре Ира с

Димой переехала ко мне и несколько месяцев стойчески выдерживала жизнь без удобств в проходных комнатках.

Как раз в это время проходили подготовка и проведение Всемирного московского фестиваля молодёжи. Я принимал активное участие на всех этапах, был на открытии и закрытии, был занят все дни в промежутке. Глупо было не использовать предоставившуюся возможность, но я всё-таки, наверное, должен был задуматься, каково молодой женщине сидеть все дни с годовалым ребёнком у телевизора «КВН», в то время как молодой муж - на разных приёмах и концертах фестиваля, неведомо когда возвращается, а у нас и телефона-то тогда не было, чтобы позвонить и сообщить.

В конце концов, Ира перешла на работу в медсанчасть Московского завода АЗЛК – автозавода имени Ленинского комсомола «Москвич», где были хорошие социальные условия, в том числе – детский комбинат с летним детсадом-дачей, а в перспективе маячила, правда – слабо, возможность получить жильё от завода. Мы сняли комнату в Текстильщиках, в жилом доме АЗЛК, недалеко от работы Иры и детских яслей Димы, и вроде бы жизнь наладилась, правда – довольно скромная, так как я настаивал на том, чтобы обходиться нашими зарплатами. Острозыкая, но сердобольная Белла Вениаминовна не могла смириться с тем, что у дочери нет-нет, да не хватает времени на полноценный обед, и Юрий Михайлович как минимум раза два в неделю приезжал с её передачами. И, конечно, с удовольствием играл с внуком.



Ира Ринская с Димочкой

Наша жизнь вроде бы стабилизировалась: получать мы стали больше, на лето детей завод АЗЛК вывез на дачи, где были условия куда лучшие, чем у многих: сосновые участки,

реки и пруды, улучшенное питание, включая зелень с подсобных хозяйств. Но произошло непредвиденное: в одном из детсадов при купании утонул ребёнок. Об этом по телефону сообщили на завод, и по всему гиганту разнеслась трагическая весть. При этом никто не знал ни в каком из многочисленных детсадов, ни когда, ни с чьим ребёнком это произошло. И весь огромный многотысячный коллектив, папы и мамы, дедушки и бабушки детей всеми возможными видами транспорта хлынули в Подмоскovie, в леса, если память не изменяет, в районе Мелехова.

Прямо из медсанчасти вместе с чьими-то родителями выехала и Ира. Я был на работе, она звонила и просила передать, но мне никто не сказал, мало того: я позже не нашёл подходившего к общему телефону – он у нас был, по тем временам, один на сорок человек. Слава Богу, в детсаде – яслях Димы было всё в порядке, и Ира вернулась с ним к вечеру, но стресс её ещё не отпустил. Ничего не спросив, она излила на меня всё накопившееся с такой яростью, которую я слышал и видел с её стороны позднее лишь однажды, не по своему адресу. Она припомнила мне работу допоздна и Фестиваль, будучи в полной уверенности, что ... Словом, что греха таить, она во многом была права. Но объективности, в чём-то и честности для справедливой оценки её гнева мне тогда не

Юрий
Михайлович
Миркис
с внуком
Димой
Ринским



*Мы с Ирой на
вершине Рокского
перевала*

хватало.

Несправедливость, как я себя убеждал, обвинений, высказываний и эпитетов я в те свои годы не мог ни понять, ни простить. Не было ни жизненного опыта, ни мудрости, а мо-



жет быть – не хватало и ума. Мы снова разъехались по родителям. На сей раз на срок, в течение которого у каждого появились поводы для усугубляющих обстоятельств. Но мы оба тогда не хотели расставаться: помимо прочего, нас связывал сын. Стремясь склеить разбитый сосуд, мы вместе поехали в турпоход по Южной Осетии и Грузии. Но даже трудности тяжёлого перехода через Рокский перевал, где оба проявили стойкость и выдержку, надолго не хватило. Мы оформили развод в августе 1959 года.

Первое время я довольно часто навещал сына в их доме и в детском саду, но Ира считала, что это травмирует ребёнка, и старалась отсрочить наши с ним встречи. Я приезжал к ней в кооперативную квартиру на улице Милашенкова, но оказывалось, что он то там, то здесь. Материально Ира жила неплохо и со временем заявила, что ей вполне достаточно официальных алиментов, но я откладывал и отдавал ей со своих «совместительских» и «халтур». О наших встречах, отношениях, о том, что мы говорили друг другу, Ира всегда просила никому не рассказывать, а в последние её дни – тем более. Поэтому не считаю возможным и сегодня...

Как врач-невропатолог Ирина Юрьевна Ринская не просто состоялась. Уверен: доживи она до 1990-х годов, канди-

дат медицинских наук, во-первых, была бы уже к этому времени доктором наук, во-вторых – скорее всего, у неё была бы своя клиника. Нужны ли доказательства, если при жизни она уже возглавляла отделение крупной больницы.

Ещё в первые годы своей работы доктор Ринская, одна из первых энтузиастов в СССР, прошла курс китайской акупунктуры – иглоукалывания. Я сам был очевидцем того, как к ней в кабинет зашёл пациент с букетом цветов и, не стесняясь посторонних, встал перед ней на колени. Он приехал в Москву из Новосибирска, потеряв надежду на излечение: у него было воспаление тройничного нерва, не дававшего ему не только работать, но и спать. Молодой ещё мужчина вынужден был оформить пенсию. Метод акупунктуры, применённый доктором Ринской, вернул его к нормальной жизни, боли ушли в прошлое. Перед выпиской из больницы и отъездом домой пациент пришёл от всей души поблагодарить своего спасителя. Позднее слышал немало лестных отзывов о работе доктора Ринской и как талантливого невропатолога, и как заведующей отделением больницы. К сожалению, преждевременная кончина от неизлечимой болезни оборвала её жизнь в годы расцвета её таланта.

Уходя, Ира очень переживала, как сложится жизнь у Димы и внуков, у дочери Аллочки - тогда ей было всего лет пятнадцать. Думаю, что сейчас она могла бы гордиться успехами сына, нашедшего свой путь в непростой период и ставшего подлинным главой и гарантом благополучия семьи.

Где-то в 1980-х годах ко мне в кабинет зашёл сослуживец, а в прошлом ещё и

*Эту бурку мне предложил
на час в Южной Осетии наш
гостеприимный хозяин*





Михаил Ринский с сыном Димочкой

сосед по Перово Борис Десятник. Он отдыхал и лечился, кажется, в Кисловодске, и его соседом по палате был Юрий Михайлович Миркис. Нашли общего знакомого – Михаила Ринского. Борис рассказал мне, что Юрий Михайлович несколько раз возвращался к воспоминаниям о наших добрых отноше-

ниях и выражал сожаление, что у нас с Ирой не сложилось... Я с самыми лучшими чувствами вспоминаю этого простого, но умного, мудрого человека, моего бывшего тестя.

МОЯ МАМА

Заканчивая первую книгу об истории своей семьи, считаю сыновним долгом посвятить специальную главу моей маме. Хотя о ней в предыдущих главах биографического повествования рассказано много, причём только хорошего, но добавляю эту главу из чувства доброй памяти и глубокой вины перед мамой, и не только своей вины. Ещё при её жизни, относительно молодым, я написал стихотворение «Мама», позднее включил его в повесть «Война глазами мальчишки». Там оно уместно, потому что именно в тот тяжёлый для стра-



С малолетства до сих пор, 55 лет, у Вадима Ринского - любовь к футболу

ны и семьи период во всей глубине проявились высокие духовные качества моих вроде бы простых родителей. Нужны ли доказательства?

Одно из лучших качеств моих родителей – доброта, сохранённая ими, несмотря на всё пережитое ими вместе, когда были убиты в погромах их отцы. Мы с сестрой Раей постоянно жили в атмосфере этой родительской доброты и понимания. Мы знали, что в любое время, в том числе в тяжёлое, всё, что делается для нас, – на пределе возможностей, а если возможности нет, то и нечего просить. Причём на добрых делах акцент не ставился. Я, например, только недавно от сестры Клары узнал, что когда умирала её мама Марьям, сестра отца, мама увезла пятилетнюю Клару к себе в Перово и какое-то время её опекала. Ни об этом, ни о каких других своих добрых делах мама никогда не вспоминала. А они были буквально растворены в повседневности. Например, она очень часто по просьбе наших работавших соседок кормила их детей после школы или детсада и заботилась о них на равных со мной. «Миша, ты простудишься! Завяжи шарф и застегни куртку!» – это относилось не ко мне, а к соседскому Мише Воловичу. Всё это – бескорыстно, не требуя никакой благодарности.

Отец ушёл на фронт в возрасте, когда его не только не призывали, а даже добровольцем записывались отказывались. А маме тогда было 42, так называемый «бальзаковский возраст», и действительно – она в те годы была в расцвете женской красоты. Жаль, что не сохранились фото тех лет, а может быть – их и не было, многого куда более необходимого нам тогда не доставало.

Я не раз мальчишкой ревниво замечал, как чужие дяди смотрели на маму, а то и заговаривали. Не могу припомнить, чтобы она когда-либо дала повод усомниться в её верности отцу. А я уже тогда, в военное и послевоенное время, хорошо знал, как это бывает – примеров даже в самом ближнем окружении было предостаточно, только приводить их – не в моих правилах, наверное потому, что было не в правилах моих родителей осуждать кого-либо во всеуслышание. Не то что

мама не замечала и не реагировала на проявления человеческой слабости, неверности, грубости. Просто мама и отец старались в таких случаях меньше общаться и не участвовать в разборках.

Если отца кто-то обижал или даже при нём обижали его близких или друзей, - он поступал по своей любимой поговорке: «С кем раз проиграл - с тем больше не играю». Когда в период «борьбы с космополитами» отца арестовали, и на нашем Безбожном переулке узнали об этом от наших непосредственных соседей, отец, многое им уступив, размежевал наши помещения, сделав отдельный выход. Но добрые отношения сохранил. Мама могла в чём-то не соглашаться с папой, но все разногласия решались в стенах квартиры, а вне их – всегда были едины.

У мамы было больное сердце с молодых лет. Одно из моих первых детских воспоминаний – то, как мама, подойдя ночью к моей кровати с детским ночным горшком в руках,

внезапно потеряла сознание и упала. Проснувшийся от моего плача папа поднял её и привёл в чувство. Такое с ней случалось и позднее.

В войну, несмотря на болезнь, мама по двенадцать часов не отходила от швейной машинки; остальное время, исключая короткий сон, посвящалось только нам с сестрой. Я не забуду, как в Минусинске, в эвакуации, тётя Лара, а с нею все мы, дети, опасались за психическое состояние мамы, когда Рая была при смерти, металась в беспамятстве в тифе, а маму невозможно было увести от больничного корпу-



Бабушка с внуком. Как она их любила...



Бабушка Бася с внучкой Мариной.

са. Дети для мамы были главным в жизни. А потом – внуки.

Не помню, чтобы мама внешне как-то проявляла обиду вне нашего дома, чтобы она когда-либо была с кем-нибудь, как говорят, «в контрах». Но я-то знаю, сколько раз она тихо вытирала слёзы, когда дочь, навещая «наездом» нас и свою дочь, фактически до школы росшую у нас, читала нравоучения нашей маме, а значит косвенно и мне, потому что мы жили с мамой всегда одним домом. Мама душу вкладывала, растя внучку, и переживала, когда ей (а значит – и нам) выговаривалось: «Что вы, не можете?...».

Ни мама, ни я ни разу не спросили Раю, как она представляет – за счёт чего выполнимо всё это красиво сказанное...

Быть может, и зря молчали, потому что когда в 1960-х годах приезжали из США сёстры мамы, она сама оказалась где-то на второстепенных ролях приёма и всего соответствующего – и тоже тихо плакала... Когда же умерла её любимая сестра тётя Женя, я вместе с Кларой поехал в Сумы, где она жила у приёмного сына Руфы, и мы перевезли тётю Женю в Славянск и там похоронили рядом с дядей Ушером, по её завещанию. Тут же Клара и Руфа порешили, как поделить её накопления, не такие уж малые – по тем временам. Я принципиально отказался даже участвовать в этом дележе, считая, что всё решать должна была только мама, родная сестра

тёти Жени. Но так как мама жила со мной одной семьёй, я не хотел быть обвинённым в меркантильном интересе: никогда не брал у мамы ни её пенсию, ни те 10 рублей, что Рая приносила ей каждый месяц. Правда, и мама отказывалась от моей денежной помощи, кроме праздничных подарков, не зло, но справедливо подкалывая «алиментщика».

Когда я вернулся из Славянска и мама узнала, что ей абсолютно ничего, даже какие-то вещицы на память не передали от сестры, даже не подумали об этом, - а если подумали, то ещё обиднее, - вот тут она плакала навзрыд. Я уверен, что причина её слёз была не в деньгах, а в беспардонности меркантильного поколения. Я готов был упрекнуть себя в том, что отказался говорить на эту тему, но мама сказала, что я иначе поступить не мог. Когда я предложил ей обратиться к Кларе и Рае, которой (вернее – её дочери) тоже предназначили часть при дележе, она категорически отказалась это сделать. «Сами должны додуматься», - сказала мама. Но никто так и не додумался...

Таких «недомыслий» с годами становилось всё больше. Бывало - забывали, что у мамы и Раи – один день рождения - 25 декабря. В этой забывчивости, правда, не могу упрекнуть Тамару: в семейном кругу маму поздравляли всегда. Как и помнили день кончины отца, а с 1983 года – и мамы тоже.

Добавлю только, что не помню ни одной ночи, чтобы мама ночевала в чьём –нибудь доме из московских родственников, кроме нашего с ней общего. В том числе и у Раи.

Я не слишком суеверный и тем более не праведник, но почему-то всегда на меня действовали мамины слова на идише или на русском: «Бог ему (ей, им) судья». Она часто произносила эти три слова тихо, по несколько раз, именно когда плакала от обиды или просто переживала из-за чьего-то из ряда вон выходящего поступка. Мама говорила это, обычно уже поплакав и пережив. До того её бесполезно было успокаивать, но после – она позволяла не спеша успокоить себя, даже если для этого не было веских доводов.

При этом мама была отходчивой и через какое-то время уже в повседневности была внимательна ко всем на равных.

Так, после нашего разрыва с Ирой она постоянно интересовалась и ею, и особенно Димой, обычно расспрашивая меня в отсутствие Тамары. Ещё одно проявление её деликатности – она никогда не позволяла себе даже тет-а-тет со мной каких-либо характеристик, тем более сравнений близких мне женщин.

Не могу сказать, что я был очень внимательным и ласковым сыном. Особенно виню себя за несдержанность в словесной перепалке. Впрочем, ещё немалая моя вина в том, что далеко не всегда мог пресечь резкости, выходящие за рамки нормальных семейных взаимоотношений, со стороны моих жены и сына, Тамары и Саши. Не раз наша семья была на грани размежевания, и в этих случаях, даже когда маме было в конфликте тяжелей нас всех, именно она решительно требовала от меня сохранить семью хотя бы даже во имя сына.

Мама скончалась в ноябре 1983 года в возрасте 84 лет, когда Саша был уже на старших курсах института. Она так мечтала дожить до его полной самостоятельности. Скончалась ночью, никого не разбудив. Незадолго, как бы предчувствуя это, мама буквально потребовала от меня не оставлять Сашу, пока не буду уверен в его завтрашнем дне: её очень волновала не так материальная сторона, как «среда его обитания»: он тогда работал и учился на автозаводе ЗИЛ. В общем-то, моя простая, престарелая, но мудрая мама была права: назревали уже тогда перемены. Если бы она могла сейчас, глядя на внуков, расцвести своей доброй улыбкой, которая так омолаживала её лицо в минуты, когда они радовали её. Если бы она могла сейчас порадоваться тому, что Вадим и Саша – рядом на жизненном пути. Но, зная, как к Германии относились отец, воевавший против неё дважды, и мама, - не думаю, что им бы понравилось, что их внучка – в Германии...

Хочу повторить: эта глава – не так воспоминания, как покаяние. Не только моё личное, но и за всю нашу семью.

До моего отъезда за могилой папы и мамы ухаживал я сам. Сейчас – Саша.

ЧАСТЬ 4

ЭКСКУРС В 1960-е ГОДЫ



ЭКСКУРС В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

Кратко, по возможности честно описав историю моей семьи и свою непутёвую жизнь в молодые годы, хочу в заключение подчеркнуть, что к событиям и людям, которым посвящена эта книга, к поколениям дедов, родителей, старших братьев и сестёр отношусь максимально серьёзно и уважительно. Потому что им, буквально героически выстоявшим в тяжелейших ситуациях XX века, мы, поколения детей войны и послевоенные, обязаны всем.

Различные по величине и характеру публикации автор попытался связать так, чтобы не только познакомить читателя с нелёгкой и поучительной историей семьи Ринских – Одиных, но и оставить дополнительные, пусть скромные, но документальные свидетельства в летописи уникального века Государства Российского, века двух мировых войн, двух революций. И сохранить фрагменты из семидесяти пяти лет истории не имеющего аналогов государственного строя, от его первых шагов до его краха.

Однако этого записанного и опубликованного так много, что оказалось даже технически целесообразным ограничить первую книгу моих воспоминаний лишь концом 1950-х годов.

Есть несколько доводов в пользу завершения первой книги этим временем. Именно в эти годы XX съезд фактически подвёл черту и расставил точки над «i» сталинского периода истории Советского Союза. Именно с этих лет, после Московского фестиваля, приоткрылось окошко в Европу, окреп самиздат, заявила о себе плеяда шестидесятников в поэзии, в театре, затем и в прозе.

Ещё доводы. Так совпало, что на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов XX века завершился мой первый этап работы как инженера-мостовика и начался 35-летний этап работы в Моспректе. Одновременно с этим «трудовым» этапом начался в том же 1961 году и второй период личной жизни, и уже 24 октября 1962 года Тамара родила своего первого и моего второго сына Сашу. Весь этот второй этап мы прожили с Тамарой, вырастили сына. Время летело незаметно, и

незадолго до окончания второго жизненного этапа Саша уже подарил нам внучку Лерочку. К тому времени у Вадима было уже двое, а сейчас внук Илья и внучка Наташа уже взрослые, а Беллочке – уже пятнадцать. Повторю то, о чём написал в предисловии: я очень рад тому, что оба моих сына, Вадим и Александр, ныне трудятся бок о бок.

В этом кратком экскурсе за 50-е годы не мог себе отказать: как не упомянуть моих внуков, которые, я надеюсь, прочтут и сохраняют книги деда, иначе – зачем я их писал? За эту хронологическую черту я выхожу также с жизнеописанием ветви Одиных – моих двоюродных брата Иосифа и сестры Клары: очерки о них уже написаны и опубликованы в газетах. По той же причине прилагаю и некоторые другие из напечатанных в газетах материалов.

Второй жизненный этап длиной в три с половиной десятилетия завершился с моим отъездом в 1996 году на постоянное местожительство в Израиль. Здесь начался и уже 16-й год продолжается третий этап моей творческой и личной жизни, на котором, как я уже упоминал, написаны и опубликованы в газетах сотни очерков, статей, стихов, издано шесть книг. Эта книга – седьмая, но надеюсь успеть ещё... Как говорится, поступим... Ныне у нас с Лией нормальные жизненные условия, и есть желание писать.

МОЯ СЕСТРА КЛАРА ОДИНА

Я уже упоминал, что Иосиф и Клара Одины – мои двоюродные брат и сестра, так сказать, вдвойне: их отец Моисей Один – старший брат моей мамы, а их мама Марьям – младшая сестра моего отца Матвея Ринского. Лихой Моисей обворожил молоденькую Марьям ещё до того, как стал драгуном, Георгиевским кавалером, и большая разница в возрасте не мешала их любви. Однако судьба распорядилась так, что Марьям рано, в 1932 году ушла из жизни после тяжёлой болезни. Сыну было девять лет, дочери – только пять. Родная сестра Марьям и моего отца, Рахиль Ринская, заменила её.

Принято считать, что чем благополучнее семья, чем лучше материально обеспечена, чем выше социальное положение родителей, тем больше шансов для лучшего развития детей, для их успехов в учёбе и для более высокого их положения в жизни. Но вот пример Одиных: отец – простой рабочий, мачеха – простая швея, а дети – и сын, и дочь – не просто одарённые дети, но и в дальнейшей жизни вполне успешные, по принятым критериям, люди, и это несмотря на все жизненные сложности и препятствия, в полной мере выпавшие на их долю.

До 1939 года, до переезда из Москвы в подмосковное в то время Покровское-Глебово, Кларе суждено было со всей семьёй жить в сыром подвале, в 12-метровой комнатухе общей квартиры. И при этом в условиях самого скромного достатка даже по критериям советского времени в 1930-е годы. Все эти годы в её табелях были только отличные отметки – в цифрах оценок, то есть пятёрок, ещё не было. В Покровском-Глебово - комната площадью 13,5 метров на четверых в общей тесной квартирке, в двухэтажном доме барачного типа. И в этих условиях Клара - не только круглая отличница, но и активная пионерка и комсомолка. Годы эвакуации в холодный сибирский Минусинск, почти три года в мрачной тесной комнате, голод и лишения не мешают ей так же точно, только на «отлично», закончить девять классов.

Одины возвращаются в Москву осенью 1944 года. Первую четверть в выпускном десятом классе Клара пропускает, но отличницу хорошо помнит бывшая директор школы в Покровском-Стрешневе, где она, как и старший брат, училась до войны. Теперь директор - в другой школе, у станции метро Аэропорт. Там Клара продолжает учёбу и в 1945 году получает аттестат с единственной четвёркой по математике. Этой четвёрки не должно было быть: в школе были уверены, что именно она должна стать золотой медалисткой.

Но на класс, по разнарядке, разрешили только одну золотую медаль. В то же время, был ещё один претендент, сын кого-то высокопоставленного. И Одиной «срезали» математику. Её преподаватель этого предмета ходила по инстанциям

– доказывала, что нет никаких ошибок в работе и оснований для снижения. Но всё осталось без изменений.

Золотая медаль дала бы возможность Кларе осуществить мечту – стать переводчицей. Сдавать же экзамены в соответствующий институт Кларе, записанной в паспорте как Хая Моисеевна, было заведомо бесполезно, и Клара выбирает, по стопам двоюродной сестры Раи Ринской, медицинский. Вместе с подружкой школьных лет сдаёт экзамены и поступает во Второй московский мединститут.

И здесь Клара Одина проявляет себя с первых месяцев учёбы. Её не только успехи в учёбе, но и общительность, личные качества по достоинству оценивают студенты. Клару избирают старостой, комсоргом группы, со временем – и секретарём комсомольского бюро потока. Одина включается в научную работу на кафедре анатомии, а затем - на кафедре патологической анатомии, возглавляемой академиком И.В. Давыдовским. Под руководством замечательного специалиста, профессора И.К. Есиповой Клара занимается исследованием лёгочной гипертензии как следствия заболевания сердца. Ещё в студенческие годы ею опубликованы две научные статьи на эту тему.



Сестра Клара Одина

В 1951 году Клара Одина заканчивает с отличием институт, и профессор И. К. Есипова предлагает комиссии по распределению оставить одарённого молодого врача на кафедре для продолжения научной работы. Но «молодые одарённые врачи нужны по всей стране», - отвечают ей. Из предложенных на выбор городов Клара выбирает Владивосток – её приглашает находившаяся в это время в Москве главный пат-анатом Приморского края. К тому же, во

Владивостокском драматическом театре играет троюродный брат Володя Цесляк, а родной брат Иосиф, два года назад окончивший МИИТ и тоже ещё молодой специалист, строит мост в Ворошилово-Уссурийске. Доктор Одина приезжает во Владивосток и начинает работу в Центральной краевой больнице, а со временем успешно возглавляет её патолого-анатомическое отделение.

Во Владивостоке Клара работала до 1956 года. За это время происходит изменение и в её личной жизни. Оно сопряжено с интересным случаем. Стоя на московском вокзале в длинной многочасовой очереди за железнодорожным билетом во Владивосток, Клара согласилась взять билет жителю этого города, который находился в Москве в командировке, и у него не было времени отстаивать несколько часов. Командированный оставил ей деньги на билет, ни в чём не сомневаясь, и не ошибся в своём доверии. По приезде во Владивосток благодарный попутчик поручил встречавшему его племяннику показать город молодым специалистам – Кларе и ещё трём девушкам. Так Клара познакомилась со студентом горного факультета Политехнического института Виктором Выголко, своим ровесником, к тому времени отслужившим в армии и на флоте. Племянник добросовестно выполнил наказ дяди и не ограничился одной экскурсией. Вот отрывки из его книги «От Востока до Востока», написанной в Израиле и изданной в 2009 году:

«Я посмотрел на Клару, и что-то во мне дрогнуло. Помнится, я тогда подумал: «Это моя судьба». Среднего роста, круглолицая, карие глаза, чёрные волосы... Она мне показалась необыкновенно красивой...Она говорила певучим голосом какого-то необыкновенного тембра, с незнакомой мне интонацией и, вероятно, московским акцентом... Все эти прогулки закончились тем, что я влюбился в Клару... Эту любовь пронёс через нашу долгую совместную жизнь...».

В комнатке Клары во Владивостоке было место лишь для кровати и столика. Удобств – никаких, но она и в Москве не жила в хороммах. Правда, в конце 1953 года ей, к тому времени уже расписанной с Виктором, к тому же - члену партии,

секретарю комсомольской организации больницы, предоставили комнату куда просторнее и уютнее. Клара завоевала в больнице прочный авторитет, профессиональный и общественный.

В 1954 году при перелёте из Южно-Сахалинска в Хабаровск погиб наш с Кларой двоюродный брат Гриша Штеерман, сын сестры моего отца Сони Ринской. Погиб не один, а со всей семьёй: женой, тещей, сыном. Он, офицер, после службы на острове Сахалин летел с семьёй к месту нового назначения. Самолёт врезался в сопку в условиях плотного тумана. Потребовалась специальная экспедиция, чтобы доставить останки пассажиров и экипажа. Клара прилетала из Владивостока в Хабаровск, приняла участие в опознании останков семьи Капланских и в их похоронах.

Несколько раз Клара приезжала из Владивостока в Москву в отпуска и на курсы повышения квалификации. В 1956 году они вместе с Виктором отдыхали в Ялте и заехали в Москву. Клара представила мужа отцу. Впрочем, восторженной реакции от Моисея Одина ожидать не приходилось: этот волевой человек, насколько я его помню, всегда был невозмутим и немногословен в оценках. И его жена Рахиль – тоже. Виктор понимал, что он – человек новый для семьи, в которой повседневным разговорным языком был идиш.

В том же году Виктор по окончании института был направлен на работу в город Артём и приступил к работе горного мастера угольной шахты. Получил комнату в общей трёхкомнатной квартире, к нему переехала Клара, и уже 19 февраля 1957 года у них родился сын Дима. Виктор бы-



Клара Одина и Виктор
Выголко, 1953 год

стро рос, стал заместителем главного инженера шахты, получил отдельную трёхкомнатную квартиру. Клара приступила к работе пат-анатома в местной больнице. Сынишку оставляли с домработницей – теперь они могли себе позволить эту роскошь и материально, и квартирные условия позволяли.

Кто знает, как и сколько лет жили бы они в Артёме, если бы Виктору не удалось, воспользовавшись объединением шахт, уволиться раньше обязательного срока отработки молодого специалиста. И в мае 1958 года молодая семья уже в Москве. В четырнадцатиметровой комнатке впятером, с годовалым ребёнком – можно себе представить, каково было и старикам, и молодым. Но были и проблемы с пропиской, с работой.

Энергичной Кларе удалось прописать и себя, и Виктора, несмотря на совершенно неудовлетворительные жилищные условия, при которых могли и не прописать. Ей удалось и быстро устроиться на должность патологоанатома в Управление судебной экспертизы. И, наконец, с помощью знакомых моей сестры Раи Виктор устроился в институт «Центрогипрошахт». Главным было то, что им удалось обосноваться в Москве, что в то время удавалось далеко не всем. Мало того: уже через два года они получили двухкомнатную квартиру в прекрасном районе Мневники. И хотя дом был, как говорили, «на курьих ножках», печальной славы «дом Лагутенко», и всего на пятерых две комнаты, по тем временам это был предел желаний.

Радость новосёлов была омрачена трагической болезнью и кончиной дяди Моисея, отца Клары: он тяжело умирал от рака лёгких в 52-й больнице, где к тому времени работала Клара. Тётя Рахиль пережила его более



Григорий Штеерман, погиб
в авиакатастрофе

чем на десятилетие.

52-я больница стала буквально родным домом Клары. Начав рядовым патологоанатомом, она затем возглавила отделение, ставшее настоящей научной лабораторией. Сама она опубликовала три десятка научных статей и уже в 1966 году защитила диссертацию. На базе её отделения было проведено немало научных исследований. Бывая у Клары по разным поводам, отнюдь не связанным с её работой, в том числе и семейным, я всегда восхищался атмосферой научного учреждения в лаборатории, насыщенной современной аппаратурой. Основным инструментом был, как я понимаю, микроскоп. Клара проработала в этой больнице три с половиной десятка лет, до самого отъезда в Израиль в конце 1996 года. Виктор в системе Минуглепрома также доработал до самого отъезда. На аэродроме Бен-Гурион их встречали сын Дима, невестка Лена и внучка Инна, репатриировавшиеся в Израиль ещё в 1989 году. О Диме хочется рассказать отдельно.

МОЙ ПЛЕМЯННИК ДМИТРИЙ ВЫГОЛКО-ОДИН

Живя по разные стороны мегаполиса Москвы, мы и с Klarой-то виделись в основном в дни семейных торжеств, а симпатичного их с Виктором сынишку Диму – ещё реже: не всегда они его к нам привозили. Знал, что он учится, что проблемы со здоровьем – что ж, и у нашего Саши были проблемы с лёгкими, и он был в санатории. Нам всегда казалось, что Клара его излишне опекает и – как бы не залечила, как её старший брат – своего сына. И всё-таки Дима стал отличным парнем, и мы были искренне рады, когда узнали, что он поступил в Московский Авиационный институт - МАИ. Мечта! Оба моих сына – и Вадим – раньше него, и Саша – позже Димы поступили в менее престижные ВУЗы. О МАИ для них я и не мечтал.

Поэтому для нас громом среди ясного неба была весть о том, что Диму отчисляют из МАИ и предлагают перевод в



Клара и Виктор в Израиле

другой институт – из-за чего? – всего-на-всего из-за того, что он не указал в анкете, что престарелые тёти его мамы проживают в США. Да ни его родители, ни он сам не знали, что это так важно. Но, пожалуй, предоставлю слово его отцу, Виктору Выголго. Он в подробностях описал этот печальный жизненный эпизод через более чем 20 лет здесь, в Израиле, и при моём

посредничестве поучительная для многих история была опубликована в тель-авивской газете «Секрет». Позднее Виктор Выголго включил, с изменениями, текст своего рассказа в свою книгу «От Востока до Востока». Приведу, с сокращениями, выдержки из присланного мне в 2006 году текста.

«Случилось это в конце 70-х годов прошлого века. Мой сын тогда учился на втором курсе Московского авиационного института (МАИ). Однажды он пришел с занятий хмурый, подавленный. На наш вопрос - что случилось - ответил, что его исключают из института.

- Как это исключают, за что? – хором воскликнули мы с женой.

- В анкете на допуск к секретной работе я не указал родственников, проживающих за границей.

- Ты сказал им, что ничего не знал об этом? – спросила жена, побледнев.

- Говорил, но они не поверили.

Мы с женой были в шоке. Выбор сына был не случайным. Он с малых лет был влюблён в авиацию и читал всё, что ка-

салось самолётов, знал многие марки лайнеров советских и зарубежных. Когда он решил поступать в МАИ, мы не препятствовали его выбору, но были почти уверены, что ему не поступить: престижный институт, большой конкурс, повышенные требования к абитуриентам и, наконец, в анкете: «Мать – Хая Моисеевна». Всё это, нам казалось, не для него. Но сын успешно сдал вступительные экзамены и прошёл по конкурсу. Разумеется, мы с женой были рады – поверили было, что есть справедливость на свете. И вот эта неожиданность...

На следующий день я отправился в МАИ, чтобы прояснить ситуацию. Начальник отдела кадров, к которому я сначала обратился, вероятно отставник, подозрительно на меня посмотрел, когда я изложил суть дела, молча порылся в каких-то бумагах.

- Да-да, исключаем, скрыл важный факт, - сказал он командирским тоном, - такие люди неблагонадежны. Раз соврал, два соврал, а там и до предательства недалеко... - Я не стал вступать с ним в полемику и отправился к проректору. Им был в то время Юрий Рыжов (ныне академик), приятный, интеллигентного вида человек. Он подтвердил слова кадровика:

- Да, мы вынуждены были исключить вашего сына. Скрывать такие вещи в анкете нельзя. Вы понимаете, - сочувственно уточнил он, - наш институт особый, ряд факультетов засекречен, мы обязаны соблюдать инструкции. Этот порядок не нами установлен. - Он поднял палец, давая понять, что над ними стоит кто-то повыше. - Так что ничем помочь не могу, к сожалению. Мой вам совет, - сказал он после короткой паузы, - переведите сына в другой институт, например, в энергетический. У него сходная программа первых двух курсов. Ему легче будет справиться с нагрузкой. Мы дадим ему возможность закончить второй курс у нас.

Я ушел от него расстроенный, озабоченный. Несколько дней я обдумывал свои дальнейшие шаги: что для начала предпринять? Наконец, решил.

- Может быть, мне сходить в КГБ? – неуверенно высказал я свою мысль жене.

- Ни в коем случае, - в сердцах возразила она. – Ты можешь

все испортить. Ты не представляешь себе, что это за организация.

Я не стал ей возражать, но эта мысль показалась мне разумной, ибо всё исходит «оттуда». И я решил рискнуть. Разумеется, я хорошо представлял себе, что это за ведомство. Вспомнилась летняя ночь 1937 года. В хате (мы жили в деревне) переполох. Отец узнал об аресте двух своих братьев и ждал, что с минуты на минуту придут за ним. Мать в слезах в срочном порядке



Дмитрий Выголко

собирала отцу белье в дорогу. Мы, дети, не понимая что происходит, стояли испуганные, сбившись в кучу...

Как не отговаривали меня жена, родственники, друзья отказать от этой «безумной» затеи с КГБ, но я был твёрд в своём решении. В конце концов, чего мне бояться: член парткома министерства, ветеран Отечественной войны, да и времена уже другие - наивно думал я тогда.

Одна из приемных КГБ находилась напротив главного корпуса, через площадь Дзержинского, рядом с метро его имени, на первом этаже невзрачного на вид особняка со скромной вывеской. Не без трепета вхожу в подъезд. Молоденький солдат проверил мой паспорт, кому-то позвонил по внутреннему телефону, и вот я – в «святая святых», в стенах этого грозного учреждения. Довольно большая продолговатая комната с тремя окнами, выходившими на площадь, в середине - длинный стол, по бокам - стулья. В конце комнаты железная дверь плотно заперта. В комнате – ни души. Я робко присел на крайний стул и стал ждать. Минут через десять железная дверь открылась, и вошел крупный мужчина лет сорока, крепкого телосложения. Его простоватое лицо было непроница-

емым. Невольно вспомнился Диккенс: «Лицо джентльмена, увы, не было овеяно дыханием интеллекта».

«Товарищ» сухо ответил на мое приветствие, не представившись, окинул меня цепким взглядом и спросил, что меня привело к ним. Я выложил ему всё, как на духу. Рассказал о том, как во время гражданской войны, когда на Украине начались еврейские погромы, мать отца моей жены с пятью детьми, после того как муж и двое других родственников погибли от рук погромщиков и была изнасилована младшая дочь, бежала из местечка и чудом сумела уехать в США. Долгие годы от них не было вестей. Во время Отечественной войны через советское полпредство им удалось разыскать своего брата в Москве, то есть моего тестя. Некоторое время они переписывались, а потом, уже после войны, переписка прекратилась, и нам с женой о их дальнейшей судьбе ничего не известно. (Здесь я покривил душой: связь, конечно, была. Тесть переписывался с сестрами, пока был жив). При заполнении сыном анкеты мы не рекомендовали ему упоминать об этих родственниках, как об очень далеких для него. Я признался «товарищу», что в этом, вероятно, была наша ошибка.

- Ну и что вы хотите от нас? - спросил он, вернувшись на своё место, и впервые задержал на мне свой взгляд. От его узких с прищуром светлых глаз мне стало не по себе. Я сказал, что прошу, чтобы они помогли мне восстановить сына в институте. Он ни в чём не виноват, честный комсомолец, примерный студент. «Товарищ» с любопытством, как мне показалось, взглянул на меня и затем сухо сказал:

- Мы к делу вашего сына отношения не имеем. Всё решает администрация института. Мы за их работу не отвечаем.

- Но ведь, - сказал я, - секретная часть в институте – это ваша служба. Вряд ли они принимают решения без вашего ведома.

- Вот что, - после некоторой паузы сказал он, - напишите подробное заявление в двух экземплярах и оставьте их у меня.

Он принес несколько листов бумаги, ручку, и я на одном дыхании накатал пространное заявление, ибо предвидел такой вариант и заранее продумал текст. Написав в двух экзем-

плярах, я отдал «товарищу». Он пробежал глазами текст и, вероятно, остался доволен, только попросил поставить дату. И всё. Никаких обещаний, заверений с его стороны не последовало. Я распрощался и, очень расстроенный, вышел из комнаты.

Прошло около двух недель. Однажды в воскресенье, в середине дня, у меня дома зазвонил телефон. Я снял трубку.

- Прошу прощения, - услышал я незнакомый мужской голос. – Это квартира товарища Выголко? С вами говорит Евдокимов из Комитета. Вы не возражаете, если я к вам сейчас подъеду? - Разумеется, я не возражал. Хотел было спросить, как он меня нашёл, но во-время спохватился, вспомнив, с кем имею дело. Ну, думаю, всё, крышка: сейчас заметут. Жду, волнуясь. Часа через два снова телефонный звонок. - Это Евдокимов. Вы извините, но у меня ничего не получается со временем. Не могли бы завтра часам к десяти приехать к нам в приёмную?

Против этого я тоже не возражал. «Теперь уж точно заметут», - подумал я. Нетрудно было понять наше с женой состояние. И вот я снова в этой комнате, но «товарищ» другой – молодой, спортивного вида парень, в мягкой кожаной куртке. Смуглое худощавое лицо, карие глаза, модная причёска – в общем, джентльмен. В комнате он был один, вероятно, поджидал меня. Он вышел из-за стола, пошел мне навстречу и даже пожал мне руку.

- Это я вам звонил вчера, - начал разговор молодой человек. – Меня зовут Николай Петрович. Можно просто Николай. Извините, что так получилось: дела, дела...» Что я мог на это ответить? Можно было бы ему посочувствовать, но я понимал, что это лукавство, их обычный трюк – проверка: тот ли я человек, за кого выдаю себя. Обычная подозрительность, недоверие к людям, укоренившееся за годы советской власти, когда почти в каждом человеке видели скрытого врага.

Мы усадились за стол друг против друга.

- Я познакомился с вашим делом, - начал он, глядя на лежащее перед ним мое заявление. – Не знаю даже, что и сказать. Вам уже говорил Иван Сергеевич, что в работу спецотделов

институтов мы не вмешиваемся. Правда, бывают случаи, когда мы поправляем товарищей. Но это крайне редко. - Он поднял на меня глаза и несколько секунд смотрел молча, видимо, подыскивая нужные слова. - Ваш случай нам кажется особым, - сказал он, наконец.

- Что вы имеете в виду?» - спросил я.

- Ну как же, связь с иностранцами, попытка проникнуть на секретный факультет. Вы же не можете поручиться, что ваши, кто там – тетушки, что ли, не связаны с ЦРУ.

- О чем вы говорите? - вспыхнул я, - какая связь? Малограмотные старухи. Их, возможно, и в живых-то нет.

- Но у них есть дети, внуки, и мы не знаем, кто они, каково их отношение к Советскому Союзу....

Он начал говорить о том, какая сейчас международная обстановка, что усилили свою враждебную деятельность иностранные разведки, особенно ЦРУ, что надо быть бдительными... Но я почти не слушал его, меня всего трясло от возмущения. Какой примитив, какая дремучесть, в каком временном пространстве они все еще находятся? Даже времена «холодной войны» давно прошли....

- Но мы вам можем помочь, - донеслось до моих ушей, - можем попытаться, в виде исключения, восстановить вашего сына в МАИ при условии... - он осёкся, ещё раз внимательно посмотрел на меня, словно решая: продолжать или не стоит. - Поймите меня правильно... Словом, чтобы сын ваш оказывал нам соответствующие услуги. Вы понимаете, о чём я говорю?

Я понял, куда он клонит. Это его предложение меня возмутило.

- Знаете что, мой сын комсомолец, человек честный и идейный. Если бы при нём какой-нибудь мерзавец вёл антисоветскую пропаганду, уверяю вас, он дал бы ему в морду. Но быть сексотом...

- Ну зачем так грубо, - изменил свой тон Евдокимов, - речь идет о гражданском долге. Каждый советский человек должен помогать своим органам безопасности. Я вам высказал свое мнение. Ну хорошо. - Он встал из-за стола, и мне по-

казалось, что он в некотором смятении. – Будем считать, что у нас с вами разговор не состоялся. – Он дал понять, что встреча закончилась. На прощание он сказал: – Надеюсь, вы понимаете, что о нашей с вами беседе распространяться не следует. К сожалению, мы ничем не можем вам помочь в такой ситуации.

Потом я узнал, что Евдокимов побывал в парткоме министерства, наводил обо мне справки. Как не странно, мне в парткоме дали довольно лестную характеристику. К слову сказать, мой визит в КГБ не прошел бесследно. Меня больше, к моей великой радости, не избирали ни в партком, ни в партбюро, ни секретарём первичной парторганизации. К счастью, это не отразилось на моей служебной карьере...

После этого визита в КГБ мне стало ясно: о восстановлении сына в МАИ нечего и думать. Необходимо было подыскивать другой институт. Дома мы посоветовались и остановились на МЭИ – Московском энергетическом институте. Летом я взял отпуск и целиком занялся переводом сына в этот институт.

Проректор МЭИ показался мне человеком жёстким, грубоватым. Он сухо с нами поздоровался, жестом указал на стулья, стоявшие у стола. Запомнился небольшой уютный кабинет: на стенах какие-то электрические схемы, на отдельном столике макет, похожий на электроподстанцию.

Он не стал выслушивать мою историю, а сразу приступил к делу. Назвал на выбор несколько факультетов не засекреченных. Я спросил, нельзя ли на факультет вычислительной техники.

- Нет, нельзя, - резко возразил он, - факультет закрытый.

- А я знаю, что там учатся иностранцы, - неожиданно подал голос сын.

- Позвольте нам самим решать, кому и где учиться, - и обратившись к сыну добавил: - а ты сиди и помалкивай, ты уже своё дело сделал. - Меня возмутил его тон, и я заметил, что с нами не надо так разговаривать: мы пришли не в частную лавочку наниматься. Он немного смягчился, закурил, прошёлся по кабинету. Небольшого роста, щуплый, с понурой головой, тронутые сединой волосы. Вернувшись за стол, он погасил

сигарету и уже другим тоном предложил нам ещё ряд незакрытых факультетов. Наиболее подходящим для нас показался факультет «Электрификация и автоматизация промышленных предприятий и городского транспорта», и специальность «Городской электрический транспорт». Договорились, что сына возьмут на третий курс с условием, что он в течение первого семестра сдаст два экзамена и выполнит со студентами второго курса 14 лабораторных работ.



Дмитрий Выголко в Израиле

- Но имейте в виду, - предупредил нас начальник курса, когда мы зашли к нему уточнить условия сдачи экзаменов и лабораторных работ, - если он не будет успевать, мы вынуждены будем перевести его на второй курс.

Скажу коротко: сын выполнил все, что от него требовалось, выдержал испытания, свалившиеся на его хрупкие плечи. Только его с тех пор как подменили: он замкнулся в себе, стал еще более молчаливым, равнодушным ко всему, что происходило в стране. В свои неполные 20 лет сын столкнулся с вопиющей несправедливостью. Ему наплевали в душу, лишили права выбора профессии, убили веру в справедливость, зародили в его душе ненависть к стране, «самой демократической в мире»...

Как бы то ни было, сын успешно закончил институт, защитил диплом инженера на «отлично». Начал работать в республиканской проектной организации. Неизвестно, как бы сложи-

лась его дальнейшая судьба, если бы не горбачевская перестройка. Был разрешён свободный выезд из страны, и сын с семьёй репатриировался в Израиль...».

К рассказу папы Виктора добавим, что сына Диму, окончившего в 1980 году МЭИ и вынужденного заниматься проектированием электроподстанций для городского транспорта, такая работа, да ещё с небольшой зарплатой, никак не могла устроить. Лучом света для него стало знакомство со студенткой Института геодезии и картографии Леной Островской, ставшей другом его жизни. Их свадьба в 1984 году запомнилась мне тем, что симпатичная пара отлично смотрелась, а ещё тем, что мама Клара, привыкшая плотно опекать сына и вообще всю жизнь опасавшаяся любых жизненных осложнений, и на его свадьбе бдительно следила за тем, чтобы, избави Бог, всё было благопристойно. Конечно, так оно и было.

У молодых родилась дочь Инночка, однако её детство было омрачено хронической астмой. Думается, Дима и Лена и без того бы были не из последних, уехавших на историческую родину. Болезнь дочери явилась едва ли не главным фактором того, что уже в конце 1989 года они репатриировались. По приезду проявили буквально героизм, живя в поселении на территориях во времянке-«караване» и своими руками построив двухэтажный коттедж. Ныне Лена и Дима отлично устроены, успешно работают, Инночка учится.

Клара и Виктор, конечно, не могли оставаться одни, без единственного сына и внуки. После длительной «пристрелки» они в конце 1996 года, через три месяца после автора этих строк, прилетели на ПМЖ в Израиль. В Москве они, так же как и автор, проработали до последних перед отлётом дней. На редкость «семейный» сын создал родителям условия, идеальные для двух пожилых пенсионеров. Здоровья и благополучия им и их семье в наступающем, юбилейном для обоих году.



Дмитрий, Лена и Инночка Выголко на юбилее автора

МОЙ БРАТ ИОСИФ ОДИН

Мой двоюродный брат Иосиф Один был человеком неординарным. Читатель вправе усмотреть в таком начале личное расположение к родственнику, да ещё и столь близкому: мой отец – родной брат матери Иосифа – и, наоборот, отец Иосифа – родной брат моей мамы. А сам Иосиф, напомним, родной брат Клары Одиной. Сразу открою «секрет»: несмотря на такие «братские узы», общались мы совсем не часто. Причин – несколько. В молодости жили по разные стороны Москвы, в то время в её пригородах, а это – как бы в разных государствах тесной Европы. При том, послевоенном состоянии московских и тем более подмосковных улиц и транспорта на дорогу с несколькими пересадками, в том числе на пригородный поезд, надо было потратить в один конец часа три.

Да и разница в возрасте – десять лет: Иосиф – с 1923 года, я – с 1933-го. Перед началом войны брату было под 18, а

мне – только 8 лет. К тому же по окончании института в 1949 году Иосиф лет пять работал в российской глубинке, а года с 1954-го жил на Украине, в Краматорске Донецкой области. Но и в эти годы наши личные встречи нет-нет, да случались, потому что Иосиф часто бывал в Москве, а я, нередко бывая в Донбассе, обязательно заезжал в Краматорск. Зато в 1960-80-х годах мы не так часто, но регулярно переписывались. Когда начался беспредел, распад Союза и крах на Украине, Иосиф очень болезненно всё это воспринял и существенно сократил переписку. Но мы всегда, так или иначе, были в курсе его дел и состояния здоровья.

В эпитете «неординарный» - никакого преувеличения. С раннего детства Иосиф проявлял незаурядные способности, несмотря на тяжелейшие условия, в которых жила семья рабочего химического завода Моисея Одина и его жены Марьям, в девичестве Ринской. Холодный подвал, в котором по стенам сочилась вода, стал роковым для Марьям, которая заболела ревматическим пороком сердца и в 1932 году умерла. в 32-летнем возрасте. Родная сестра Марьям, Рахиль, ухаживала за детьми – Иосифом и Кларой, родившейся в 1927 году. После смерти Марьям сестра Рахиль заменила им мать.

Вслед за своей мамой и Иосиф заболел ревматическим пороком сердца, который в те годы лечить не умели. Пятнадцать лет прожила семья в сыром подвале, и только в 1938 году Одины получили 14-метровую комнату на четверых в Покровском-Глеbove, в то время ещё пригороде, после войны присоединённом к Москве, как и городок Перово, в котором жили мы, Ринские. В старших классах Иосиф учился в соседнем Покровском-Стрешневе, где была единственная в округе школа-десятилетка. Все годы он был отличником и в числе лучших окончил 10-й класс как раз в июне 1941 года.

С раннего детства Иосиф буквально «болел» шахматами, занимаясь ими во всё более серьезных кружках, добиваясь успеха во встречах с уже именитыми сверстниками. Запомнилось, что на его счету были победы и над тогда ещё юным Василием Смысловым – Иосиф хранил приз за тот турнир. Он встречался с Корчным, Талем. В ущерб учёбе брат не

переувлекался шахматами, пропускал турниры, но выполнил норматив, то ли кандидата в мастера то ли мастера – во всяком случае, значок у него был, хотя он редко его носил, как и военные награды.

Прошу читателя обратить внимание, что школу в Покровском-Стрешневце упоминает герой одного из рассказов Иосифа, командир эскадрильи, герой Советского Союза Белавин. Нет сомнения, что и он (или его прототип) учился в этой школе – было принято, да и ныне тоже, устанавливать бюст героев перед зданием школы, воспитавшей героя, и как раз об этом говорит Белавин. Скорей всего, Иосиф написал рассказ о нём под впечатлением рассказа Белавина при встрече выпускников школы, а может быть и их личной беседе или встречах в дружеском кругу. Из текстов рассказов и повести нетрудно сделать вывод, что все они – на основе реальных событий и эпизодов войны и первых послевоенных лет.

22 июня 1941 года гитлеровцы напали на Советский Союз, и в первые же дни войны весь десятый класс школы, практически в полном составе, встал в очередь добровольцев у военкомата. Большинство были направлены на фронт, но Иосифу отказали: куда же, с ревматическим пороком сердца? Отец, бывший кавалерист-драгун ещё царской армии, Георгиевский кавалер – редкий случай для евреев, - хорошо зная, каково больному человеку в окопах, категорически запретил Иосифу идти на фронт, но сын снова и снова приходил в военкомат. Всё-таки медики и военкомат проявили твёрдость, Иосифу пришлось смириться и в августе 1941-го сдать экзамены в институт. Он избрал Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), один из самых престижных, и самый трудный факультет - «Мосты и тоннели».

Уже в октябре 1941 года институт был эвакуирован в Новосибирск, с ним и Иосиф, опередив семью, уехавшую в Минусинск в самые тяжёлые для Москвы дни середины ноября. Иосиф приезжал из Новосибирска к нам, в Минусинск, где в эвакуации были и семья Одиных, и наша семья Ринских. Я тогда был мальчишкой и не помню, скорей всего это было до его призыва, то есть приезжал на каникулы из Новосибирска.

Возможно, и после ранения ему довелось долечиваться - был предоставлен отпуск. Именно в Минусинске я удостоился высокой чести сыграть со старшим братом несколько партий в шахматы. Точнее, это был, как сейчас бы сказали, мастер-класс.

Запомнил, что перед тем, как сделать ход, он прищёлкивал длинными пальцами правой руки. Руки у Иосифа тоже были особые, нервные и чуткие. Он ловко лепил пальцами рук фигурки различных зверей — любых, по заказу - из хлебного мякиша. Ему даже не надо было иметь перед



Иосиф и Лиза Одины, 1951 год

собой картинку зверя или птицы. Так что Иосиф при желании мог стать и гроссмейстером, и скульптором. В Минусинске было так голодно, что я не решался попросить его лепить из хлеба, как в Москве до войны. Зато у Иосифа это здорово получалось и из чёрного вара, который мы «с голодухи» жевали, если удавалось «достать».

В конце 1942 года, в напряжённые для страны дни, когда Иосиф учился уже на втором курсе, он всё-таки добился своего и был направлен на фронт из Новосибирска. Без всякого учёта его болезни, Одина определяют в пулемётчики. Тяжёлые станковые пулемёты «Максим» времён ещё Первой мировой войны были одним из самых трудных для солдат видом «окопного» оружия. Нелегко даже представить, как невысокому, худенькому, а главное хронически больному Иосифу и его второму номеру удавалось не только управляться со сборно-разборным монстром общим весом 70 килограмм, но

сержанту Одину ещё и одновременно руководить отделением. В повести «Три дня» Иосиф очень правдиво описал нечеловеческую тяжесть и опасность фронтового бытия пулемётчика. В то же время в повести со знанием дела и пониманием куда более высокого, чем рядовой пулемётчик, уровня даётся во всём разнообразии объёмная картина военных действий. Становится понятным, как это понимание обстановки помогло студенту-пулемётчику выстоять и заслужить награды за отвагу.

Трудно найти пулемётчика-фронтовика Второй мировой войны, которого бы миновали пули, а то и гранаты и снаряды врага: пулемётные точки всегда были в центре внимания противника. Не избежал вражеских «знаков внимания» и Иосиф. И всё же после двух серьёзных ранений он возвращался на фронт без всякой на них и на болезнь скидки. Как раз на следующий день после описанных им в повести трёх дней августа 1943 года пулемётчик Один был тяжело ранен, причём один из осколков снаряда «попал в левую часть грудной мышцы и вылетел подмышкой». То есть прямо просквозил тело в области лёгких и его и без того больного сердца.

И с таким-то ранением волевой солдат, «скособочившись, с вещмешком за спиной и автоматом на шее» уходя к медикам, с сожалением покидает 1099 полк 326-й дивизии, который он называет родным и в который надеется вернуться. Но после госпиталей, как пишет Иосиф, «родной для него станет бывшая правая соседка, 385-я стрелковая дивизия. А уж после нее – 5-я мотострелковая бригада 5-го танкового корпуса...». Иосиф снова был ранен. Долгое лечение в Польше, и наконец он возвращается в Москву и продолжает учёбу в МИИТе, уже вернувшемся из Новосибирска. Но квартира Одиных занята другими – в войну местные власти имели право заселять квартиры эвакуированных. Иосифу пришлось спать в кладовке, и лишь по возвращении из эвакуации семье Одиных удалось вернуть квартиру, как семье фронтовика.

Иосиф и в институте, несмотря на трёхлетний перерыв, ранения и обострившиеся болезни, - один из первых в учёбе. В то время железнодорожный транспорт, в том числе его инсти-

туты, был на военном положении, преподаватели и студенты также носили специальную форму и погоны. Их отменили только, кажется, в конце 50-х годов.

В послевоенные годы, когда Иосиф учился в институте, а я - в старших классах школы, мы встречались почаще. Откровенно скажу: «мастер-классы» шахмат и лепки не имели благих последствий для не столь талантливого, как маэстро, ученика. Но вот рассказы и мудрые советы в душу запали и, кажется, пошли на пользу.

Окончив институт в конце 40-х годов, Иосиф Один направляется по распределению на работу в один из мостостроительных поездов, зоной действия которого был Южный Урал. Как раз в 1950 году автор этих строк окончил школу. Михаил Ринский мечтал пойти по стопам старшей сестры, окончившей 1-й Московский медицинский. Тогда же стала врачом и родная сестра Иосифа Клара. Но их младшему брату в те годы «борьбы с безродными космополитами» и назревавшего «дела врачей» подавать в медицинский было просто глупо – это тогда недвусмысленно дал понять министр здравоохранения. Тем более, что по какому-то «делу» пытались «зацепить» и отца, Матвея Ринского. И старший брат Иосиф убедил младшего Михаила, что только в его институте он может рассчитывать на объективность приёмной комиссии. Так и получилось: автор этих строк внял мудрым советам и не так легко, как старший брат, но всё же поступил вслед за ним в МИИТ и в 1955 году успешно окончил его же факультет «Мосты и тоннели».

Каждым летом мы, студенты, ездили в военные лагеря и на производственную практику, затем у нас ещё оставался месяц, который мне пришлось все пять лет, как правило, использовать для подработки – тяжело болел отец, нужно было дотянуть с деньгами до окончания института: родители категорически были против моего перехода на вечернее отделение. И вот летом 1953 года я, по совету Иосифа, приехал к нему в мостопоезд на станцию Бреды, южнее Челябинска, и работал у него в теходеле, а затем месяц - бригадиром монтажников. Но речь не обо мне – просто здесь я убедился в

высокой подготовке инженера Иосифа Одина и в самом уважительном к нему отношении всех сослуживцев - и начальников, и подчинённых.

Брата уважали как руководителя, инженера и фронтовика – пулемётчика, неоднократно раненного. Прошедшего войну, несмотря на большое сердце и раны. Но, при его "типичной" внешности, Иосифу, в этом пьяном городке и в этом рабочем коллективе на колёсах, не раз приходилось слышать в адреса свой и своего народа привычные, как мат, шаблоны. А может быть – и угрозы. Слишком мало времени прошло после смерти "великого антикосмополита", и в народе ещё продолжало расходиться кругами: "Ату их!". Наверное, поэтому в комнате Иосифа у двери стоял тяжёлый арматурный прут, "на всякий случай", как сказал он. А дверь закрывалась изнутри на засов.

Но не исключено, что причиной несколько болезненного чувства опасности у брата было, помимо той среды, ещё и прошлое постоянное напряжение на фронте. В дальнейшем мне приходилось не раз наблюдать подобную насторожен-



Иосиф и Лиза с сыном Лёней

ную реакцию у людей, выживших в Афганистане или Чечне, да и в Израиле – среди прошедших через Холокост, Вторую мировую и войны за независимость.

Через несколько месяцев после моего отъезда из Бред Иосиф уволился из мостопоезда и уехал в Краматорск, где жила со своими родителями жена Лиза, к тому времени уже растившая их сына Лёню.

Огромный Новокраматорский завод тяжёлого машиностроения – уникальное многопрофильное предприятие, работавшее как на «оборонку», так и на «великие стройки», в том числе выпускавшее уникальное крановое оборудование для предприятий, шагающие экскаваторы. В короткий срок, благодаря своим качествам и прекрасной подготовке мостовика-расчётчика, Иосиф Один стал одним из ведущих специалистов – авторов новых уникальных конструктивных решений. Иосиф защищает кандидатскую диссертацию. Выпускает книги по расчёту и конструированию крановых конструкций, которыми пользуются специалисты, как учебным пособием. Он мог бы внести куда больший вклад в теорию и практику уникального машиностроения, но, с одной стороны, его должностной рост искусственно ограничивается. А с другой – нередко подводят развивающиеся болезни.

Нельзя не сказать о замечательной спутнице жизни Иосифа, его жене Лизе, которую уважала и любила вся наша семья. Она, при



*Иосиф и Лиза
Одины в гостях
у нас в Перово, с
Басей и Тamarой
Ринскими*

своей ответственной работе главного бухгалтера предприятия, в любые, даже самые трудные времена всегда делала всё возможное для здоровья, научного и производственного успеха Иосифа и их сына Леонида. Талантливый сын Иосифа и Лизы стал одним из ведущих специалистов по разработке прокатных станков, кандидатом технических наук. Он и ныне работает на заводе в Краматорске. Необходимо ещё и сказать, что родная сестра Иосифа Клара Одина – также кандидат наук, только медицинских. Итак, три кандидата, а по западным и израильским критериям – три доктора наук в семье Одиных.

Беспредел «перестройки», развал страны особо болезненно отразились на ещё недавно мощных краматорских заводах; город погрузился в бездну безработицы, нищеты. Иосиф был вынужден уйти на пенсию, буквально нищенскую при той инфляции, которая царила на «самостийной» Украине в 1990-х годах.

В этот тяжёлый период Иосиф старался поддержать свой дух, взяв в руки авторучку. Именно в середине 1990-х годов им написаны рассказы и повесть о войне, которые предлагаются вниманию читателей. В них - чистая правда, все они опираются на реальные факты. написаны отличным русским языком и практически не потребовали правки.

Талантливый и разносторонний человек, самоотверженный воин-пулемётчик, инженер-мостовик и кандидат технических наук – новатор уникального кранового машиностроения, автор технических книг, Иосиф Один, как оказалось, мог стать и отличным литератором. Быть может поэтому он так любил песни войны - не строевые, а лирические: «Бьётся в тесной печурке огонь...», «Бакенщик ехал на лодке...» и задушевно их пел в тесном кругу. Про свои боевые подвиги рассказывать не любил.

К сожалению, Иосиф скончался в Краматорске в 2003 году. Рукописи его рассказов и повести о войне пролежали полтора десятка лет и были обнаружены сестрой Иосифа Кларой Одиной, живущей ныне в Иерусалиме. Её сын Дмитрий переслал мне эти материалы, которые, как оказалось, столь высокого

уровня, что не потребовали больших усилий при их подготовке к печати. Я подготовил их к печати и опубликовал в тель-авивской газете «Вести» в начале 2012 года. В этой книге они вынесены в приложение. Надеюсь, читатели по достоинству оценят литературные способности Иосифа Одина, прочтя три рассказа и повесть моего старшего брата.



Тамара и Михаил Ринские и Иосиф
Один

АМЕРИКАНСКАЯ ВЕТЬ ОДИНЫХ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Европа стонала под гитлеровским сапогом; Советский Союз напрягал все силы в жестокое противодействии общему врагу; гибли миллионы людей не только от пуль, но и от голода. Америка тоже воевала, причём на два фронта: помогала Европе и Советскому Союзу и несла основное бремя войны с Японией. Но мощная экономика и отдалённость от фронтов позволяли американцам не слишком ощущать тяготы войны.

Наглядный пример этой разницы – положение двух ветвей Одиных: Моисея, Баси и Жени в СССР и мамы Розы с Ривой и Феней, Сэма, Сони и Фриды - за океаном. О положении в Советском Союзе мы уже знаем хорошо.

Ещё в предвоенный период жизнь американской ветви Одиных определилась, стала стабильной и вполне обеспе-

ченной. Естественно, не в равной степени: понятно, что нельзя сравнить материальное положение семей Сони и Фриды, мужья которых были успешными промышленниками, и положение их сестёр Ривы и Фени, простых работниц швейной фабрики. Но и Рива с Феней были квалифицированными портнихами и неплохо зарабатывали. Они всю жизнь прожили вместе. С ними до самой кончины в 1944 году жила и мама Роза.

Сын Ривы Иосиф получил высшее образование. Способный программист, один из энтузиастов компьютерного дела, он организовал одну из первых компьютерных фирм, которая быстро выросла в крупное предприятие. У Иосифа Одина и его жены Эвелин – четверо детей, и у них – свои дети. К сожалению, Иосиф рано, в возрасте 52 лет, ушёл из жизни от тяжёлой болезни.

Сыновья Фриды также получили высшее образование, у них – по несколько детей и внуков. Несмотря на огромное расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, сёстры и их семьи часто встречались, проводили вместе праздники. А в фирме сына Ривы Иосифа работал и младший сын Фриды Ральф.



Мои двоюродные братья, сыновья американских сестёр Одиных

Долгое время обстановка в России не позволяла даже переписываться открыто с американскими родственниками. Ухищрялись сохранять связи через друзей, почтой "до востребования". Во время войны переписку со своими сёстрами поддерживали Моисей Один и Бася Ринская, но с 1947 года пришлось снова «уйти в подполье» - переписываться через московский Главпочтамт до востребования, что, впрочем, вовсе даже не гарантировало тайны личной переписки. Лишь в 1967 году Рива приехала в Москву навестить сестёр. Брата Моисея уже не было в живых. При этом, как и всем западным туристам, ей было предписано советскими властями ночевать только в гостинице, и приезды её в квартиры Баси и дочери Моисея Клары были полулегальными. Тем не менее, пренебрегая возможным преследованием, мы, племянник и племянницы тёти Ривы, заезжали за нею в гостиницу и возили – показывали ей Москву. В 1969 году Рива, на сей раз вместе с Фридой, снова приезжали в Москву, и снова встречи были в тех же условиях. Оба раза в Москву, повидаться с сёстрами, приезжала из Славянска и их сестра Женя, останавливалась у нас. Встречи эти были настоящими праздниками, на фоне безрадостной жизни.

Через несколько лет бдительные советские органы ещё припомнят Одним «связи с заграницей», когда сыну Клары Дмитрию придётся покинуть Авиационный институт именно по этой причине. О том, что пришлось им пережить, читатель прочёл в главе «Мой племянник Дима Выголко-Один».

Сейчас, когда пишутся эти строки, уже нет в живых никого из братьев



Две россиянки - Женя и Бася (первая и третья) с дорогими гостями - сёстрами из США Фридой и Ривой (третья и четвёртая)

и сестёр Одиных. Несколько раз приезжали ещё в СССР их родственники и потомки. А затем, к сожалению, прервались межконтинентальные контакты. По-разному сложились судьбы двух стволов генеалогического дерева семьи Иосифа и Розы Одиных: тяжёлые и в постоянной тревоге – у россиян и в целом спокойные - у преуспевающей американской поросли. Сейчас их разделяют и расстояние, и языковой барьер, и жизненные условия. Но объединяет передающаяся из поколения в поколение память о трагедии той погромной ночи в местечковом городке Чигирине.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО:

«ЧТОБЫ СЛОВО «ЖИД» НАВЕК ИСЧЕЗЛО»

Недавно, заглянув в свой архив, где много лет хранятся старые, пожелтевшие от времени подшивки и записи, я обнаружил там массу интересного, не только не потерявшего сво-



Дорогие американские тёти в гостях у нас, в Перово

ей ценности за многие годы, но, наоборот, способного подчеркнуть актуальность многих проблем и в наши дни, освежить и обогатить воспоминания нашего поколения ровесников плеяды «шестидесятников».

Целый раздел архива посвящён этому выдающемуся в русской и советской поэзии времени и этой талантливой плеяде: здесь и вырезки из газет, и «Тарусские страницы» - один из «тройных коней» будущего литературного прорыва, и первые рукописные, машинописные и ротаторные «самиздания», в то время преследуемые, но тем более интересные.

И вот - подборка Евгения Евтушенко. Его смелый шаг - публикация в сентябре 1961-го, можно сказать - на заре поэтического прорыва, в «Литературной газете» стихотворения «Бабий яр» - произвёл в то время эффект взрыва. Не то, чтобы до Евтушенко о трагедии Бабьего яра не знали вообще, но существовало негласное «табу» на темы - эту и ей подобные.

Уже после публикации Евтушенко, где-то в конце 1960-х, я, будучи в Киеве в командировке, счёл необходимым для себя побывать у этого оврага, где за время оккупации нацисты и полиция уничтожили свыше ста тысяч человек, большей частью евреев.

Доехав автобусом до ближайшей остановки, я по пути спрашивал прохожих, как пройти к Бабьему яру - и, представьте себе, многие даже не знали такого названия, хотя и знали названия близлежащих улиц: союзные и киевские власти всё ещё продолжали замалчивать трагедию, и памятника всё ещё не было у заросшего оврага. Зато были проекты застройки этого святого места, но на это кощунство власти не решились. Памятник открыли только в 76-м году.

Надо сказать, что Е. Евтушенко не был первооткрывателем темы Бабьего яра, в том числе и в поэзии: ещё в 44-м году Ильёй Эренбургом было опубликовано одноимённое стихотворение, полное боли:

*Моё дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня...*

Сразу после войны, в период победной эйфории, был разработан проект и планировалось сооружение памятника жертвам Бабьего яра, но национальная политика Советского государства изменилась, и надолго. Вплоть до того, что собирались построить стадион на месте стотысячных расстрелов, и только решительные протесты, в том числе статья Виктора Некрасова в «Литературке» в 1959-м, остановили эту циничную акцию. Но этим дело и ограничилось: умолчание продолжалось...

И вот тут прогремел совершенно необычный по мощности и проникающей радиации воздействия на умы стихотворный взрыв, неизвестно кем и почему допущенный в печать. Евтушенко не просто сказал что-то новое, даже не просто распахнул тюремные ворота перед наглухо запрещённой тематикой антисемитизма. Он назвал всё и всех своими именами и расставил точки над «і», раз и навсегда порвав с очень многими:

*Еврейской крови нет в крови моей,
но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому - я настоящий русский.*

«Не забывайте, - писал впоследствии сам поэт, - что это было первое стихотворение против антисемитизма, напечатанное в советской прессе после стольких антисемитских компаний сталинского времени».

Нельзя не воздать должное редактору «Литературки» В.А. Косолапову, героически взявшему на себя ответственность и подписавшему номер в печать, чего настолько не ожидали в редакции буквально все, что бросились снимать копии с подлинника Евтушенко. В дальнейшем В. А. Косолапов помог Евтушенко и с публикацией «Наследников Сталина».

Итак, «Бабий яр». Вызов всем догматикам, всем антисемитам, всем директивам... Это уж слишком. Ату его! И тут же находится старший по возрасту, в ту пору известный в кругах, а ныне практически забытый профессиональный поэт Алексей

Марков, который на страницах газеты «Литература и жизнь» публикует ответ на «Бабий яр» (текст из моего архива; часть его, приводимая Евтушенко в одной из статей, совпадает) :

*Какой ты настоящий русский,
Когда забыл про свой народ?
Душа, как брючки, стала узкой,
Пустой, как лестничный пролёт...*

И хотя Евтушенко именно подчёркивает принадлежность к своему, русскому народу, А. Марков чем дальше по тексту, тем больше винит его в недооценке жертв и роли русского народа (хотя стихи Евтушенко совсем этого не исключают) и, распалясь, позволяет себе даже избитые эпитеты ещё не забытой им сталинской эпохи:

*... Их сколько пало миллионов -
Российских стриженных солдат!*

*Их имена не сдуют ветры,
Не осквернит плевром пигмей.
Нет, мы не спрашивали метрик,
Глазастых заслонив детей.*

*Пока топтать погосты будет
Хотя один космополит,
Я говорю: «Я русский, люди!»,
И пепел в сердце мне стучит.*

Обвинения были не только фискальные, но и лично обидные и требовали ответа. Е. Евтушенко, опубликовав «Бабий яр», уже перешёл свой Рубикон, и теперь можно было ждать всего: крутой нрав Н. Хрущёва и иже с ним совсем недавно все почувствовали на примере Б. Пастернака: его «Доктора Живаго» и Нобелевской премии. Следовало бы дожидаться реакции, а не усугублять ситуацию резким ответом - так советовали опытные друзья молодого поэта. Но таков уж ха-

рактик был у этих будущих «шестидесятников» - они рвались в бой.

Имели ли они моральное и творческое право на стихи столь глобального масштаба, которые впоследствии назовут историческими? Кроме Окуджавы, все они - Евтушенко и Вознесенский, Ахмадулина и Рождественский - были ещё молоды, и отнюдь не все подлинные авторитеты поэзии восприняли их даже творческую манеру к этому времени. Так, А. Ахматова саркастично называла Евтушенко и Вознесенского

«гениальными эстрадными поэтами», как бы в утешение добавляя: «Игорь Северянин тоже был талантливым эстрадником».

Но подлинные таланты никогда не препятствовали смелому новаторству. Хуже было то, что правили балом такие, как Марков, с их подходящей властям тематикой: у того же Маркова - «Вышки в море», «Михайло Ломоносов», «Ильич», «Ермак».

Им, молодым, «вписаться» бы сначала, а потом уж осмелеть, но они рвались в бой.

Вот и с ответом Маркову, несмотря на советы, Евтушенко не заставил себя ждать. Он пишет о Маркове в третьем лице:

*...Не мог он сдержаться: поэт - не еврей
погибших евреев жалеет, пигмей!*

Поэта-врага он прикончит ответом -



памятник в Киеве, в Бабьем Яру

*обёрнутым в стих хулиганским кастетом.
В нём ярость клокочет, душа говорит.
Он так распалился, что «шапка горит»!*

*Нет, это не вдруг: знать, жива в подворотне
Слинявшая в серую чёрная сотня.
Хотела бы снова подпившая гнусь
Спасать от евреев несчастную Русь...*

По свидетельству самого Е. Евтушенко, после «Бабьего яра» «я находился под огнём официальной критики, и каждую мою строку рассматривали в лупу, выискивая крамолу. Шовинисты обвинили меня в том, что в стихотворении не было ни строки о русских и украинцах, расстрелянных вместе с евреями. Идеологические нащёпыватели спровоцировали Хрущёва, доложив ему, что я представляю трагедию войны так, как будто фашисты убивали только евреев, не трогая русских. Словом, меня обвинили в оскорблении собственного народа».



Поэт Евгений
Евтушенко

Чёрные тучи нависли над творческой судьбой молодого поэта - слава Богу, что прошли времена более радикальных решений судеб.

Одним из тех, кто выступил в защиту Евтушенко, был Константин Симонов, и это особо показательно, потому что личной дружбы между ними не было: «...Мы не дружим - скорее соседствуем...», - писал Евтушенко. Но в это трудное для него время Симонов, уже сам будучи в «отодвинутых», но по-прежнему авторитетный, пришёл на помощь молодому таланту.

Думаю, необходимо привести стихотворение К.Симонова полностью в том виде, как оно попало ко мне в «самиздате», так как по силе воздействия и уровню оно - в одном ряду с лучшими его стихами, а тем более по содержанию - мощней-

шая поддержка Евтушенко:

*Две разных вырезки из двух газет.
Нельзя смолчать и не ответить. Нет!*

*Над Бабьим яром, страшною могилой,
Стоял поэт. Он головой поник.
Затем в стихах со страстностью и силой
Сказал о том, что пережил в тот миг.*

*И вот другой берётся за чернила.
Над пылкой фразой желчный взгляд разлит.
В стихах есть тоже пафос, страстность, сила.
Летят слова: «пигмей», «космополит».*

*Что вас взбесило? То, что Евтушенко
Так ужаснул кровавый Бабий яр?
А разве в вас фашистские застенки
Не вызывали ярости пожар?*

*Или погромщик с водкою и луком
Дороже вам страданий Анны Франк?
Иль неприязнь к невинным узким брюкам
Затмила память страшных жгучих ран?*

*Прикрывшись скорбью о парнях убитых,
О миллионах жертв былой войны,
Вы замолчали роль антисемитов,
Чудовищную долю их вины.*

*Да, парни русские герои были,
И правда, что им метрики - листок.
Но вы бы, Марков, метрики спросили -
Так и читаю это между строк.*

*И потому убитых вы не троньте -
Им не стерпеть фальшивых громких слов.*

*Среди голов, положенных на фронте,
Немало и еврейских есть голов.*

*Над Бабьим яром памятников нету,
И людям непонятно - почему.
Иль мало жертв зарыто в месте этом?
Кто объяснит и сердцу, и уму?*

*А с Евтушенко - каждый честный скажет:
Интернационал пусть прогремит,
Когда костями поглубже в землю ляжет
Последний на земле антисемит.*

Думаю, что и само стихотворение, и его содержание, и степень воздействия его на читателя, и принципиальная позиция его автора в комментариях не нуждаются. Несомненно, что такая мощная и бескомпромиссная поддержка явилась одним из амортизаторов реакции властей.

И ещё одно событие сыграло одну из решающих ролей в судьбе молодого автора и его выдающегося произведения.

Великий Д. Шостакович обратил внимание на стихи Евтушенко и пригласил его к работе над текстом для своей Тринадцатой симфонии. В этой симфонии удивительно соединились, как писал поэт, «... реквиемность «Бабьего яра» с публицистическим выходом в конце и простенькая интонация стихов о женщинах в очереди с заливчатскими интонациями «Юмора» и «Карьеры». На премьере слушатели и плакали, и смеялись, и задумывались...»

В процессе работы над симфонией Евтушенко поневоле пришлось внести в текст стихов коррективы и дополнения. Однако он категорически отвергает распространённую на Западе легенду, что он написал вторую версию «Бабьего яра». Ему, действительно, просто пришлось внести дополнения, чтобы буквально спасти исполнение симфонии. Из-за травли Евтушенко «... певцы и дирижёры бежали с Тринадцатой симфонии, как крысы с тонущего корабля». В последний момент отказались от исполнения певец Борис Гмыря и даже дири-

жёр Евгений Мравинский, приглашённый лично Шостаковичем. Взялись дирижёр Кирилл Кондрашин и молодой певец Виталий Громадский. Но накануне премьеры Кондрашину пригрозили запретом, если не будет упоминания о русских и украинских жертвах. Жертвы, действительно, были, поэтому Евтушенко не шёл против совести, добавив четыре строки:

*Я здесь стою, как будто у криницы,
дающей веру в наше братство мне.
Здесь русские лежат и украинцы,
с евреями лежат в одной земле.*



композитор Дмитрий Шостакович

Если бы авторы не пошли на этот компромисс, пишет Евтушенко, «... человечество услышало бы гениальное произведение Шостаковича лишь через 25 лет».

Помню, как где-то на рубеже 70-х годов в зале московского Политехнического музея, традиционно, ещё со времён Есенина и Маяковского, а может быть и ещё ранее отдаваемом периодически большим поэтам, на одном из вечеров Евтушенко, когда его упрекнули в этом компромиссе, он ответил коротким, но очень метким стихотворением - я его тут же и записал:

*Когда вывёртывается борец,
Кричат восторженно: «Молодец!»
Когда вывёртывается поэт, -*

*Ему за это пощады нет!
Кричат: «Не вывёртывайся! Держись!»
Те, кто вывёртываются всю жизнь.*

Напомним, что Евгений Евтушенко буквально вслед за «Бабьим яром» и Тринадцатой симфонией сумел опубликовать, да ещё и в «Правде», да ещё и по личному распоряжению Н. Хрущёва ещё одно своё историческое стихотворение, программно зафиксировавшее цель:

*... Мы вынесли из Мавзолея его,
Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?...*

И здесь, как признаётся поэт, ему пришлось пойти на компромисс, добавив и заменив кое-что по просьбе помощника Хрущёва, но ведь и тот рисковал, готовя такую «бомбу» непредсказуемому генсеку. В последующих изданиях и «Бабьего яра», и «Наследников» восстановлены первоначальные авторские тексты. Но, с купюрами текст или без, всегда у большого поэта находятся противники, интриганы. Он к этому относится спокойно:

*Неважно, есть ли у тебя преследователи,
А важно - есть ли у тебя последователи.*

Другое дело - можно ли считать последовательным самого Е. Евтушенко, да и любого из известных советских и российских поэтов - его современников. На протяжении нашей жизни (а мы с ним ровесники) сменилось не просто несколько правительств, но несколько эпох, несколько идеологий - неважно, что большинство из них использовало схожие лозунги под теми же знамёнами. А заканчивали вообще полной чехардой в стране и калейдоскопом в сознании. Легко перестроиться, сидя у телевизора или болтая на кухне. А каково поэту, вчера написавшему, а сегодня передававшему стихи в номер, где срочно ночью сменили портреты и лозунги. Надо

отдать должное Евтушенко: он, как правило, шёл в ногу со временем и, по большому счёту, не растерял себя, а в главном, пожалуй, и не изменил себе. К примеру, в том же национальном вопросе.

Уже через четыре года после «Бабьего яра» в большой поэме «Братская ГЭС» поэт посвящает, на мой взгляд - символически, одну из глав инженеру-диспетчеру ГЭС еврею Изе Крамеру и сравнивает уважительное отношение к нему с судьбой другого Изи в фашистском концлагере. Как многое в нашей жизни, многое в этой поэме ушло в прошлое, но разве и сейчас не актуальна, и не только в России, концовка главы:



поэт Евгений Евтушенко

*Знает Изя: надо много света,
чтоб не видеть больше мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звёзд, примёрзших к рукавам.*

*Чтобы над евреями бесчестно
не глумился сытый чей-то смех;
чтобы слово «жид» навек исчезло,
не позоря слова «человек»!*

*Этот Изя кое-что да значит -
Ангара у ног его лежит,
Ну, а где-то Изя плачет, плачет,
Ну, а Рива всё бежит, бежит...*

Как актуальна и концовка всей поэмы:

*... чтоб на земле все люди были вправе
себе самим сказать: «Мы не рабы».*

Антифашистская тема продолжается в творчестве поэта. В поэме «Под кожей Статуи Свободы» Евтушенко разоблачает покровителей бывших эсэсовцев, нашедших убежище за океаном, в частности - в Южной Америке:

*Расскажи мне, дедушка, сказочку, сказочку
Про твою повязочку с надписью «СС»...*

В адрес еврейского народа у поэта немало добрых слов. Естественно, у него, как у нормального русского интеллигента, нет желания ослаблять свою страну и расставаться с российскими евреями:

*У русского и у еврея
одна эпоха на двоих,
когда, как хлеб, ломая время,
Россия вырастила их.*

*Основа праведной морали
в том, что, единые в строю,
еврей и русский умирали
за землю общую свою...*

*...Не ссорясь и не хорохорясь,
так далеко от нас уйдя,
теперь Качалов и Михоэлс
в одном театре навсегда.
(1978)*

С миролюбием и уважительностью этого стихотворения резким диссонансом жёсткая, непримиримая позиция автора по отношению к антисемитскому инциденту на Красной пло-

щади в одном из решающих для России 89-м году. Из стихотворения «Красное и чёрное» трудно выбрать цитаты:

*Красная площадь. Чёрная сотня.
Криком кресты на Блаженном креня,
антисемитская подворотня
доплесканулась уже до Кремля.*

*А микрофон в кулачище,
он - кистеня почище...*

*...Настойками с разными травками
пахнут борцы с незваными
всеми заморскими кафками
и сахаровыми-цукерманами...*

*Но наступила пора признаться
в существовании нашенских «наци».
Нечерносотенцы все в наше время
подозреваются в том, что евреи...*

*... Мерзкое зрелище, не без жутилки,
ну а во мне - как назло - ни «жидинки».
Как потащить им сибирский мой нос
с гиком на квасно-арийский допрос?...*

И, наконец, по поводу массового исхода:

*Что будут делать антисемиты,
если последний русский еврей
выскользнет зёрнышком через сито, -
кто будет враг? Из каких зверей?*

*Что, если к нашему с вами позору,
тоже еврей, оскорблённый до слёз,
за выездную визой к посольству
встанет смертельно уставший Христос!!*

И вот прошло ещё девять лет. Исход из России прошёл свой пик. А в Москве, в Большом театре, отмечается скорбная дата - полвека со дня злодейского убийства великого Михоэlsa.

Исполняется Тринадцатая симфония Шостаковича на слова Е. Евтушенко. Тексты поэт читает сам. А ещё со сцены Большого звучат стихи Евтушенко «Шекспир о Михоэlse»:

*Зачем я стал Шекспир? Зачем всё в мире видно
мне сквозь гробы, сквозь лбы, сквозь рябь газет?
У власти кто? Те, за кого нам стыдно.
Тех, перед кем нам стыдно, с нами нет...*

*...Прости, Михоэls! От чужого пира
осталось лишь похмелье. Пусто, сыро.
Я ухожу...*

*...Но в новом веке нового Шекспира
Я слышу командорские шаги!*

К сожалению, автор этой статьи, очевидно не обладая ни слухом Евтушенко, ни его источниками информации, пока не слышит в новом веке шаги нового Шекспира. Но намёк поэта на необходимость человечеству в новом веке новой драматургии вполне понятен и воспринимается всей душой. Только эти драмы сочинялись бы действительно талантливыми, добрыми драматургами, а не кровавыми диктаторами, чтобы, не дай Бог, больше не пришлось таким выдающимся поэтам и композиторам, как Евгений Евтушенко и Дмитрий Шостакович, слагать стихи и музыку о таких трагедиях человеческой истории, как трагедия Бабьего яра.

ПРОЩАНИЕ С ПОДМОСКОВНЫМ МЕСТЕЧКОМ

Где-то до конца 50-х годов теперь уже прошлого столетия, пожалуй, большинство московских и подмосковных евреев ещё жили относительно компактно, с тех пор как, порывая с НЭПом, московские власти выселили мелких торговцев и ремесленников, а значит – большую часть евреев, на окраины столицы и в Подмоскowie. И превратились в полуеврейские местечки своеобразной негласной «черты оседлости», к примеру, Марьино Роща в Москве, Малаховка и Перово в Подмоскowie.

Вот по той же причине и наша семья почти из центра Москвы перебралась в одноэтажный частный полубарак на четыре еврейских семьи в подмосковном Перово. Наш и прилегающие кварталы деревянных домишек почти наполовину были заселены евреями в основном сходных судеб. И наша семья сначала снимала комнатку, потом её откупила, а перед войной отец пристроил ещё две комнатухи. По тем, предвоенным и послевоенным, меркам наша квартирка из трёх маленьких комнаток-клетушек была пределом желаний, хотя печки топили дровами, воду носили вёдрами метров за двести, а «удобства» были во дворе. Вода – в колонке за двести метров от дома.

Послевоенные голодуха и разруха постепенно отступали, в клетушках вспыхнули маленькие экраны первых телевизоров марки КВН – и сразу людям стало тесно, зябко и вообще некомфортно в их каморках. К тому же, дети бывших местечковых евреев окончили ВУЗы. Как сказал один великий жизнелюб, «вселенная равна своему аппетиту». Вселенная отдельно взятого гражданина соответствует рамкам его интеллекта и расширяется пропорционально росту последнего. Соответственно – и аппетит его жизненных запросов. В нашем переулке евреи Азимовы построили новый бревенчатый красавец-дом. Зато у Фурманов дом покосился. И нам пока было нелегко и не на что поддерживать, а тем более улучшать своё жилище.

Окончив в середине 50-х годов факультет мостов, я, проектируя и строя их, первые пять лет минимум половину времени проводил вдали от Москвы и Перова, как раз в те годы ставшего одним из районов столицы. В условиях дискомфорта командировок по российской глубинке - тем более ощущал ностальгию по дому.

Но постепенно домишко наш ветшал: на скромную зарплату молодого специалиста я не имел возможности не только создать в нём современные удобства, но даже отремонтировать. Сложно было и с заготовкой дров и угля. Отец умер, когда я ещё был студентом. Матери нелегко было в моё отсутствие топить печь и носить воду. А между тем в Москве развёртывалось массовое строительство. Ещё вчера «отдельная квартира», наша жилплощадь теперь называлась хибарой, обитателям которой, как индивидуумам, грозило дремучее отставание от себе подобных по меньшей мере в квартирном вопросе, но и по причине моей профессионально интересной, но внесемейной кочевой жизни мостовика.

А тут как раз сосед мой по дому Миша Волович завёз как-то меня в свой Моспроект в самом центре Москвы, где он в тепле и уюте вершил проекты не только стремительно набиравшей силу массовой застройки «хрущёвками», но и интереснейших зданий. Миша познакомил меня со своими начальниками, и тут же неожиданно меня взяли в оборот: им позарез нужны были инженеры-расчётчики на сложные проекты, а в этом деле с мостовиками мало кто сравнится. И хотя фактически требовалось сменить профессию, соблазн был слишком велик. Возглавлял творческую мастерскую Яков Борисович Белопольский, архитектор с мировым именем, уже в то время – лауреат и заслуженный, а позднее и народный. Вместе со скульптором Вучетичем – автор памятников воинам в Трептов-парке Берлина, на Мамаевом кургане Волгограда, а позднее – и на Малой земле. Автор цирка, Дворца молодёжи и многих других сооружений. Можно сказать, еврейская гордость земли русской. И при этом - человек слова. Мне он предложил интересную работу и перспективы. Я заикнулся о том, что живу на окраине и в неблагоустроенном доме.

- С жильём не сразу, но поможем, - пообещал маэстро.

- Но, – говорю, – у нас с Мишей Воловичем дом частный, а значит – нам госквартира не положена.

- Придумаем, и не такие проблемы решали.

- Если Як-Бор обещал, - это верняк, - сказал Миша, и все мои будущие доброжелательные сослуживцы подтвердили это. Все любя называли босса сокращённо Як-Бором.

Моспроект синагогой не был, но процент специалистов с «пятым пунктом» по папе, а ещё чаще по маме, был выше средне-московского, особенно – в нашем, конструкторском деле. Возглавлял «инженерную мысль» выдающийся кон-



народный
архитектор, лауреат
Я. Б. Белопольский

структор, да и стратег Юрий Абрамович Дыховичный, с которым в дальнейшем мне не раз приходилось соприкасаться и в работе над общими проектами и конкурсами, и в преподавании в институтах. Кстати, Юрий Абрамович – родной брат драматурга и поэта Владимира Дыховичного и дядя режиссёра Ивана Дыховичного. В росте моём он сыграл немалую роль. А для начала моим руководителем и наставником стал ближайший сподвижник Як-Бора Ефим Петрович Вулых, который с места в карьер доверил мне ответственные здания на Комсомольском проспекте и

гостиницу «Варшава» на Октябрьской площади, со сложной обстройкой вестибюля метро. Но это уже – вне темы нашего очерка, а просто иллюстрация доброжелательной и деловой обстановки, в которой меня всего лишь через какой-нибудь год пригласил в кабинет Яков Борисович. В кабинете был и Ефим Петрович.

- Ну, Михаил, вот бригадир говорит, что ты за год «заработал» право на внимание к себе, а я помню своё обещание.

- Хотя «фун цузогн биз иберцейлн из нох ганц вайт», - вставил Ефим Петрович и тут же перевёл, очевидно, понимая, что и Як-Бор, и я в этом можем затрудниться: - от «обещать» до «пересчитать» ещё довольно далеко.

- Но где-то надо начинать, - продолжил шеф, пока я при-

ходил в себя от удивления от тирады на идише, который после смерти отца я слышал не часто. – Ну так расскажи, какая у тебя ситуация на «квартирном фронте».

Я рассказал, сразу же обратив внимание на главный «камень преткновения» - то, что жилплощадь – частная. «За кадром» моего рассказа остались возможности как-то облагородить мою часть хибарки, например, заменить глину и шлак в наружных стенах на брёвна, которые мне, кстати, уже завезло строительное управление, разбиравшее крепкую бревенчатую усадьбу на месте дома, строившегося в Черёмушках по моему проекту. Начальник стройуправления выведал у меня мою «проблему» в частном разговоре и, не спрося, завёз целую машину. Не думаю, что он это делал как взятку авторскому надзору, но, молодой и гордый, я ещё ужесточил свои требования, хотя позднее под нажимом райкома, для выполнения плана, дома всё равно «сдавались» чуть ли не без крыши.



Главный
конструктор
Моспроекта, лауреат
Ю. А. Дыховичный

Но, конечно, все эти полумеры со старым домом не решали глобально проблему нормальных жизненных условий. Поэтому о таком варианте даже речь не зашла. Як-Бор позвонил кому-то, что-то рассказал и что-то попросил. Но камень преткновения оставался. И кто знает, сколько лет мне ещё было бы зимовать в перовском полубараке, если бы не неожиданное и необычное решение вопроса. Одним из тех, кому позвонил Яков Борисович, был Лебедев Виктор Владимирович, тоже заслуженный и лауреат. Белопольский и Лебедев одновременно были главными архитекторами каждый двух районов Москвы.

Застройка Перовского района Москвы была в ведении Виктора Владимировича. И как раз в это время было принято решение об уплотнении застройки Москвы. Если раньше снос нашего микрорайона зависел от расширения расположенного рядом старинного парка бывшей дворянской усадьбы, то

теперь молодые коллеги из мастерской Лебедева, по его прямому указанию, предложили выкроить площадь для застройки, заняв как раз территорию нашего убогого одноэтажного микрорайона.

Молодые коллеги В. В. Лебедева – талантливые архитекторы Юрий Коновалов и Юлий Кубацкий, тогда - выпускники Московского архитектурного института, дипломные проекты которых вёл маэстро Лебедев, пригласивший их затем к себе в мастерскую. Ныне оба они - маститые заслуженные и лауреаты, руководители крупных творческих коллективов. С обоими мне в дальнейшем предстояло тесно сотрудничать в работе. В те годы они под руководством В. Лебедева проектировали уникальное Московское хореографическое училище, удостоенное Государственной премии. Не могу не отметить высокий интеллект и доброжелательность этих зодчих как в те молодые их годы, так и в годы признания и расцвета их таланта.

Чтобы преодолеть бюрократические препоны согласований и утверждений, постарались предложение о застройке микрорайона быстро довести до сведения руководства Бауманского района – одного из центральных, плотно застроенных. Этот район был на особом положении: на выборах именно здесь баллотировались генсеки и премьер-министры, и на этот раз выдвигался сам Н. С. Хрущёв. Поэтому надо было срочно расселить стариков из перенаселённых общих квартир, дома-развалюхи снести, а солидные, бывшие генеральские, превращённые в 20-х годах в общежития, реставрировать и роскошные квартиры в них предоставить советским боярам, пришедшим на смену поколению диктатора.

Бауманский район тут же «наложил лапу» на наш микрорайон, выгодный тем, что при сносе одноэтажных домиков требовалось предоставить людям не так уж много квартир. На территорию микрорайона «посадили» сначала пятиэтажки, потом одноподъездные девятиэтажки – бауманцам всё был мал выход площади или состав квартир в домах. Лишь третий вариант устроил бауманцев, когда как раз на место нашего дома архитекторы «посадили» длиннющий десятиподъездный сборный дом, в котором процентов 70 квартир было

однокомнатных, остальные – двухкомнатные малометражные, специально для переселения из общих квартир стариков, а на верхний этаж – молодёжи, одиночек и пар. Но такого сборного дома пока ещё не было, и тогда я, заинтересованный в скорейшем сносе моей обители, засучив рукава, сел за проект этого монстра из панелей одной из первых, освоенных заводом «хрущёвских» пятиэтажек.



*Народный
архитектор, лауреат
В. В. Лебедев*

Надо сказать, что очень многие помогали мне в этом, в том числе главный инженер Архитектурно-планировочного управления Москвы, а позднее Генеральный конструктор полносборного домостроения Виталий Павлович Лагутенко, заинтересованный в выпуске и в дальнейшем таких, необходимых Москве, домов для малосемейных. Зато позднее я несколько лет помогал этому хорошему человеку совершенствоваться и довести до надёжного уровня знаменитые дома его имени, которые в своё время, что бы там не говорили, помогли Москве решить острейший жилищный кризис. Не раз звонил «куда надо», «пробивая» новый дом и застройку, бывший парторг Моспроекта, а в то время – «правая рука» Лагутенко Марк Артурович Орлов – позднее он станет директором крупного проектного института.

Говорят – скоро только сказки сказываются. Действительно: в обычном случае потребовалось бы года три на всю бюрократическую «цепочку». Деловые сотрудники всесильного Бауманского ОКСа – отдела капитального строительства, предприимчивое еврейское руководство которого пробивало любые бюрократические рогатки, помогло быстро утвердить проекты. И где-то через года полтора после начала «эпопеи сноса» я уже получал смотровые ордера, а затем и перевозил свой скарб в новую квартиру в Измайлово, в то время – один из престижных и благоустроенных районов Москвы 60-х годов.

Позднее, «отмечая» начало застройки нового микрорайона и «по совместительству» моё новоселье, мы, обсуждая, не нашли ничего сомнительного с точки зрения закона, разве что использование служебного положения на самом высшем уровне – создание «зелёной улицы» привилегированному району. Зато польза огромная была и Москве, и Бауманскому и Перовскому районам, и очередникам центра, и жителям неблагоустроенного микрорайона. Тем не менее о моём участии в проектировании я старался соседям по кварталу не сообщать: не все хотели переселяться, привыкнув к своим домишкам.

Не сложились условия так, что мой дом был снесён, - нашлись бы пути для улучшения моих жизненных условий? Моспроект вносил огромный вклад в реконструкцию и застройку Москвы, и городские организации и всемогущие заказчики нам нет-нет, да помогали, иногда и обходя закон. Помню, одному нашему «пробили» квартиру, и он должен был получить жильё под предлогом «приближения к району ведения надзора за массовым строительством». Но один из наших же завистников, которого мы без труда вычислили, написал анонимку. Вышестоящие начальники в этих случаях передавали вопрос, как тогда было модно, «на усмотрение коллектива». Собрали собрание и единогласно проголосовали за поддержку «одного из лучших...» и осуждение анонимщиков, клеветующих на...». Конечно же, «за» проголосовал и анонимщик, не желая «обозначить» себя. Таким образом, участвуя в массовой застройке столицы, проектировщики понемногу решали и свои жилищные проблемы.

Обитатели нашего «полуеврейского» квартала, целиком подлежавшего сносу, практически все радостно или во всяком случае благожелательно восприняли предстоящее переселение. Даже Азимовы, получившие вместо своего нового бревенчатого дома три двухкомнатных квартиры: для стариков и молодых семей сына и дочери. Тем более, что их буквально замучили проверками по всё новым анонимкам: на какие деньги строили дом? Не знаю, каким образом им удалось «выстоять». Скорей всего, приходилось откупаться. Мой

коллега и сосед Миша Волович, которому я обязан своим переходом в Моспроект, как раз в нашей квартирной эпопее активности не проявил: стены его «отсека» нашего дома уже к этому времени были бревенчатыми. Но и он вовсе не возражал против предоставленной ему трёхкомнатной квартиры.

Вот таким необычным способом многие еврейские семьи нашего перовского «местечка», в прошлом выселенные, как мои родители, из Москвы, или бежавшие сюда от погромов первой и Холокоста второй мировых войн, вдруг счастливо обрели современные квартирные условия. Другое дело, что через четверть века многим из них уже станет тесно в этих «хрущёвках» первых лет массовой застройки, ещё далёких от совершенства, но таких желанных в то время. А многим станет тесно не только в столичном мегаполисе, но и во всей одной шестой части мира. И, тем не менее, я с тёплым чувством вспоминаю этот подмосковный городок, а ныне – московскую окраину, где родился и окончил школу, где потерял отца и обрёл друзей. Мои детство и молодость, как и у многих моих сверстников, прошли в нужде, в войне, в преследовании отца, но в обстановке взаимопомощи друзей-соседей. И всё-таки расставание с прошлым во имя будущего было неизбежно.

Доброжелательство, дружеское содействие вообще характерно для московской интеллигенции тех шестидесятых годов прошлого века, - времени оттепели, творческого расцвета «шестидесятников», времени реабилитаций, надежд и стремлений. Даже окрики сверху, стучание кулаком и башмаком по столу действовали далеко не на всех и не могли вернуть к прошлой согбенности под тяжестью тотальной цензуры и слежки. После сталинских «космополитизма» и «дела врачей» и у еврейской интеллигенции были тем большие основания в полной мере воспользоваться свежим ветром, а выпады властей против таких людей, как Эренбург и Пастернак, только сплотили тех, кто больше не хотел петь под дирижёрскую палочку. Эти настроения передались и стали достоянием достаточно широких кругов. Демократизмом постепенно насыщалась атмосфера, и житейский наш эпизод – одна из иллюстраций этого времени.

Иосиф Один

ТРИ РАССКАЗА И ПОВЕСТЬ

Выше на страницах этой книги, в отдельном очерке, я рассказал об авторе, моём двоюродном брате, человеке интересном, неординарном, в войну добровольцем ушедшем на фронт, боевом пулемётчике, после войны ставшем инженером-мостовиком, затем – одним из ведущих конструкторов уникальных кранов, кандидатом технических наук, автором книг. Предлагаемые три рассказа и повесть, правдивое повествование о тяжёлых фронтовых буднях пулемётчика, обнаружены в семейном архиве сестрой Иосифа Кларой Одиной. Печатаются лишь с небольшими техническими правками.



1. ТРИ РАССКАЗА

1-1 ПОДВИГ КОМАНДИРА ЭСКАДРИЛЫ

- Кто сказал, что награждают за храбрость? Она бывает даже вредна. Голову иметь надо и не терять! Был случай – наши ковырялись с полгода и, наконец, прорвали оборону противника на широком фронте. И хорошо пошли, да где-то зарвались. Фриц контратаковал, раздвинул стык между двумя дивизиями, и его танки устремились к протяжённому, с севера на юг, болоту. А через него километра на два переправа – деревянный настил на сваях или на лежаках – гать называется. Пехота на ней разминуться может, два танка – никогда, для них – одностороннее движение. На восток от болота

– наши армейские и фронтовые тылы, большая рокада – дорога вдоль фронта, по которой, как всегда при удачно развивающемся наступлении, перебрасываются дивизии, идёт тяжёлая артиллерия, катюши, колонны автомашин с боеприпасами и продовольствием, везут в одну сторону понтоны, в другую – раненых. Движение – как на улицах города средних размеров. В рокаду вливаются и от неё уходят потоки с магистральных дорог и дорожек. Одним словом, козёл рвался в наш огород и уже чуял капусту.

Белавин поставил на стол стакан, сел поудобнее и продолжил:

- Нас подняли в воздух, восемь штурмовиков: я впереди, в каждой машине двое – пилот и стрелок-радист. Задача – разбомбить переправу. Летим, вижу болото, поперёк узкая полоса – гать, а по ней – уже успели, сволочи – с равными интервалами танки, прут на восток. Красивая картинка, я от радости сразу же сообщил на аэродром:

- Вижу цель! На переправе колонна танков!

А на командном пункте весь штаб:

- Белавин, Белавин, атакуйте!

Сейчас, думаю, букашки-таракашки, спикирую и пройдусь по вашим куполам на низкой высоте бомбами и из пушек, ни одной лоханки живой не выпущу! Подумал и глянул вперёд – прямо передо мной на горизонте черные точки – «мессера»! Вот и всё, прощай, Родина! Пройтись-то в одном направлении я успею и процентов на семьдесят пять задачу выполню. Только при выходе из пике на подъёме меня обязательно накроют; сверху клевать легче, деться некуда, вариантов нет... А на том свете мне эти самые – ткнул рукой в левую часть кителя – не нужны...

Мы лишний раз посмотрели на Колькины регалии. На колодке под Золотой Звездой десять лент: три медали за участие, остальные – ордена. За время войны – 327 боевых вылетов, больше неписаной нормы «Дважды Героя», равной трёмстам. При этом, как и легендарный Амед Хан-Султанов (сбивший 45 немецких самолетов и, по сказанным на полном серьёзе словам Белавина, летавший в бой, как на праздник)

ни разу не был сбит, ни разу не ранен! В этом смысле – рекордсмен Советского Союза среди штурмовиков...

Белавин между тем продолжал:

- Да если б я один, памятник-то придётся ставить всей эскадрилье. Чин-чинарём, пирамиду со звездой, макет Ил-2 вытешут из полена, покрасят, напишут наши имена. Мой бюст за Окружной дорогой в Покровском-Стрешневе по Щукинской напротив школы установят, чтоб пионеры поклонялись мне, как Зое Космодемьянской. А дальше кто воевать будет? Хватит из нас Матросовых штамповать! И машины ещё сделать надо и облетать!

Из наушников на всё более высоких тонах неслошь:

- Белавин, Белавин, атакуйте! Белавин, Белавин, атакуйте!

- Удивительно просто у них. Всё видят, всё знают. Непобежимая уверенность: всегда правы. А не исполнишь приказ – трибунал. И... в аду мне будут сниться озверевшие «Тигры» с «Пантерами», резвящиеся на кровавом месиве прифронтовых дорог...

- Белавин, Белавин!!! – всё та же музыка. Молчу, думаю. Полчаса, час – это мне так кажется. Колонна танков мчит к нашему берегу, чёрные точки растут, приобретают знакомые очертания. И я скомандовал:

- Третьему звену разбить голову и хвост колонны! Остальные – по одному за мной!

Риск велик, но фрицы вряд ли сразу разгадают манёвр: у них ещё большой цейтнот. Я вызвал на помощь истребители и выстроил оставшиеся машины в круг; теперь нам в хвост не зайдёшь – расстреляем. Два наших родных истребителя сопровождения дерутся с шестью «мессерами»; когда их прижимают, ныряют снизу в наше кольцо. Нападающих мы отшиваем огнём, а наши «ястребки» выныривают сверху - и опять в бой. Немцы прозевали звено, которым я пожертвовал, и мои ненаглядные не только разбили голову и хвост колонны, но даже без особых помех встроились в наше кольцо. Я успокоился и, гоняя по кругу, посматривал на стрелку – как там бензин. Немцы не знали, что предпринять: ситуация не по

уставу. Прилетели пять «Лавочкиных», завязался групповой бой. Освободившись, мы гуськом прошли по колонне танков туда и обратно. Любо было смотреть, как они горели или заваливались. Некоторые вахлаки, наверное, десантники, со страху и от бессилия били по нам из автоматов – напрасный труд!

Работу закончили, идём домой. Думаю: засудят, или только отстранят от командования? А, может, учтут?... Вряд ли, опыт показывает... Вылез из кабины, ноги ватные, колени дрожат. Пошёл - доложил:

- Задание выполнено, переправа разбита. Четырнадцать танков уничтожено, около двадцати повреждено, потерь нет!

Они молчат. Командир рявкнул:

- Сдать оружие!

Сдал пистолет, теперь в случае чего и застрелиться нечем.

- Идите в расположение и ждите!

Сажу - жду, когда за мной придут. Час проходит, два, настроение мутное, дербалызнуть бы сейчас грамм триста!...

Колька взял бутылку и потянулся к стакану, который опекавшая лётчика девушка решительно перекрыла ладонью.

- Быть посему, - согласился Белавин. – А потом наземная разведка мои сведения подтвердила. И шёл уже не 41-й, и не 42-й, порядка все же стало больше. Пришлось пистолет мне вернуть. И наградить орденом Красного знамени. А если б я проявил героизм? Сидели бы мы здесь сейчас!

Представление к награждению майора Н. Белавина второй медалью «Золотая Звезда» было отозвано его начальством сразу же после окончания войны. Поводом послужил проступок, к боевым действиям отношения не имевший и от которого, кроме самого двадцатидвухлетнего майора, никто не пострадал.

В 1945-49 годах Н. Белавин учился в Московской Военно-Воздушной Командной Академии вместе с А. Покрышкиным, И. Кожедубом и другими известными лётчиками. По окончании её в звании подполковника получил назначение в бомбардировочную авиацию. Дальнейшая его судьба мне неиз-

вестна. Отчества его я никогда не знал, для нас он был просто Колька. Рассказ об одной из многих проведённых героем операций я старался воспроизвести, сохранив его стиль и выражения. В романе «Буря» И. Эренбург упомянул о действиях летом 1943 года «штурмовиков Героя Советского Союза капитана Белавина». Речь шла о нашем герое, которого так и не узнала вся страна.

1-2 СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

В сентябре сорок пятого года я служил командиром отделения в 5-й мотострелковой бригаде, располагавшейся в районе Белостока. В числе моих подчинённых был молчаливый молодой солдат Южаков. Невысокого роста, крупного сложения, с красивым лицом типа «Иван-Царевич». И одна нога – заметно короче другой. Однажды я разводил часовых на посты и сменил его последним. Вдвоем направились в казарму.

- Возможен переход от гарнизонной жизни к походной с боевыми действиями против польских националистов Армии Крайовой, - начал я, - могут возникнуть проблемы. Почему вы, явно инвалид, еще не дома?

Южаков за две недели знакомства, видимо, успел ко мне присмотреться и вдруг заговорил.

- Год назад я закончил спецкурсы и в звании сержанта летал на штурмовике ИЛ-2 стрелком-радистом. На счету было уже 38 боевых вылетов, носил орден Красной Звезды и медаль «За Отвагу». Командир мой имел взбалмошный характер и часто задирали начальство; комэск поставил его в хвост эскадрильи. В воздухе «Иду на Вы» - явление редкое, чаще бьют сзади. На тридцать девятом вылете «мессеру» удалось к нам подойти. Я прицелился и нажал на гашетку. Одновременно раздался взрыв, дикая боль рванула ногу, хвост машины начал отваливаться. Не помню, как раскрыл парашют; командира я не увидел. Сколько времени прошло, не знаю.

Очнулся - лежу на спине, парашют повис на ветвях деревьев, стропы полунатянуты. Попробовал встать, чуть не

взвыл от боли, земля качалась, очень хотелось пить. Леса у немцев культурные, не захламлённые, издали увидел – идут. Неполно обмундированные. Два пожилых и три пацана лет четырнадцати с автоматами и винтовками. Один из пацанов поднял автомат, но пожилой его остановил, доставили в город. Не то госпиталь, не то больница – лежат и военные, и гражданские. Врачи говорили между собой «гангрена, брант» - гангрена, горит, значит. Думал - ногу отрежут. Или дадут укол, чтоб сразу... Уколы давали, ногу спасли, кормили плохо, лечили хорошо. Прикрепили конструкцию для вытяжки ноги, сантиметра четыре, по их мнению, спасли. У нас таких методов нет, я после узнавал. Думал, буду припухать с полгода, но через два месяца уже ходил, понемногу помогал по хозяйству.

Пришли наши, начался сыск. Обнаружили разночтение в показаниях: по документам я проходил как лётчик, а, оказывается, стрелок-радист. Все же поняли, что об измене Родины здесь речи быть не могло. Отправили в часть, дали трёхлинейку, через пару дней наступал в цепи первого эшелона. Война кончилась, стал писать в родной полк. Командиру, комиссару, комэску. По первому, по второму разу - тишь, гладь, «сопки покрыты мглой»... Документы и награды перед вылетом полагалось сдавать, все осталось в штабе. У меня даже справки о ранении нет...

«Приключенческий роман, - думал я, - хоть ставь подпись: «Джек Лондон».

Я вспомнил рассказ бывшего старшего лейтенанта флота Макарова, которого встретил весной 1944 года под Могилевом в 385-й стрелковой дивизии:

«...Два взрыва слились в один, затрещала толстолистовая обшивка, крен судна катастрофически увеличивался. Для принятия решения оставались секунды. Я сбросил с себя все и прыгнул с высоты метров восемь. До берега, пока еще нашего, было километра четыре. Вконец обессилев, выплыл. Долго лежал на пустом диком пляже. Увидел вдали проходящий патруль, бросился к ним:

- Братцы!!!

И... был задержан. Привели в комендатуру. Долго доказывал, что не верблюд и не Далай Лама. Усомнились. И то, что в Главном штабе военно-морского флота в Москве есть списки всего офицерского состава с характеристиками и фотокарточками, проигнорировали. Загремел рядовым в пехоту. При моём-то стаже и квалификации! Все мои письма в верха прошли мимо...»

Хлопоты энергичного старлея - старшего лейтенанта, как и молодого сержанта, результата не дали. Систему не пробьешь...

- Вам по-крупному не повезло. Но время идёт, надо постигать специальность. Вас уволят максимум через полгода, - сказал я. - Как, кстати, у вас дома?

- Дома благополучно. Отец - металлург с «Мотовилихи», его в армию не призывали. Мать - учительница, ведет литературу в старших классах. Сестрёнка - десятиклассница, способная, думает поступать в юридический. «Поднявший ручки» сын и брат авторитета им не добавит. А специальность есть - электрик пятого разряда. Разбираюсь в радиосхемах, прокормиться смогу. Уволят, когда придёт пополнение из нового призыва. Еще послужу. Муть немного осядет, «пленяг» начнут встречать в военкоматах более спокойно и реже вызывать на проверки...

Я думал о схожих судьбах разных людей - сурового ленинградца и совсем еще молодого пермяка. У обоих военные биографии в лучшей их части и награды - как корова языком. И злобредный пунктик в анкете...

Не сдались. Макарова я видел летом сразу после войны в Померании. Такой же подтянутый и строгий, он работал на офицерской должности в комендатуре приморского города Кольберга. На нём были погоны старшего... сержанта, кличка «Адмирал» ходила за ним по всем фронтам, как приклеенная.

Вскоре я демобилизовался по указу как студент второго курса и около года переписывался с товарищем из бригады. Весной сорок шестого получил очередное письмо: «...ваш-то Хромой всех охмурил. Напросился на медкомиссию - восста-

новить будто бы утерянную справку о ранении. Направили в госпиталь, это аж в Белостоке. Доктора ищут крамолу в рубцах от ран, что-то там щупают, в документы не смотрят, сами их выписывают. Вот и Южаку выписали: «Инвалид Отечественной войны». А дату ранения, сдвинутую с января сорок пятого на апрель, вписали со слов: за давностью фактическую дату визуально определить трудно. Отмылся, изменник Родины, домой поехал, морда сияет...»

Засияла она и у меня: видно, товарищ мой не был в курсе всей истории Южака, иначе бы не наклеивал таких ярлыков, как изменник, без кавычек. И впрямь: кто швырнёт в солдата булыжник, зная, как отцы-командиры с ним обошлись?...

1-3 ЭХО ВОЙНЫ

(рассказ-быль)

Я заканчивал геодезическую съёмку доставшегося в наследство от Гитлера объекта вблизи польской границы. Оставалось замаркировать репер, то есть зафиксировать отметку (высоту над уровнем моря) головки врытого в землю бетонного столбика – нового геодезического знака. Вести трассу – перенос отметки – начали от ближайшего зарегистрированного репера на устое большого железнодорожного моста, примерно в двух километрах от объекта.

Спустившись с насыпи, свернули вправо, на запад, и пошли вдоль опушки леса, замеряя нивелиром и фиксируя в блокноте относительные отметки промежуточных точек на местности. Усилилась метель, приходилось время от времени потирать скулы, чтобы ненароком не приморозить их.

- Зайдём в ту избушку погреться, - сказал мой помощник Никита Чебак.

Огороженный частоколом участок с домом, двумя сараями, огородом и собачьей будкой находился в лесу, метрах в пятидесяти от опушки. Летом его не было видно. Собака залаяла, в одном из окон дернулась занавеска. Мы дали себя рассмотреть. Демонстративно потирая скулу, я другой рукой поддерживал лежащую на плече треногу с нивелиром. На мне

была шинель железнодорожника с инженерскими погонами и форменная шапка-ушанка. Никита, одетый в телогрейку и ватные брюки, нёс рейку с делениями и другие принадлежности нивелирования.

Пожилая крестьянка впустила нас без вопросов, вполне доброжелательно. Я сел в прихожей на табуретку и стал подсчитывать разности замеров по рейке для смежных точек трассы. По природе общительный Никита развлекал хозяйку. Начало разговора я пропустил мимо ушей, но вдруг что-то меня насторожило. Разговор вёлся на смеси украинского и белорусского языков, но дальнейшее я понял.

- Вам не страшно одной? Есть кто-нибудь из близких?
- Привыкла. Сын редко заходит. Как в партизаны ушел...
- А-а-а. Давно?
- В сорок третьем.
- Воевал с немецкими оккупантами? – удивленно брякнул

Никита.

- С оккупантами. Воевал и воюет.

Никита умолк. Выражение его лица соответствовало текущему моменту.

«До сих пор партизанит», - подумал я и бросил взгляд на часы. Шёл декабрь 1950 года...

Вспомнив о погонах, как об атрибутах Советской власти, решил не искушать судьбу.

- Кончай загорать! Работа, конечно, не волк, да сделать надо в срок. Дзякую за обогрев, пани!

За окнами мрачнел сурово «брянский лес», тянувшийся на полсотни километров до самого кордона и далее, вглубь Белостокского воеводства, зелёной цитадели «Армии Крайовой», тогда еще действовавшей, с лета сорок четвертого года, против нас.

Иосиф Один, 1994-95 годы.

Иосиф Один

2. ТРИ ДНЯ ПУЛЕМЁТЧИКА (20-23 АВГУСТА 1943 ГОДА)

Повесть

Младший сержант Овдин дремал в индивидуальной ячейке – наспех выкопанной ямке полтора на полметра, и ему снился интенсивный артналет. Подпрыгивая всем телом при каждом близком разрыве, он иногда просыпался и, убедившись, что наяву то же, что и во сне, засыпал снова. Солнце давно прошло через зенит, уснул он на рассвете, но просыпаться не было смысла: высунуться из ячейки все равно нельзя, атаки не предвидится – это он бы почувствовал «спиной», да и логика подсказывала – слишком мало людей осталось.

Позицию до сих пор отступавшие фрицы выбрали что надо: за широкой поймой с нашей стороны – ручей метра четыре – пять шириной, за ним длинный пологий холм с догоревшей позавчера деревней Закрутое на восточном склоне. От домов остались только печи из красного кирпича с длинными, как у жирафов, шеями – дымоходами, увенчанными уширениями, которые в виде труб возвышались когда-то над избами. Среди этих печей – немецкая траншея, надо думать, с дотами или дзотами-сюрпризами. Фриц тоже не сунется: после двух позавчерашних контратак, довольно легко отбитых остановленными на этом рубеже остатками двух батальонов 1099-го полка (третий был в резерве), он вчера целый день вёл бой с левым соседом – 1101-м полком родной 326-й стрелковой дивизии. Его, судя по удаляющимся в наш тыл разрывам, сопровождаемым стрекотом автоматов-пулеметных очередей, слышных на левом фланге, немец заметно потеснил.

Вдруг младший сержант почувствовал дискомфорт и мгновенно проснулся. Поскрябав правой рукой по дну ячейки, убе-

дился, что кормилец, автомат ППШ, на месте, скатка с вещмешком под головой, малая пехотная лопатка на левом боку, лимонки в карманах, к бою готов. Уяснив причину пробуждения – прекращение артобстрела, высунулся из ячейки. Всё спокойно. Вонючий дым пополам с пылью и гарью, смрад-но припахивающий кисло-сладкой мертвечиной вперемежку с выковырянной взрывами сыроватой землей, постепенно оседал. На зубах скрипели мельчайшие песчинки. Пришлось несколько раз сплюнуть и кое-как отряхнуть густо покрытое мокрой от пота пылью лицо вывернутой наизнанку пилоткой. Понял, что хорошо выпался и больше не заснёт, огляделся по сторонам, бросил не слишком ласковый взгляд на предательски голубое небо. Не повторился бы позавчерашний день.

Овдин поёжился. Тогда одиннадцать неожиданно появившихся «рам» - «Фокке-Вульф-189» - прошлись с правого фланга вдоль неровной линии щелей и ячеек, посыпая царицу полей малыми противопехотными бомбами. Взглянув на приближавшуюся со скоростью сто метров в секунду высоченную, с четырёхэтажный дом, сплошную стену пыли и дыма, окаймленную снизу огненными лепестками разрывов, нарастающий грохот которых заглушал все другие звуки, Овдин нырнул на дно щели, дугой обрамляющей пулемётную площадку и, начисто забыв свои атеистические принципы, повторял про себя: «Господи, благослови! Господи, отведи!». «Рамы» проехали по переднему краю туда и обратно и безнаказанно ушли на запад. Потери оказались невелики – с вечера, когда пришли сюда, падая с ног от усталости, вовремя окопались. Неприятно поразила смерть ровесника Маленкова из одной с Овдиным роты. В неполных восемнадцать ушёл деревенский паренек с отступающими войсками из родной Белоруссии. Два года на фронте, в пехоте, и ни одного ранения! И вот, на дальних подступах к Могилёвщине...

- Братцы, застрелите меня, братцы!.. – катался по земле раненный несколькими осколками в живот воин. Двое ближайших быстро раздели его, вскрыли два индивидуальных пакета, замотали раны. Отправлять в тыл не пришлось: затих

солдат. Насовсем. Вскоре после бомбёжки начался артобстрел, минут через пятнадцать неожиданно прекратившийся. Отряхиваясь, Овдин выглянул из щели в сторону нейтралки и опешил: поливая наш передний край свинцом автоматных очередей, метрах в двухстах в атаку шли зелёные фигуры в похожих на бычьи головы касках. Который день уже шло большое наступление, и стало как бы само собой разумеющимся: мы наступаем, немцы обороняются. Эффект неожиданности сыграл свою роль – первым побуждением было одно: бежать. И умереть позорной смертью, получив очередь в спину... Рассказов уцелевших вояк сорок первого года младший сержант за пять месяцев пребывания на фронте наслышался достаточно.

С трудом преодолев замешательство, Овдин вместе со вторым номером пулемётного расчёта Антиповым подняли из щели свой «Максим» и установили его на площадку. Заставив себя не обращать внимания на свист пуль, младший сержант быстро вставил в приёмник конец поданной Антиповым ленты и дважды крутанул вперёд рукоятку. Одновременно кистью левой руки продёргивая ленту, дослал первый патрон в патронник. Левый фланг наступающих приходился чуть правее пулемётной площадки, правый, насколько хватал глаз, перекрывал оконечность нашего левого фланга, уходя в разрыв между позициями 1099-го и 1101-го полков. Поставив прицел на оптимальное деление – тройку, и направив ствол влево, на правый фланг наступающих при дальности порядка четырёхста – четырёхста пятьдесят метров, подкрутил винт вертикальной наводки. Пули каждые несколько секунд били по щиту, но пулеметчики уже завелись.

Первая длинная очередь прошла по цепи, выхватывая из неё то там, то здесь отдельных солдат, падавших, исчезая из глаз: цвет их формы был тот же, что и покрывавшей пойменные луга растительности. Открыли огонь из винтовок и автоматов стрелки; глухим стрекотом перебивая звонкую трель «Максима», включились в работу «козлы» - ручные пулеметы системы Дегтярева. Овдин, дойдя стволом пулемета до середины цепи, вдруг обнаружил, что его «Максим» бьёт выше



голов немцев, пришлось подкрутить винт вертикальной наводки. Дойдя до края наступающей цепи, повёл ствол справа налево, стреляя короткими очередями. Вскоре заметил, что пули ложатся впереди немцев. Местность, с виду ровная, имела уклоны, провалы, возвышения.

Немцы залегли и повели прицельный автоматный огонь. Положение их было незавидным: укрытий не было, а наши миномётчики, запоздало и с перелётом открывшие огонь, посылали мины всё более точно. Фрицев выручил начавшийся интенсивный миномётный обстрел наших позиций. Пулемётчики быстро опустили свой «Максим» на дно щели, стрелки попрятались в ячейках. Частично прикрывая голову малой пехотной лопаткой, пулемётчики время от времени выглядывали из щели, чтобы не прозевать возможный бросок немцев под прикрытием огневого вала. Минут через десять обстрел прекратился. Овдин быстро выглянул из щели, но немцев не увидел. Ушли, успев вынести раненых и убитых, и теперь вели из траншеи вялый пулемётный огонь. Обе стороны приводили себя в порядок.

Интенсивная артподготовка началась часа через полтора и окончилась так же резко, как в первый раз. Немцы пошли в атаку примерно с тех же позиций, что и раньше, непрерывно стреляя из автоматов, стараясь прижать наших к земле. Стрелки открыли огонь по немецкой цепи, заговорили руч-

ные пулемёты. Овдин с Антиповым немного запоздали, хотя действовали быстрее, чем при первой контратаке. Но только Овдин успел прицелиться, слева и чуть сзади разорвалась мина, кусок дёрна, видимо на излёте, ударил по приёмнику «Максима», в глаза прыснуло пылью. Сбросив ремень, младший сержант протёр глаза полой нижней рубашки. Антипов вытащил приёмник, вытянул ленту. Носовых платков у пулемётчиков не было, ветошь для чистки пулемета находилась у подносчиков лент – других солдат расчёта, пришлось очищать приёмник пальцами, ножом, полой гимнастерки.

Задержавшись секунд на двадцать-тридцать, пулемётчики включились вовремя: поредевшая цепь подошла ближе, и у двух левофланговых немцев, сбросивших или потерявших каски и пилотки, угадывались чёлки «а-ля Гитлер». Легонько сжимая рукоятки, нажав на спусковой рычаг, не забывая регулировать траекторию полёта пуль по высоте, младший сержант дал по цепи длинную очередь, заметно усилившую плотность огня обороняющихся. Потеряв секунд за десять-пятнадцать еще человек шесть, немцы залегли; почти сразу начался интенсивный миномётный обстрел наших позиций. Пулемётчики снова опустили «Максим» в щель и залегли сами. Под прикрытием своих и под обстрелом наших миномётов немцы отошли в свою траншею, огневой бой скоро затих.

До вечера всё было спокойно, пулемётчики занялись набивкой опустевших и проверкой ранее набитых лент, а к наступлению сумерек почистили пулемёт. В батальонах перевязали и отправили в тыл раненых, благо на правом фланге немецкая траншея отдалялась от нашей линии ячеек и щелей метров на шестьсот, и там можно было двигаться во весь рост: по единичным целям немцы огонь не вели.

Пришёл находившийся на правом фланге лейтенант, ровесник, Ваня Кузьмин, лично убедился, что в расчёте всё в порядке и сообщил, что вместо выбывшего в офицерский резерв старшего лейтенанта Минаева ротой, в которой осталось всего два расчёта, командует он. Наказал, чтобы в дальнейшем действовали в соответствии с обстановкой, по смыслу.

За прошедшие бои в наступлении и за отражение контратак пообещал весь поредевший расчёт представить к правительственным наградам.

В общем, позавчерашний день закончился хорошо, о вчерашнем вспоминать не хотелось. Как раньше времени выдали по сто граммов, как не верившие в успех командиры подняли остатки батальонов в атаку на близком к немецкой траншее левом фланге, где сосредоточили большую часть людей. Как после короткой артподготовки поначалу хорошо пошла пехота, а Овдин с Антиповым, поочерёдно, выбиваясь из сил, катившие семидесятикилограммовый пулемет по естественно пересеченной местности, заметно отстали. Хорошо, что немцы во время артподготовки по привычке прятавшиеся, очевидно, во второй траншее или в укрытиях в некотором удалении от передовой, не сразу стали стрелять, а затем поспешили и вместо прицельного дали сильный заградительный миномётный огонь, так что на нейтралке обозначилась полоса разрывов, до которой метров тридцать стрелки еще не дошли. Откатились, преследуемые разрывами мин, а затем ещё и огнём стрелкового оружия и артиллерии. Хорошо хоть, что раненых вынесли.

Ожидая контратаки, пулемётчики при ослабевшем огне противника установили «Максим» на площадку. И тут случилась беда – после очередного разрыва большой осколок пробил кожух пулемёта. Вода зашипела, из пробоины вырвался пар. Приоткрыв крышку короба и попытавшись разобрать пулемёт, Овдин убедился, что ствол безнадежно погнут и машина, как оружие, перестала существовать.

Позже подносчики уложили в щель рядом с пулемётом коробки с лентами, штыковую лопату, топор и другое имущество расчёта; пулемётчики, по крайней мере на время, превратились в стрелков. Бог войны подарил батальонам относительно спокойный день: в атаку больше не пошли, контратак не дождались. Бой шёл слева, где-то широким, поросшим деревьями и кустами оврагом, откуда на нейтралку перед позициями полка вытекал ручей, и за находившимся чуть дальше высоким холмом держал оборону 1101-й полк. Ближе к

вечеру в первую роту, которой командовал сейчас сержант Мизин, договорившись с кем-то из начальства, не дожидаясь приказа, ушёл Антипов.

Овдин с двумя оставшимися солдатами отвезли пулемёт со всем имуществом в хозвзвод своего Первого батальона. Выяснилось, что лейтенант Кузьмин, одни сутки командовавший ротой, откомандирован в резерв. Старшина Иващенко одного солдата отправил на пополнение последнего действующего расчёта, другого – в стрелковую роту. Овдину приказал пока идти на передовую и до особого распоряжения действовать как стрелок, не входя в подчинение командирам стрелковых подразделений. Он надеялся на скорое поступление новых станковых пулемётов.

Овдин вернулся на передовую, занял одну из пустовавших ячеек на левом фланге на стыке Первого и Второго батальонов. Заснуть, однако, не пришлось. Сначала napросился на пост в первую смену, затем на правом фланге завязался бой: наши разведчики наткнулись на выдвинутое вперед немецкое прикрытие. С обеих сторон в бой включились миномёты, перестрелка началась по всей линии соприкосновения, скупать не пришлось, надо было держать ухо востро.

Воспоминания о двух прошедших днях положения не прояснили, ситуация оставалась неясной. Махнув рукой на непроходящее беспокойство, бросив опасливый взгляд на по-прежнему некстати чистое небо, Овдин движением знающего себе цену купца из пьесы Островского вынул из кармана гимнастёрки висящие на цепочке, годной для пёсика средних размеров, трофейные часы – штамповку в необычном для нас грушевидном корпусе. С сожалением убедился: до ужина далеко. Традиционные чёрные сухари, зачастую выдававшиеся вместо хлеба, у него были; в дни наступления их хватало. Обед, который приносят поздно вечером вместе с ужином, вполне достаточен; перед рассветом старшины с помощниками принесут завтрак. Вот только фляжка пуста: в жару сколько бы жидкости ни принесли – не напасёшься. Беспокойство не проходило, но причина, кажется, начала проясняться: с юго-запада на позиции полка, сопровождаемая гулом мото-

ров, надвигалась армада чёрных точек, постепенно приобретавших зловещие очертания.

«Юнкерсы»! – понял Овдин и механически начал считать. На двадцати двух сбил. Дальше нечего было трудиться: с нас хватит... И ни одного нашего. Армада, не сбросив ни одной бомбы, прошла в наш тыл. От сердца отлегло, но ненадолго: что будет с теми, кого фрицы накроют на марше? Может, это дивизия, идущая нас сменить? Или... лучше не думать. Рёв моторов снова усилился. Немцы не успели еще уйти в наш тыл, как с юго-востока подошла не намного меньшая армада наших бомбардировщиков. Ужасно хотелось, чтобы эскадры бросились друг на друга, но этого не произошло. Обидно: вокруг каждой из них, как собаки вокруг стада овец, «бегали» маленькие самолеты – истребители.

Только скрылись из виду бомбардировщики, откуда-то слева, с юга, появились пузатые горбыли – восемь штурмовиков Ил-2. Овдин вылез из ячейки и сел рядом с ней. То же сделали, не сговариваясь, и другие солдаты. Немцы не стреляли, им было не до того. Вытянувшись в линию, самолёты стали по очереди пикировать на отдельные точки немецкой траншеи, сбрасывая бомбы. Один из немецких пулемётчиков осмелился вступить с ними в бой. Хорошо было видно, как трассы его очередей шли параллельно линии пикирования самолётов ниже цели, что вскоре закончилось для него трагически: очередная бомба легла точно.

«Как бездарно используется авиация, - думал Овдин, - вот бы согласовать по времени нашу артподготовку и атаку с вылетом штурмовиков, мы бы точно взяли деревню и дальше пошли...». Но каждый род войск брэнчал на своей балалайке, ансамбля не было... Штурмовики работу закончили и ушли «домой».

Овдин не заметил, как неожиданно появившиеся три чернокрылых «мессера» сцепились с двумя нашими стального цвета истребителями сопровождения. Солдаты, сидя на земле возле своих ячеек и щелей, следили за ходом боя. Немцы были заняты тем же. Почти сразу же были сбиты два самолёта. Наш пошёл носом вниз и в полукилометре за передовой,

врезавшись в землю, взорвался. Несколько солдат с досады дали очереди по немецкой траншее. Немцы не ответили. Их самолёт, сопровождаемый шлейфом чёрного дыма, ушёл, снижаясь, и скрылся за холмом, на восточном склоне которого располагались сгоревшая деревня и немецкая траншея. Мессеры вдвоём накнулись на оставшегося нашего. Ястребок не стал уходить: ловко маневрируя, он, то и дело вывёртываясь, заходил в хвост то одному, то другому фрицу. Над полем боя стояла тишина, слышалось только «жжу-жжу, жжу-жжу» - это клубок сцепившихся самолетов то приближался к солдатским ушам, то удалялся от них.

Очереди трассирующих пуль расчерчивали небо у роя самолетов. Один из немцев запалал и сразу вошёл в пике, сбил пламя и взмыл вверх, но снова загорелся. Снова спикировал и сбил пламя, но не полностью. Повернулся на запад и, влача за собой чёрный шлейф, пошёл на снижение. Солдаты, разинув рты, гадали, брякнется или уйдёт. Самолёт ушёл за холм, вызвав у наших вздох разочарования. Но с запада раздался сильный взрыв, над холмом появился столб чёрного дыма. Немцы дали по нашим из автоматов несколько очередей, никто на них не реагировал. Поединок продолжался. Прodelывая в воздухе мыслимые и немыслимые пируэты, самолеты насакивали друг на друга и виртуозно уходили от трассирующих очередей. Переживая за своего, солдаты забыли, где находятся. Некоторые встали во весь рост. Немцы не стреляли, в их сторону никто не смотрел.

Но вот пламя охватило чернокрылый «мессер», он потерял манёвренность, и наш буквально вонзил в него ещё одну очередь. Фриц успел повернуть на запад, но тут же пошёл вниз и шлёпнулся на нейтралке рядом с немецкой траншеей. Всплеск пламени и столб черного дыма увенчали конец воздушного боя. Ястребок сделал над нейтралкой круг почёта, развернулся на восток, переваливаясь с боку на бок, помаhal пехоте крылышками и пошёл «домой». Немцы выпустили по нашей передовой десятки очередей, но моральное удовлетворение попрыгавших в ячейки и щели солдат сбить не удалось.

Младший сержант Овдих дремал в курдигуланской
 койке — настил выкопанной хливе полтора на полметра и
 ему снится интенсивный артисалат. Подруливая всем
 телом при котором бегущая фигура, иногда проснувшись и
 убедившись, что назло — то же, что и во сне, досаждала снам.
 Самая давно прочтенная книга, уступив на рассвете, ко
 краснелась не было снам: всматриваясь в асими все равно
 сонда, атаки на подруливая — это он бы почувствовал
 „снимой“, да и почка подсказывала — снимкой мало людей
 осталось. Подрули до сих пор отступавшая фигура выбрала
 что надо: за широким койкой с нашей стороны — ручей
 нитка чепра — пале ширинкой, да нит — длинной пополам
 жем с догоревшей поварихи дурной Инкунта на восста-
 нии ослеп. Он думал остаться только неки ту крапиво
 курдигуланской длинноты, как у журавов шеем — длинноты,
 увеселительный увеселитель, которая в виде пуха ворвонка-
 ния когда-то над губами. Среди этих лесов — немалые
 бранится, когда думает, с думами или думами — спордизан.
 Врещ тоже не сухоты: после двух подавляющих Контр-
 атак, довольно нескучно отбивая остановившимся на этой
 рубке обкатывая двум батальонам 1033-го полка (позднее
 был в резерве), он втора излив думо войбой с павшим соседом
 — 1101-м полком родной 326-й стрелковой дивизии и, судя
 по удаляющимся в кам тил разрывам, сопровождающим
 стрелками автоматного — пулеметным огнем, слышным на
 лавом фланге, заметно его потеснил. Вдруг младший
 сержант почувствовал фиксировать и мгновенно проснулся.
 Покружив правым руком по дну эваки, убедившись: кормилец,
 автомат 10-12-ша-на месте, скачка с выжиданием — по
 головой, малая намотная намотка — на лавом боку, намотка —
 в кормилец, к бою готов. Уяснив причину пробуждения —
 — приращение артисалата, всматриваясь в эваки — все
 спокойно. Вонючий дым пополам с лесом и лавом, сугубо

Начало рукописи повести Иосифа Одина

Овдин лежал в ячейке, упираясь головой в одну, а ногами в другую торцовую стенку, и обдумывал патовое положение родного полка и своё собственное.

передовой от двух батальонов осталось шестьдесят – семьдесят активных штыков, занимающих оборону длиной чуть больше километра по фронту. Командует ими комбат-1, капитан Донсков, находящийся то в своём штабе где-то в тылу, то в оборудованной под наблюдательный пункт (НП) огромной воронке примерно посредине линии ячеек и щелей. Там же время от времени появляются его заместители. На НП находится также пункт артиллерийской разведки. Большинство офицеров за время наступления выбыло или было откомандировано в офицерский резерв, руководство осуществляется через младших командиров.

Овдину с комбатом встретиться не пришлось, обошлось и без особого распоряжения. У ячейки появился старший лейтенант, Миша Семёнов, ровесник, замкомбата по строевой. С ним у Овдина сложились нестандартные отношения. В присутствии других военнослужащих – строго уставные; когда рядом никого не было, Семёнов называл младшего сержанта по имени, и разговаривали они, как десятиклассник и студент, на равных. Дистанцию Овдин старался все-таки соблюдать: в армии должен быть порядок, а демократия - иметь разумные пределы.

Семёнов начал с ходу.

- На левом фланге 1101-й полк отеснён на один – полтора километра, на правом – неопределенность, связи с соседом нет. Вчера я ходил на передовую напрямик через поле, сейчас был обстрелян из пулемёта справа и последние триста метров преодолел по-пластунски. В хозвзводе одна лошадь убита, другая ранена. Подвоз боеприпасов и продовольствия затруднён. У миномётчиков кончились мины, нечем стрелять. Ставлю тебе задачу:

- В тылу, чуть больше километра от передовой, где кончается поле, за ручьём с широкой поймой и метров четыреста с чем-то не доходя до уцелевшей деревни Безлячь, есть крутой, поросший редко растущими деревьями и кустами овраг,

впадающий в пойму. Немцы, отступая, в спешке оставили в нём запряжённых в повозку лошадей. Там же разбросаны ящики с минами от 81-миллиметрового миномёта. Надо всё это доставить в хозвзвод.

Овдин задумался. О местности он имел понятие: кое-что видел во время наступления и когда доставлял в хозвзвод повреждённый пулемёт. Подивился тогда очень высокому росту и физическому совершенству лошадей. Подумал еще, почему они до сих пор не в хозчасти полка. Простиравшийся от оврага до деревни метров на четыреста луг открыт со всех сторон и скорей всего простреливается артиллерией. Может, поэтому лошади всё ещё в овраге. Только была загвоздка: Овдин за всю жизнь ни разу к лошадям близко не подходил. Хотя он и сын драгуна, ефрейтора кадровой царской армии, георгиевского кавалера первой мировой войны.... Но от факта никуда не уйдёшь. Овдин вопросительно посмотрел на замкомбата.

Конечно, Семёнов прекрасно знал, какой из младшего сержанта конник, но имел в виду и другое: получив задание, Овдин секунды две думает, потом задаёт один-два вопроса. После этого всё сделает, чтобы приказ выполнить. Если устоит на ногах....

- Где-то рядом с оврагом найдёшь ротных старшин, они тебе помогут. Кто-то из них утром поил лошадей. Лучше идти по северной стороне поля, по правому флангу. Оттуда меня обстреляли, но там по всей длине границы поля с выгоном проходит малозаметная неглубокая ложинка-бороздка, возможное частичное укрытие от пуль. По оврагу, ограничивающему левый фланг, идти опасно, можно нарваться как на наших соседей, так и на немцев.

Овдин понял причину одолевавшего весь день беспокойства: нестандартное задание всегда сопряжено с неожиданностями, требующими и быстроты оценки ситуации, и решительных действий. А младший сержант был достаточно самокритичен, чтобы не переоценивать свои возможности. Но в армии приказы не обсуждаются. Тем более, если они отдаются уважаемыми командирами.

Быстро собрался. Оставив скатку в ячейке, сначала двигался перебежками, согнувшись. У границы поля с выгоном свернул на восток, вскоре увидел лощинку, отделявшую поле от выгона, имевшего форму очень пологого сферического сектора огромного радиуса – чудо природы. Деревенское стадо, видимо, хорошо потрудились здесь летом: растительность еле выбивалась на поверхность земли, посторонних предметов не было видно. Воин не стал рисковать и, приладив автомат с помощью ремня поверх правой руки испытанным приёмом, пополз, не слишком прижимаясь к земле. Метров через двести над ним, почти касаясь вещмешка, пронеслась трассирующая пулемётная очередь. С трудом сняв и перекинув на левую руку вещмешок, младший сержант далее двигался строго по-пластунски. Трассы очередей проходили над ним, и он визуально определил: запас миллиметров двести.

Лощинка незначительно отклонялась от прямой линии, один из ее поперечных отростков показался младшему сержанту достаточно удобным. Он осторожно повернулся влево и рассмотрел вдали тонкую, как паутинка, конструкцию. Похоже, ствол с кожухом воздушного охлаждения на тонюсеньких ножках – пулемёт фирмы «Шмайссер». Внизу заметил расплывчатое утолщение цвета травы – фриц или фрицы. Осторожно подтянул автомат, попробовал прицелиться – не получилось: отрезок местности между Овдиным и фрицами имел явно выпуклую форму сферы – своего рода гигантский «бараний лоб» - младший сержант вспомнил картинку из школьного учебника географии. Дал короткую очередь. Фриц ответил сразу же. Запас – миллиметров двести пятьдесят – определил младший сержант. Прополз еще метров сто двадцать, преследуемый очередями. Нашёл ещё один подходящий поперечный отросток-углубление. Прицелился, дал очередь. Фриц ответил, но до этого продумал секунд восемь. Пополз дальше. Неприятное воспоминание ударило в голову...

«... нас гнали с полусуток. Час идем, десять минут привал, после трёх часов ходу – получасовой – все по армейским правилам. Привели на берег речки шириной метров десять,

приказ: располагайся! Разошлись по лугу, винтовки в козлы составили, ждём. Скоро уже фронт, слева и справа вдалеке что-то гроыхает. Патроны должны привезти и выдать: в наличии всего по три обоймы на каждого. Кто лёг спать, кто пошёл портянки постирал, большинство бойцов просто разулись и разложили портянки на траве сушить. Командиры ушли на совещание. Я взял котелок и пошёл к реке выше по течению - воды набрать попить и сухари размочить. Посмотрел, еще выше нас у берега кто-то установил пулемёт. На треноге, но вроде не «дегтярь» - метров двести до него, не разберёшь.

- Ну и хрен с ним, думаю, хай стоит, никто на него внимания не обращает. Минут через пятнадцать заметил с той же стороны, метров на двести дальше от берега, еще один пулемёт. Сказал командиру отделения, он отмахнулся: «начальству видней!». А начальство что-то долго совещается. Прошло еще минут десять и вдруг как началось! Из-за пологого холма за рекой вдарили по нам артиллерия и минометы, а пулеметы стали косить со всех сторон – окружил, гад!...»

Овдин вспомнил историю гибели какого-то полка летом сорок первого, рассказанную одним из уцелевших. Слушал тогда и думал с презрением, какие же они были безынициативные, «немогузнайки». А сам спустя два года чуть было не купился на той же мякине... Воякой себя считал. Этот фриц возьмет да продвинется вперёд ещё метров на пятьдесят, и тогда-то уж точно в ложбинке от него не укроешься. А дальше? Он же не один, за ним остальные пойдут. Отрежут и окружают всех на передовой... На душе стало муторно, кошки скребли. Мучительно преодолевая инерцию, Овдин заставил себя повернуться и пополз обратно до отростка, откуда недавно стрелял. Решился на эксперимент. Принял насколько возможно устойчивую позу, прицелился. Переждав короткую очередь фрица, стараясь не сбить автомат ни влево, ни вправо, приподнял его за диск левой рукой миллиметров на сто пятьдесят и очень плавно, на очень небольшой угол поворачивая его правой рукой по вертикали, дал длинную, пуль на пятнадцать, очередь. Нутром почувствовал: то, что надо.

Фриц не ответил. Попал или хорошо припугнул? Разглядеть ничего нового не удалось. Прополз на восток еще метров сто, оглядываясь через каждые двенадцать – пятнадцать метров. Ложбинка пошла под уклон.

Вдруг пулемёт заговорил опять, но более длинными очередями. Трассы шли уже слева и по диагонали; Овдин определил: запас миллиметров четыреста – пятьсот. Более раскованно повернулся, паутинка пулемёта была еще видна. Кто же стрелял, тот самый фриц или другой? Метров через семьдесят младшего сержанта обстреляли также слева, но уже спереди. Пули шли миллиметров на триста выше. Об этом пулемете Семенов не упоминал. Худшее предположение – окружают тихой сапой – сбывалось. Не встречая при дальнейшем продвижении поперечных отростков в ложбинке, Овдин все же повторил трюк с разбросом пуль по вертикали. Фриц продумал секунд шесть, но ответил такой же очередью, как до этого.

Постепенно младший сержант преодолел сектор обстрела второго и попал под огонь третьего пулемёта. Не удивился. Подумал: «надо было б сменить диск. А дальше? Они могут понять, что я один, и начнут постепенно продвигаться». Лучше было скорей выйти в тыл и через старшин сообщить обо всем начальству: у штаба полка в резерве третий батальон, не говоря уже о роте автоматчиков. Овдин пополз дальше. Трассы очередей третьего пулемёта также шли достаточно высоко. Выпуклая сферическая поверхность выгона спасала, но и не давала возможности «достать» фрицев. Младший сержант все же еще раз провел обстрел немцев отработанным приёмом. Те задумались секунд на десять, затем ответили очередями с меньшими временными интервалами.

Уклон лощины еще более увеличился, третий пулемёт замолчал. Младший сержант дополз до края поля, круто обрывавшегося в русло ручья, за которым располагалась пойма шириной метров шестьдесят, спустился с обрыва. На другой стороне ручья рядом с палаткой Красного креста стояла и с улыбкой смотрела на Овдина девушка с погонами старшины. Тихая долина, замкнутая с двух сторон крутыми обрывами, а

с двух других – стоящими в отдалении холмами, с весёлым ручейком, палаткой и улыбающейся девушкой показалась младшему сержанту раем. Он улыбнулся, не снимая ботинок с обмотками, вошел в ручей глубиной до колена, бросил пилотку под ноги девушки. Закинув автомат за спину, повернулся лицом на юг, против течения, вымыл лицо; припав к поверхности воды губами, долго пил. Наполнил фляжку, вышел на берег, пригладил еле заметный солдатский чубчик, поздоровался.

С Клавой Боровковой, санинструктором второй роты и единственной девушкой в батальоне, Овдин был в дружеских отношениях. Обменялись новостями. Клава сообщила, кто из общих знакомых, да и полужнакомых, когда и в каком состоянии прошел через её медпункт. Овдин осторожно спросил девушку, есть ли у нее оружие. Она кивнула на палатку – есть автомат. Младший сержант рассказал об угрозе появления немцев и настоятельно попросил повесить автомат на шею. Клава юркнула в палатку и вышла оттуда с оружием.

- Может тебе лучше, пока спокойно, временно отойти со мной? – спросил Овдин.

Клава об отходе слышать не захотела.

- Положение здесь не опасней, чем на передовой, а раненые могут поступить в любую минуту.

Вдруг тишина сменилась свистом падающих мин и грохотом близких разрывов. Фриц явно проверял недоступную для настильного огня артиллерии пойму – возможное место сосредоточения резервов. Клава нырнула в ячейку, выкопанную в нескольких метрах от палатки. Младший сержант быстро огляделся по сторонам. Кругом рвались мины, ячеек больше не было. Он прыгнул в единственную ячейку, лег на спину девушки и крепко обнял ее за талию. Обстрел длился около минуты; они лежали, не помышляя об интиме, защищенные от осколков, но не от прямого попадания. Налет прекратился мгновенно, так же, как и начался. Овдин обнаружил, что ему совсем не хочется вставать. Клава тоже не спешила.

«Не время и не место, - решил младший сержант, - как я ей потом в глаза посмотрю...»

Они выбрались из ячейки, отряхнулись, виновато посмотрели друг на друга. Улыбнулись.

- Как часто повторяется налет? – спросил Овдин.

- Каждый час, - ответила девушка.

Овдин, вспомнив родину и, кивнув Клаве головой, направился к устью оврага, находившегося на противоположной, восточной стороне поймы. Круто поднимаясь вверх, овраг постепенно сужался. Запряженные в повозку лошади успели выщипать траву вдоль оврага и поднялись по его руслу метров на тридцать. Удивительно рослые, гладкие, мускулистые. Не битюги: чувствовалась в них большая сила и резвость одновременно. Младший сержант собрал все десять ящиков с минами – по четыре в каждом – и загрузил повозку. Сел на место ездового, легонько стегнул лошадей вожжами по бокам, ласково позвал: «Но-о!». Лошади с места не сдвинулись. Показалось, даже наоборот – уперлись. Ударить посильнее совесть не позволяла, младший сержант всегда жалел животных. Цирковые номера с участием зверей производили на него удручающее впечатление: живущих в тесных клетках млекопитающих заставляют на потеху зевакам выполнять действия, которые им совсем не нравятся.

Для отсрочки выполнения приказа имелась и более веская причина: Овдин понял, что один не справится. Лошади под обстрелом обязательно понесут, дорога – сплошные ухабы. Ящики для мин сколочены по-немецки экономно, без учета качества русских дорог, с большими просветами между тонюсенькими дощечками; мины еле держатся в хлипких креплениях и одна из них при тряске обязательно упадёт. Повозка загружена выше бортов, один из верхних ящиков, если их всю дорогу не прижимать, также имеет хорошие шансы свалиться на землю, и тогда...

Оставив лошадей, младший сержант быстро разыскал старшин, находившихся метрах в ста от оврага, в расщелине того же холма. Доложил своему, Иващенко, о полученном задании и обо всем случившемся при его исполнении.

- Клаву мы подстрахуем, связь с ней держим, - ответил старшина. – Начальству ты сам доложишь, когда доедешь. Ехать

надо двоим, но риск всё равно велик. Кто мешал эвакуировать лошадей до рассвета?

Эвакуировать, однако, приходилось сейчас. Выручил писарь первой роты Севрюков, вызвавшийся сопровождать повозку. Овдин сел впереди, мягко хлестнул лошадей и, призвав на помощь все свои познания в немецком языке, не слишком уверенно командовал:

- Троп-троп!

Лошади секунды две думали и неожиданно для «кучера» потихоньку тронулись с места.

- Останови! – крикнул старшина первой роты Бороденко.

- Нон! – также неожиданно нашел нужное слово Овдин и натянул поводья. Лошади стали.

- До чего ж евреи хитрый народ, - высказался старшина второй роты седоусый Карлаш, - он им «тпру-тпру» - они пошли, он им «но-о» - они встали!

Все, кроме Овдина, засмеялись.

- Правильно! – поддержал рослый красавец, старшина третьей роты Карташов, разжалованный из капитанов интендантской службы, по слухам, за соращение жены какого-то военачальника, - еврей, он все языки знает, вот и с немецкой конницей договорился. Нам, хохлам, так бы!

Никто не возразил.

- Не обижайся на них, скалозубив, воны без злобы, да и старше тебя вдвичи, - успокоил младшего сержанта Иващенко, но тот уже и сам это понял.

Бороденко продолжал свою мысль:

- Это звери, а не лошади. Их лишь бы кому доверять нельзя. Когда из орудий по ним вдарят, неизвестно, что они выкинут. Дорога вся в рытвинах, груз – хуже не придумаешь. Овдин – городской, да еще студент. Пусть вожжи возьмет Севрюков, он – селянин, к лошадям с люльки привычный!

Овдин и Севрюков поменялись местами. Писарь, не говоря ни слова, легко и уверенно стегнул лошадей и они не спеша стронулись с места и пошли, на подъеме наращивая скорость. Выехали из оврага и метрах в четырехстах впереди увидели деревню. Главная улица её, длиной около киломе-

тра, шла вправо, на юг, параллельно линии фронта. Деревню полк освободил к концу последнего дня успешного продвижения на запад. В этот день батальоны гнали немцев километров восемь-десять, деревню обошли слева и, повернув на север по полю и пойме ручья туда, где сейчас располагался медпункт Клавы Боровской, стали обходить врага. Фрицы драпанули, не успев поджечь деревню, где жителей уже не было. То ли их угнали, то ли они скрывались в окрестных лесах. От оврага к околице шла ухабистая луговая дорога, непонятно было, зачем она здесь нужна. По этой дороге и покатила повозка. Проехали метров сто, когда метрах в семидесяти справа разорвался первый снаряд. Лошади понеслись, Овдин вытянулся во весь рост, телом, руками и ногами удерживая прыгающие ящики с минами. Второй снаряд ударил чуть сзади и метрах в шестидесяти справа, лошади пошли ещё быстрее, ящики вместе с младшим сержантом прыгали ещё выше. Третий снаряд разорвался слева, метрах в пятидесяти от повозки.

«Вилка! – подумал Овдин, не приведи бог!»

Лошади без всякой команды перешли на галоп, а может быть, на карьер; полуторка, казалось, не могла бы ехать быстрее. Севрюков, не проявляя нервозности, опустил вожжи и дал волю лошадям, готовый, однако, немедленно включиться, если ситуация выйдет из-под контроля. Четвёртый снаряд ударил метрах в восьмидесяти справа и чуть дальше по ходу.

«Опять вилка, - подумал младший сержант, - господи, благослови!»

Лошади неслись, как только могли быстро, Овдин всем телом и растопыренными конечностями старался снизить амплитуду подскока ящиков, взлетая вместе с ними. Деревня быстро приближалась, но до неё было ещё метров сто. Сто, восемьдесят, шестьдесят, вот уже близок широкий проезд между крайним слева и всеми другими справа стоящими домами главной деревенской магистрали. Вот он уже - поворот дороги направо, переход её в деревенскую улицу. Последний снаряд разорвался метрах в тридцати левее и чуть сзади по-

возки, осколки просвистели мимо. Овдин понял – спасены! Вот-вот повозка с лошадьми окажется под прикрытием домов и приусадебных участков западной стороны деревни. В этот момент он увидел командира полка майора Елизарова с группой офицеров. Они стояли на другой стороне улицы, чуть слева от места, где дорога, совершая поворот, вписывалась в деревенский бродвей.

«Надо доложить», - решил Овдин.

Лошади без команды ездового на полном ходу въехали в деревню, повернули за угол под защиту дома и сразу замедлили шаг.

«Они умнее людей», - подумал Овдин.

Севрюков натянул поводья и остановил повозку.

- Езжай дальше, я доложу.

- Я тебя подожду, мало ли что.

Младший сержант не стал возражать. Подходя к командиру полка, он все больше смущался. Будь майор один – еще б ничего, но рядом с ним группа незнакомых офицеров, а поодаль, у стены ближайшего дома, на траве сидели и лежали человек восемь бойцов из роты автоматчиков.

«Где наша не пропадала», - подумал Овдин и начал:

- Товарищ майор, разрешите обратиться!

Майор, наблюдавший бешеную скачку, виду, однако, не подал.

- Обращайтесь!

Офицеры с интересом посматривали на Овдина (что за зверь?); автоматчики напряглись, не скрывая своей заинтересованности: доклад младшего сержанта мог повлиять на их дальнейшие действия. Поначалу сбивчиво, потом все более уверенно Овдину удалось рассказать о полученном приказе и сопутствовавших его выполнению неожиданностях. Майор слушал, не перебивая. В конце младший сержант попросил разрешения показать всё на карте.

- Карту я знаю наизусть, - отреагировал майор, - ваши предложения?

Овдин опешил. За восемь месяцев пребывания в армии он привык видеть другую картину: даже командиры невысоко-

го ранга болезненно реагировали на предложения подчиненных, в том числе дельные. Настаивая на своем, подчиненный всегда рисковал получить наказание. А здесь командир полка спрашивает у младшего сержанта даже не мнение, а предложение!

- Во избежание окружения батальонов на передовой методом ползучей экспансии, со стороны выгона необходимо выставить прикрытие, хотя бы полу-отделение автоматчиков. Медпункт первичной обработки раненых необходимо из поймы перенести в овраг, где опасность поражения от мин и осколков снизится в несколько раз. Левый фланг у нас также открыт, что может вызвать неуверенность у части личного состава. У меня всё, разрешите идти?

- Благодарю за службу. Ваши предложения учтём. Идите!

- Служу Советскому Союзу! – Овдин с облегчением повернулся через левое плечо и через несколько шагов перешел на бег. Лег на ящики с минами, повозка тронулась. Оглянувшись, заметил, как четверо автоматчиков из числа лежавших на траве, приближалась к группе офицеров, склонившихся над развернутой майором картой.

В хозвзводе повозку с лошадьми встретили с распростёртыми объятиями, и сразу же двое ездовых отправились с ней на позиции миномётной роты. Обед был готов. Заправившись, Севрюков ушел к старшинам. Овдин подзарядил диск автомата – шестьдесят четыре патрона, на два-три меньше максимума, зато надёжней: снижается риск возможного от тесноты заедания при стрельбе. Взял две из имевшихся у оружейного мастера, ведавшего также боепитанием, немецкие гранаты ударного действия с деревянной ручкой, позволявшей осуществить более дальний бросок, оставил одну из своих лимонок, бросил в вещмешок две хорошие горсти автоматных патронов и собрался уходить. В это время от помпоза полка вернулся командир хозвзвода старшина Полозов. Он видел игру со смертью нагруженной минами повозки и по достоинству оценил силовые и скоростные характеристики новоприобретённых рысаков. Крепко пожал земляку руку - старшина был также москвич, из района Нижних Котлов.

- Зайдем. По такому случаю не мешает...

Выпили по сто граммов. Овдин не отказался и от закуски: полтора года голодной (реже – полуголодной) жизни в эвакуации, в том числе около года студенческого существования вдали от родных на чужбине, сказывались до самой отмены карточной системы, до чего было еще очень далеко. Места в желудке всегда хватало. Узнав, что младший сержант собрался «домой», на передовую, Полозов его остановил:

- Пулеметы могут поступить ещё до вечера, один заберёшь сразу. До оврага довезём, а там Иващенко помощников найдёт.

Овдин прилёг в углу двора на солому и неожиданно заснул. Проснулся к закату солнца. Ужин был готов, повара ждали прихода старшин с помощниками, чтобы разлить по термосам и обед, и ужин для отправки на передовую. Пулемёты не поступили. Овдин поужинал и, чувствуя себя дезертиром, потопал на передний край напролом через поле, готовый в любую секунду приземлиться и пустить в ход автомат.

Он ещё не знал, что четверо автоматчиков, после его доклада командиру полка, скрытно обошли немцев, взобравшись вверх по обрыву со стороны ручья на край выгона с восточной стороны, открыли огонь вдоль выдвинутых немецких пулемётов. Уничтожили расчёт ближайшего, третьего, и заставили отойти расчёты второго и первого пулемётов. Угроза окружения батальонов справа была, по крайней мере на время, ликвидирована. Не знал он, что вдоль левого фланга выставлено прикрытие из отделения автоматчиков с двумя ручными пулемётами.

Добрался до передовой, когда стемнело совсем. Прошёл вдоль неё, останавливаясь у ячеек знакомых солдат, перекидываясь с ними двумя-тремя фразами. Постоял около изрытой ячейками огромной воронки – НП. Дежуривший там начальник штаба Первого батальона капитан Дубовой не обратил на него внимания.

«Хороший признак», - решил младший сержант, полагая, что его длительное отсутствие прошло без последствий. Старшины с термосами и ящиками с патронами еще не появлялись.

Овдин подходил уже к своей ячейке, когда увидел силуэт знакомой фигуры. Навстречу двигался Грачёв, старший сержант, в данный момент (свято место пусто не бывает) неформальный лидер оставшихся без офицеров воинов второго батальона. Неординарная личность, он и в полку считался авторитетом. В том числе и у офицеров среднего звена. Овдин сразу почувствовал: что-то произошло. Или затевается.

- Ты где пропадал-то? – начал Грачёв.

- Было дело, Семёнов поручил.

-Ну ладно, слушай...

Перед младшим сержантом постепенно вырисовалась идея. Наступление идёт восьмой день подряд, сейчас оно застопорилось. Немцы упёрлись и так просто хорошую оборонительную позицию не отдадут. Пополнений нет, оставшиеся бойцы трое суток топчутся на месте, спят урывками, измотанные. К обороне переходить приказа нет. Сейчас принесут обед с ужином, после них наступит сонное царство. Часовые даже стоя будут кемарить, чтоб не сказать больше. Фрицы за просто придут и уведут с собой пол-батальона. Такие случаи бывали. Или по-другому: накопятся в мёртвой зоне напротив нас, на левом фланге, сделают вылазку, перебьют всех, как щенят...

Мёртвая зона располагалась всего в сотне с пустяком метров от линии ячеек, со стороны немцев она простреливалась. Положение действительно неустойчивое. И неугомонный Грачев что-то придумал. Хорошее или плохое. Всего-навсего предупредить противника, самим сделать вылазку!

- А с Донсковым ты говорил? С Дубовым? С Семёновым? Что думает Мизин? И ваш старик Кондрашов?

- Ну и зануда же ты! Всё тебе что да как. Ладно, сообщу. Донскова нет. Семёнов днём был, до сумерек здесь покрутился, ушёл. Дубовой – хороший мужик. Он бы не запретил, но не хочется мне впутывать его в это дело. Сибирячок ваш (Мизин – понял младший сержант) не мычит, не вякает. Кондрашов – за. И многие наши. И ваши кое-кто. Ты-то как думаешь?

Овдин думал так же. Вот только чётко и ясно охарактеризовать обстановку, как сделал это Грачёв, ума не хватило.

Или боевого опыта. За оценкой ситуации должно следовать решение. Но как заставить себя, только что выполнившего нестандартное задание, добровольно впутаться в другое, на этот раз смахивающее на авантюру? Может, не лезть не в своё дело? Но Грачёв-то обязательно полезет. Уж, конечно, у него есть конкретный план. И люди за ним пойдут. Пусть «кое-кто», но это будут лучшие. Остаться в стороне? В случае успеха уважать перестанут. Больше того, с полупрезрением смотреть будут. А в случае неуспеха – как на филона. Если вылазка не состоится, а инициативу проявят немцы, случится худшее из возможного. Куда ни кинь... Овдин понял, что надо соглашаться и начинать планировать операцию. Хотя бы свои действия в основных вариантах.

- Ну, ты думай пока, а я пошел. Вот-вот обед принесут, а дел еще много...

Примерно через час Грачёв «втихаря» собрал своё войско, соблюдая конспирацию, отвёл его от передовой метров на сто пятьдесят в тыл и поставил задачу.

Овдин не переставал удивляться деловитости и энергии этого человека. Отслуживший в сороковом году срок младший командир Павел Грачёв вернулся домой и до войны работал бригадиром комплексной бригады колхоза-миллионера в Курской области. На фронте с первых месяцев войны. Почему ещё не офицер? Да ведь фортуна-то дама капризная, и характер у неё дурной – бабий. Овдин помнил, как ещё в мае, когда стояли в обороне, шёл набор на четырехмесячные армейские курсы младших лейтенантов. От каждой дивизии брали человек по двадцать – двадцать пять. От Первого батальона пошёл Олейник, шустрый старший сержант пройдошисто-полууголовного типа, работавший старшиной второй роты. От Второго батальона, конечно, Грачёв, кому же ещё. Олейник остался, а Грачёв через месяц с пустяком вернулся.

- Чему там можно научиться? – недоумевал он и развивал эту тему: - У них ни одного автомата, больше половины винтовок с рассверленными стволами, чтобы, не дай бог, не выстрелили. Хоть бы уж были модернизированные, тридцато-

го, так нет, старые, девяносто первого года. Ни миномёта, ни пушки, трофейного оружия ни одного образца, о танках я уж и не заикаюсь. На занятиях по тактике лейтенант-несмышлёныш такие откровения выдаёт, хоть плачь, хоть смейся: я это еще в полковой школе знал. Практические стрельбы – два раза из винтовки, по одному разу из «Максима» и «Дегтяря» за весь курс обучения. А что есть устав строевой, караульной службы и прочая тягомотина, – я их ещё до Халхин-Гола выучил назубок. А уж шагистики да прочей муштры – с подъема в шесть и до отбоя в одиннадцать. Да ещё по тревоге поднимут ночью несуществующий десант мосинскими трехлинейками истреблять в противогазах. Можно подумать. Ушел я оттуда, лучше уж на фронте – убьют, так убьют. Зато воли больше, дисциплина сознательней и харчи получше...

Сейчас Грачев начал как бы с середины. Чего тянуть? Предварительный разговор был с каждым из восьми добровольцев, сам – девятый.

- Боевое охранение немцев – в мёртвой зоне, метрах в ста – ста двадцати от передовой. Численность неизвестна. Климачёв только что оттуда, наблюдал, пока сидят тихо.

Климачёв, молодой рослый солдат, бывший партизан, молчаливо сидел здесь же, прижав к груди автомат.

- Двигаться будем по-пластунски, не спеша, без шума. Интервалы десять-пятнадцать метров. Я двигаюсь посредине. Приготовить гранаты.

Гранаты у всех были ударного действия, немецкие. Дистанционных, лимонок, Грачев не признавал: бросать если уж надо, то сразу, а не отсчитывать секунды. А поспешишь с броском – фриц успеет возвратит твою же игрушку обратно.

- Подберемся метров на пятнадцать, первым бросать буду я. После взрыва, не мешкая, но и не дёргаясь, а как следует и подальше, бросать всем. После взрывов по моей команде вскакиваем на ноги, бежим вперёд и открываем огонь короткими очередями. Охватывать весь сектор в своей полосе; если видна цель, бить по ней. В этом случае можно остановиться и даже лечь, чтоб точнее. А вообще, соображать и действовать по обстановке. Фрицы после первых же очередей дра-

панут, преследовать их впятером метров восемьдесят, почти до ручья. Остальные четверо, кому я раньше сказал, берут трофеи, языка, если будет, и обратно. Когда я брошу гранату и рявкну что-нибудь по-немецки, отходить всем на полной скорости. Из траншеи фрицы стрелять не будут, чтобы своих не побить, из минометов вряд ли ударят по той же причине. Вот и все, у кого есть вопросы?

Овдин был в числе пятёрки, преследующей фрицев. Вопрос был задан всего один – присутствовало одиннадцать человек, а не девять.

- Кондрашов с Потапкиным остаются. В случае чего, они знают, что делать.

- Поддержим вас, - объяснил Кондрашов, нужно будет, - прикроем!

Кондрашова, сорокадвухлетнего старшего сержанта, за глаза звали «стариком» и уважали, как человека основательного. Овдин и еще двое добровольцев приняли окончательное решение, узнав, что командовавший взводом ротных 50-миллиметровых миномётов усач примет участие в операции, как зам. по тылу. В повседневной жизни и в бою Кондрашов всем своим видом и поведением вселял в солдата уверенность, олицетворяя стабилизирующее начало. Пэтээровец Потапкин также пользовался авторитетом в батальоне.

Грачев еще раз проверил боеготовность добровольцев и скомандовал:

- Пошли!

Овдин, оказавшийся правофланговым, полз, до предела напрягая зрение, всем телом прижимаясь к тёплой земле. Ночь была тёмная, без луны. Изредка с немецких позиций на правом фланге взлетали ракеты, ещё реже - трассирующие очереди. Слева скорее угадывался, чем был виден бесшумно передвигающийся сосед. Не отстать бы. И не поспешить – Овдин уже раз чуть не вляпался в воронку. Ему казалось, что по времени они уже должны были бы доползти до рубежа атаки. Но участники операции ориентировались на ползущих посреди цепи Грачёва и находящегося рядом с ним «знающего дорогу» Климачёва. Они первыми должны были остано-

виться и дать сигнал для атаки. Но вот левый сосед, кажется, остановился. Овдин чуть подождал, снял с тыльной стороны правой руки автомат, приготовил гранату. Сердце громко стучало. Вот-вот будет дан сигнал!

Сигнал последовал совсем с другой стороны. Граната разорвалась справа и чуть спереди, метрах в тридцати – сорока. Кто-то коротко вскрикнул, последовал второй разрыв, сопровождаемый треском автоматной очереди. Ждать дольше было нельзя. Младший сержант рванул чеку и привскочил, замахнувшись, когда спереди и метрах в сорока слева разорвалась граната, очевидно, брошенная Грачёвым. Овдин что есть силы, стараясь взять повыше, бросил гранату и ничком упал на землю; перехватывая автомат, привел его и себя в предстартовое положение. Одна за другой с очень короткими интервалами рвались гранаты. Некоторые вспышки освещали на миг какие-то расплывчатые контуры, возможно, лежащие фигуры.

- За мной, б...! – рявкнул Грачёв, и все его бойцы, в том числе Овдин, рванулись вперёд. Услышав непонятные вскрики и топот ног, младший сержант дал две короткие очереди «на слух». Чуть сзади него просвистела пущенная справа автоматная очередь.

«Немцы», - дошло до младшего сержанта, неприятно остудив его наступательный порыв. Он упал носом вниз, мгновенно развернулся, оцарапав ребро ладони обо что-то острое на земле и выпустил очередь пуль на двенадцать-пятнадцать вправо и чуть назад, где, как ему показалось, одновременно с пролетевшей мимо него очередью вспыхивали огоньки. Подождав секунды две, дал туда же и чуть ниже ещё одну короткую очередь. Справа было тихо, слева – треск автоматных очередей и удаляющийся на запад топот ног. Овдин вскочил и, стараясь наверстать упущенное время, побежал вперёд, примерно через десять-двенадцать метров рассылая по своему сектору короткие очереди. Бежать было трудно, сказывался приобретенный еще в детстве аортальный порок сердца, из-за которого его в первые полтора года войны в армию не призывали. Задышавшись, младший сержант все-таки бежал

и время от времени стрелял, прикидывая в уме, сколько ещё в диске патронов осталось.

Вдруг он споткнулся обо что-то рыхлое и тяжёлое, падая наземь, с испугом сообразил: «фриц»! На лету резко поджал ноги, чтобы избежать захвата, повернул автомат влево, стараясь развернуться туда же. Не вышло, упал, ударился обо что-то твердое правым плечом. Немец не двигался. Встал, тронул его ногой – все было ясно. Метрах в двух-трех от себя увидел силуэт высокого солдата. По форме пилотки понял – наш. Это был левый сосед по цепи, молодой боец Злобин. Из первого батальона только они двое приняли участие в вылазке. Злобин прибыл в полк с новым пополнением за месяц до наступления. Сразу дал понять, что не новичок и обо всём имеет собственное мнение. Овдин слышал, что он побывал в оккупации, и у него какие-то личные счеты с немцами. Злобин входил в «трофейную команду», поэтому младший сержант, кивнув в сторону немца, сказал «здесь!». Одновременно наступил на предмет, о который ушибся, и ногой почувствовал – автомат. Нагнулся, поднял, повесил на левое плечо – пригодится. Пробежал метров двадцать, дал короткую очередь, прикинул: в диске еще патронов десять-пятнадцать. Решил оставить, как неприкосновенный запас. Закинул ППШ за спину, в руки взял «Шмайссер». Слева впереди разорвалась граната, кто-то голосом Грачёва крикнул «шнелль!» с явно русским акцентом. Дал очередь по своему сектору параллельно земле, повернулся и побежал назад.

Мало заметный уклон местности обернулся подъемом, отдышка усилилась, но снижать темп было нельзя: немцы могли открыть огонь в любую секунду, пойма с нашей стороны у них наверняка пристреляна. Добежал до лежащего немца, Злобина здесь уже не было. Над немецкой траншеей взлетела ракета, младший сержант бросился наземь, притих. Над нейтралкой закружились вихри трассирующих очередей, проносились они и над головой Овдина. Ракета погасла, очередей стало меньше. Вскочил, побежал. Засвистели и начали рваться мины, справа и спереди кто-то вскрикнул и выругался. Овдин пересилил себя и побежал на крик. Рвались мины,

пролетали очереди, сердце сильно билось. Казалось, оно разрослось и занимало всю грудь. Понял, что раненого он не дотащит. Вдруг увидел вблизи силуэт пригнувшегося солдата, с ним рядом лежал другой, стонавший на каждом выдохе. Овдин подошел.

- Подсоби, - сказал пригнувшийся, это был Климачёв. Он обнял лежащего выше пояса и приподнял. Овдин взял раненого за ноги, бывший партизан ловким движением перевалил его себе на спину и быстро пошёл. На шее у него висело два автомата. Раненый старался приглушить стоны, но это ему плохо давалось.

- Терпи! – подбодрил его неунывающий Климачёв и пошёл быстрее, переходя на бег трусцой. Овдин отбежал на несколько метров в сторону и, борясь с одышкой, также, как только мог быстро, зашагал к линии наших ячеек. Миномётный огонь неожиданно прекратился, интенсивность пулемётно-автоматного снизилась почти до нуля. Овдин и опережавшие его Климачёв с раненым почти достигли нашей передовой, когда послышался свист и мины, как горох, посыпались на расположение Второго батальона. Ещё немного усилий, и младший сержант нырнул в свою ячейку.

Разрывы мин и снарядов покрыли между тем линию обороны на всём её протяжении. Включились в бой наша артиллерия и минометы. Овдин потерял из вида Климачёва с раненым, не знал, успели ли другие участники вылазки выйти из-под обстрела и чувствовал некоторую долю своей вины в этом. Он ещё не знал, что остальные солдаты при отходе значительно опередили его – сказались преимущества нормально здоровой сердечно-сосудистой системы. Наша артиллерия, поначалу ударившая по немецкой траншее, через пару минут перенесла огонь в тыл врага, чем облегчила немцам розыски на нейтралке своих раненых и убитых.

У нас из ячеек нельзя было высунуться: артиллерийско-миномётный налёт был полномасштабным. Младший сержант вспомнил, что так и не проверил на обратном пути, кем была брошена первая граната и кто стрелял по нему справа. Дыхание постепенно восстанавливалось. Сильно хотелось

пить. Сделав один глоток, закрыл фляжку и некоторое время боролся с собой. Сделал второй и решительно закрутил крышку.

Пулемётная перестрелка в центре и на правом фланге постепенно затихала, еще минут через пять прекратился перенесенный чуть ранее в тыл артиллерийско-миномётный обстрел. Младший сержант еще минут десять переждал, затем пошёл искать своих. Темнота как будто ещё больше сгустилась, луна и не думала выходить. Увидел в нескольких метрах от себя силуэты солдат, подошёл. Двое подняли носилки с раненым и направились в тыл. С ними пошёл третий. Кондрашов остался стоять и вопросительно посмотрел на Овдина.

- Вы не знаете, где Грачёв? – спросил младший сержант.

«Старик» кивнул в сторону нейтралки.

- Пошли с Климачёвым смотреть, кто там до времени гранатами швырялся. И пустил очередь по вам. Думали, уж не ты ли, но я их убедил в абсурдности предположения. Пошли к Мизину – его участок. Сначала проверяют сами. Ты в разведках боем до этого участвовал?

- Нет, - ответил Овдин.

- Для первого раза, сойдет. В следующий сработает лучше, - заключил Кондрашов. – А сейчас иди, отдыхай.

Но Овдину было не до отдыха.

- Потери у нас большие? – спросил он.

- Двое раненых, один – из вашей команды. А в центре и на правом фланге – больше. Человек пять примерно.

Не знал Овдин, что после проведенного Грачёвым совещания Кондрашов с Потапкиным обошли все ячейки и щели второго батальона. Все спящие были разбужены. Приказано было из ячеек не высовываться и не стрелять, находиться в полной боевой готовности. Этим в значительной мере объясняются относительно малые потери на левом фланге.

Кондрашов думал о своём. Всё, кажется, сделано. Посты расставлены, раненые отправлены. Дежурить будет Потапкин, он и произведёт очередную пересменку. Напряжение последних часов постепенно спадало, от сердца отлегло. Не

давала покоя одна мысль. Всё у них с Грачёвым было продумано. За полтора года на фронте он, потомственный крестянин, насмотрелся такого, чего в мирной жизни за полсотни лет не увидишь. Хорошо знал, на какую подлость и коварство способны немцы, когда у них недостаток в людях и нет превосходства в технике. На какие только тактические хитрости они не идут, сразу-то и не разгадаешь. Поэтому без колебаний согласился на проведение задуманной Грачёвым упреждающей операции. Отлично представляя меру ответственности, которую разделит с товарищем. Особенно в случае неудачи.

Проще всего было, ничего не предпринимая, положиться на авось. Но это – признание собственной несостоятельности как командира. Или плохо прикрытая разновидность лени, что ещё хуже. Не простил бы себе, если б вылазку произвели немцы, пусть бы даже остался жив и не попал под трибунал... Команда Грачёва по всем признакам была обречена на успех. Но опыт подсказывал: редко какая операция проходит без неожиданности. Как всегда, случайной. Вот и сейчас – встрял какой-то анчутка, две гранаты запустил, стрельбу открыл. Наш этого сделать не мог. «Старик» знал, что у Грачёва с Мизиным разговор может не получиться: когда стояли в обороне, они по-крупному поцапались. Без причины, как молодые петухи. Взглянув на приближающихся Мизина и его друга, связиста Сизых, Грачев отдал строгий приказ:

- Сибиряков и контру не пускать. Они и так дюже горячи и терпячи.

На что скуластый чалдон, который не смеялся вообще, а улыбался раз в год, отреагировал адекватно:

- А курсаки все – изменники Родины!

Опешивший старший сержант только и смог вымолвить:

- Ах ты, Юрга окаянная!

Поэтому Кондрашов не поленился, после Грачёва сам пошел к соседу. Сибиряк пообещал твердо, что его люди будут сидеть тихо и, готовые ко всему, сами стрельбу не откроют, а в бой войдут только при неудаче в случае необходимости. Так что соседи здесь ни при чём. Левофланговые немцы заметили Овдина? Он их «не упустил»? Не похоже, поведение

его было б другим. Не находя объяснения, Кондрашов решил выяснение причины неожиданности, чуть не сорвавшей операцию, отложить. Придёт Грачёв – возможно, появятся новые факты. Овдин спать не идет, что-то еще узнать хочет, дотошный. Да спросить стесняется.

Овдин все-таки спросил:

- Как думаете, попадёт нам?

Кондрашов про себя усмехнулся, но виду не подал. Знает ведь солдат, что ему-то ничего не будет, а беспокоится. Интеллигенция. Вот и хорошо, чувство ответственности, значит, есть. Вслух сказал:

- Думаю, попадёт. Кому надо, сделают внушение. Возможно, и по партийной линии. Все-таки человек семь убитых и раненых, десятая часть личного состава. Потери немцев не в счёт – это уж их забота. Но перемелется - мука будет. Дальше фронта не угонят. Грачёву, да и мне меньше взвода не дадут... Приказываю тебе идти спать.

- Я все-таки хотел бы дождаться Грачёва, - осмелел Овдин. Он уловил хорошее настроение обычно строгого и немногословного «старика». Раз уж Кондрашов снизошел до подробных объяснений, значит считает операцию успешной.

Хотелось узнать что-нибудь ещё.

- Грачёв после разговора с Мизиным пойдёт докладывать комбату, связной от него уже прибежал.

Овдин дошел до своей ячейки, лёг и уже собирался заснуть, когда над ним появился из темноты силуэт солдатской головы в пилотке.

- Сержант, ты что ж, фрица завалил, да так и оставил? Хоть бы слово кому замолвил. Грачёв вернётся - еще тебе пару ласковых скажет. Хорошо хоть операцию сорвать не дал! - Климачёв был явно в хорошем настроении, - держи трофей!

В руках Овдина оказался широкий ремень с увесистой пряжкой, надпись на которой гласила: «Gott mit uns» - с нами Бог! На ремне висел короткий обоюдоострый кинжал типа «Гитлерюгенд».

- Не спи, завтра тоже будет ночь. И послезавтра, успеешь, выпишься. А пока живы, идем, мы там кое-чем разжились!

Овдин и Климачёв прошли метров сто пятьдесят и сели рядом с другими участниками вылазки, расположившимися вокруг сложенной вчетверо плащ-палатки, над которой возвышалась покрытая платком горка. Ждали командиров. Овдин узнал, что «завалили» пять фрицев, шестого «завалил» он.

- Писарь первой роты Севрюков накопал где-то молодой картошки, - рассказывал Климачёв, которого Грачёв после разговора с Мизиным и Севрюковым, направляясь на НП, вернул «домой». – Сварил ее в мундирах, набил полный термос и пошёл на передовую угощать роту и других, кто попадётся, после ужина на десерт. Да прошёл мимо и к фрицам чуть было не явился тёпленьким. Да они сплеховали...

- Правильно сделали. На хрена им картошка вместе с таким благодетелем, когда бутерброды с маргарином и консервы есть, - перебил его один из солдат. – С салом надо было идти и с яйками!

- Крайний гранату бросил, - продолжал рассказ Климачёв, - вторую, очередь дал. А потом по тебе, сержант, - последовал кивок в сторону Овдина, - и по всем нам, но с промедлением. Писарь в это время драпанул, шинель у него в двух местах осколками пробита. Зачем он её одевал? В термосе тоже дырки и вмятины...

«Хорошо, что я его сразу, - подумал Овдин, - повезло. Чем бы закончилась операция, если бы...»

- Ты не оплошал, выручил, - Климачёв был в ударе, - и нас, и растяпу этого.

- Севрюков – деловой солдат, - заступился за писаря младший сержант, - сегодня днём он мне здорово помог в одном деле. А сейчас... - и на старуху, бывает, блажь находит.

- Значит, вы теперь квиты. А блажить он больше не будет!

Над «линией соприкосновения», как её называют в штабах, стояла темень и тишина. Изредка в центре и на правом фланге из немецкой траншеи взлетали ракеты, освещая часть нейтралки, лениво стрекотали пулемёты. Солдаты не забывали бросать пристальные взгляды в сторону противника. Немец теперь не сунется, но и сам не плошай!..

Грачёв спустился в воронку, где находился батальонный

КП. Капитан Донсков передал телефонную трубку дежурному связисту и тяжелым взглядом окинул старшего сержанта.

- Докладывайте!

Грачев коротко и ясно доложил о плане операции, о его выполнении и результатах. Донсков помолчал.

- Значит, выручил батальоны, предотвратил агрессию. Немцев попугал. У меня всего-то полурота осталась, а из-за тебя еще шесть человек, как корова языком. А если завтра прикажут продолжить наступление? Почему с Дубовым не посоветовался? Почему мне не позвонил? И кто все-таки здесь командует?

Капитан выдал еще несколько фраз в том же тоне и с тем же напором. Нельзя сказать, что Грачёв был к этому не готов.

- Дубовой предложил бы дожидаться вас, его дежурство кончалось. Вы запаздывали, а дальше тянуть было нельзя. Группа задачу выполнила, очистила мёртвую зону от сконцентрировавшегося там с неизвестной целью противника. Потери – один раненый...

- Тяжело! – перебил Донсков.

- Остальные потери батальоны понесли непосредственно на передовой от огня орудий и миномётов. Подзабыли братцы славяне, что на войне стреляют, и далеко от ячеек отходить нельзя.

- А кто спровоцировал огонь орудий и миномётов?

- Огонь мог быть вызван и другими причинами. И даже без них. Явление непредсказуемое.

- Говорить ты научился. Хоть сейчас в политруки. Скажи лучше, когда прекратишь партизанить? Или прямо сейчас на тебя материал в трибунал оформлять?

- Оформить, конечно, в вашей власти. Только операция диктовалась соображениями, которые вам известны. Больше того, вытекала из сложившейся обстановки. Многие сержанты и солдаты были за ее проведение...

Конечно, капитан все это хорошо знал и понимал. И неизвестно, как бы поступил, окажись на месте Грачёва. Только за батальоны несёт ответственность он. И начальство, не вдаваясь в мотивы действий, предположения, соображения и

всякие там условно-сослагательные наклонения типа «если бы», спросит с него за действия, последствия и результаты. А они-то выглядят не ахти как. Вот и крутись...

- Решили, значит, - произнёс он вслух. – На профсоюзном собрании или на колхозном? Армия здесь или клуб трёх мушкетеров? Не понимаю, как мог Кондрашов послушать тебя, негодяя!..

Грачёв про себя ухмыльнулся и внутренне приосанился.

... - А этот вольноопределяющийся вообще опозорил меня перед начальством. Пронюхал, что немцы ведут разведку на фланге, - и скорей командиру полка докладывать. Без всякой субординации. Ну ладно, доложил, так поставь в известность непосредственных начальников. Нет, пошёл в хозвзвод, там подвыпил, вернулся сюда и сразу в авантюру полез, еврей хренов. Образованный, вроде, мог бы сообразить...

Грачёв уже сообразил: гроза, кажется, проходит, надо увести разговор в сторону.

- Товарищ капитан, что-то я Абрама вашего не вижу. Вчера утром был...

- Зубы заговариваешь, увильнуть от наказания хочешь?

- Я действовал по совести и обстановке. И насчет ответственности отчёт себе отдавал.

- О совести лучше бы помолчал. Насчет ответственности завтра посмотрим. Абрама Кабанова ранило вчера. Овдина ты с ним не равняй. Двое у меня было таких, как ты, но без твоих выкрутасов. Серьезные люди. Один остался.

- Мизин, Рыжков?

- Рыжков. Мизин тоже ничего, подросток малость. Будет из него толк, если не... Отсебятину он бы пороть не стал.

- Абрама жаль. А про Овдина вы зря, с теми немцами он один вел бой. Командиру полка доложил, потому что случайно на него наскочил. И времени не было – нас могли окружить. Севрюков к нему присоединился и после выполнения задания, порученного Семёновым Овдину, сразу вашему заму доложил, вы со старшим лейтенантом просто разминутись. Овдин ещё кое-что собирался майору сообщить, да в последний момент испугался.

- ?!

- А я бы доложил. Чтоб ваш НП разогнал!

- Что?!!!

- В открытой воронке у вас и выносной КП – командный пункт, и НП, и артрязведка. Всегда здесь человек пять, как минимум. Из тыла к вам туда и обратно связисты бегают, вдоль фронта тоже идет движение в оба конца. А у немцев – цейсовские бинокли. Не дураки же там сидят. Сотню мин не пожалеют, а тут и одной хватит, чтобы... прощай, Родина!.. Миномётчики что у нас, что у них, насобачились, две-три мины пустят, глядишь – уже вилка. Четвертая, пятая – куда надо... Дорого может обойтись.

Капитан помолчал. Который раз уже думал об этом, но всё откладывал из-за набегавших более срочных дел.

- Знаю, да некогда. Руки до всего не доходят. Да русский авось... Ты писем из дому не получал? Получил? Что пишут?

- Одно получил, все живы. Село целехонькое, обошлось. Быка у бати немцы забрали, другую живность не тронули, повезло. Примерно то же у сестры. От зятя писем нет. А вы еще не писали?

- Писал, но не уверен, что уже освободили. Надеюсь, это вопрос дней.

В полку мало кто знал, что комбат Донсков и командир взвода Грачёв – земляки и в мирное время могли бы ездить друг к другу в гости хоть на лодке по большой реке, левому притоку Днепра. После битвы на Курской дуге, когда фронт пришел в движение, оба с тревогой и надеждой ждали освобождения своей малой родины. У Донскова заявление о предоставлении отпуска лежало в кармане, Грачёв сдал его в штаб и ждал решения. Еще несколько фраз, и бурно начавшийся разговор завершился довольно мирно.

Грачёв возвращался от комбата в хорошем настроении и думал уже о повседневных делах. Овдина надо было б шугнуть, чуть немца не упустил. Ему бы залечь да прикрыть нас справа, а он дальше попёрся. Будь фриц поудачливее, мог бы всех нас одной очередью... Да и я тоже хорош – не дал

указаний насчёт флангов... Грачёв подошел к группе ожидавших его солдат и молча присел у расстеленной плащ-палатки. Лица людей просматривались с трудом, в напряжённых позах застыл немой вопрос.

- Всем вам благодарность от комбата за смелость и отвагу. Всегда так воюйте!

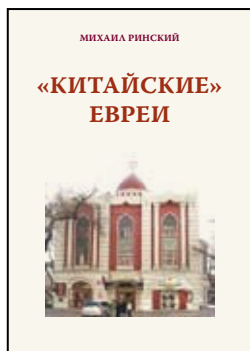
Солдаты встретили сообщение с удовлетворением, но довольно сдержанно.

- Насчёт меня еще неизвестно, что скажет командир полка. Думаю, обойдётся. Сидякина жаль, ранило. Надо узнать адрес у старшины и письмо написать ему домой. А сейчас будем вечерять. Климачёв, ты самый молодой, сбегай за Кондрашовым и Потапкиным...

На другой день поздним утром Овдин, скособочившись, с вещмешком за спиной и с автоматом на шее уходил в тыл, в санроту, санбат, госпиталь. Осколок снаряда попал в левую часть грудной мышцы и вылетел подмышкой. Тогда, надеясь месяца через полтора вернуться в свою часть, он ещё не знал, что родной полк, дивизия и все друзья-однополчане тоже уходят от него. Навсегда, в прошлое... А родной для него станет бывшая правая соседка, 385-я стрелковая дивизия. А уж после нее – 5-я мотострелковая бригада 5-го танкового корпуса...

Иосиф Один. 1995 год.

В 2010-2012 годах фирма SHLOMO LEVY LTD выпустила на русском языке четыре книги МИХАИЛА РИНСКОГО об интересных, сильных духом русскоязычных израильянах – репатриантах из стран СНГ и других стран и об их семьях.



Очерки об отважных евреях - первопроходцах в Китае, семьи которых объединяет Ассоциация евреев – выходцев из Китая.



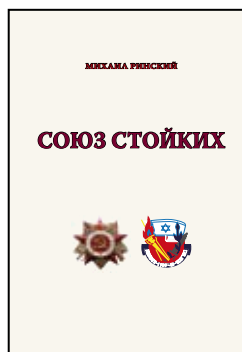
О легендарном старшем сержанте СССР, полковнике Польши и генерале Израиля Романе Ягеле.



Повести и очерки о самом тяжёлом и кровавом XX веке (1900-1960): о судьбе семьи автора, о двух Мировых войнах, о «делах» космополитов и врачей, о похоронах Сталина. Фестивале-57, о Е. Евтушенко и многом другом.



Очерки о трагедии белорусских евреев и их героической борьбе с нацистами в дни войны, их вкладе в возрождение Беларуси и затем – в борьбу за создание, оборону и развитие Израиля.



Очерки о волевых людях – членах Всеизраильского союза воинов и партизан – инвалидов войны с нацистами.

Потом было (1961 и далее...)



Ринские бабушка
Бася, Тамара
и, Михаил и
Сашенька, 1964 год

Тамара Ринская,
Аркадий и Лия Роммы,
Воронеж, 1960-е годы



Ринские Тамара,
Михаил и Александр,
примерно 1980 год

В доме Ринских всей
семьей и гостями
- тётёй Фридой из Лос-
Анджелеса, 1960-е годы





Илюша и Наташа Ринские,
дети Вадима и Светланы,
примерно 1986 год

Вадим и Ольга, Александр
и Наташа в доме отца.
Примерно 1994 год



Папа и мама Вадим и Ольга
с Беллочкой. !998 год



Вадим с Илюшей и Наташей у
нас в гостях, С ними - Тамара.
Примерно 1992 год



Мы с внучкой Лерочкой,
1993 год



Дачу я построил в начале
1990-х. На фото - Александр с
машиной



Комплекс
Строительной
академии,
я - один из
авторов
проекта. 1980-е
годы



Папа Александр
и дочка Лерочка.
Примерно 2009 год



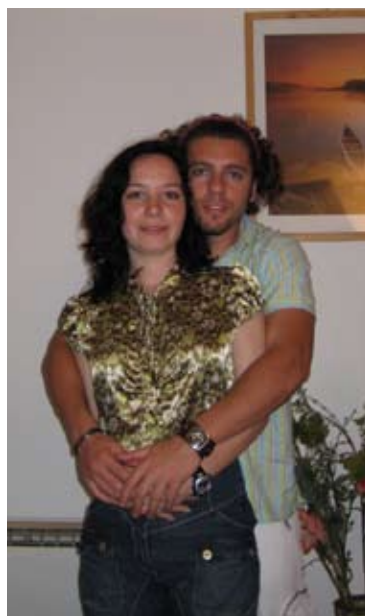
Израиль. Наша с Лией семья



Это мы с Лией в наши дни, когда точная дата не так важна



Шалом, Инна и Мейталь. Примерно 2000-й год



Павел и Саша Роммы. 2011 год

Михаил Ринский
ТЯЖЁЛЫЙ XX ВЕК
СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение	3
Лазарь Данович. Время, прошедшее сквозь сердце.	4
О себе и по себе. Вместо предисловия автора.	7
Часть 1. Тяжёлый век. 1900-1941.	14
В украинской глухомани	15
Семья лесоторговца	15
Семья переплётчика	17
«Дэр идишер бандит»	18
Первая война Матвея	20
От Мировой к гражданской	22
Трагедия	23
Цузамэн – вместе.	25
В Москве	27
В коммуналках и подвалах	29
Москва, НЭП, 1929-й. Один вечер семьи.	30
Традиции	37
«Ограничение и вытеснение»	38
Москва, сентябрь 1939-го. Один день семьи.	40
Ветви Ринских	51
Американская ветвь Одиных	52
Часть 2. Вторая Мировая война. 1941-1945.	56
Москва, июнь 1941-го. Один день семьи.	57
Вторая мировая. Вступление.	66

Война глазами мальчишки. Повесть.	68
Вместо предисловия.	68
Начало	69
Отец	75
Осень 1941-го.	81
Эвакопоезд	91
Эвакуация. Начало	98
Минусинск. Первые дни и первые уроки	106
Злоключения семьи Одиных	116
Первая военная зима	121
Похоронная	124
И зимой не скучали	128
Весенние надежды	131
Отец жив!	137
Переезд	141
Трагедия семьи Абросимовых	145
Детские будни	149
Тяжёлая зима 1943-го	154
Старшая сестра Рая	158
Возвращение	164
Мы – дома!	168
Последний год войны	171
Война и школа	174
Дети Подмосковья – 1945	177
Радости и слёзы	179
Победа	186
Вместо заключения повести	188
Часть 3. После войны (1945-1960)	191
Шлейф войны	192
Мы после войны (1945-47 годы)	195
В старших классах (1947-50 годы)	200

Дела семейные, и не только	214
Трагедия отца (1949-54 годы)	217
Мои университеты	228
«Учил идти по людям он» . Рассказ очевидца.	240
В российской глубинке	249
Любовь и разлука	265
Диплом и распределение	272
Первый трудовой и жизненный этап	276
Фестиваль - 1957	279
«Любовная лодка разбилась о быт»	292
Моя мама	297
 Часть 4. Экскурс в 1960-е годы.	 303
 Экскурс в шестидесятые	 304
Моя сестра Клара Одина	305
Мой племянник Дима Выголко-Один	311
Мой брат Иосиф Один	321
Американская ветвь Одиных после войны	330
Евгений Евтушенко: «Чтобы слово «жид» навек исчезло»	333
Прощание с подмосковным местечком	347
Иосиф Один. Три рассказа.	355
Иосиф Один. Три дня пулемётчика. Повесть	364
Потом было (1961 и далее...) см. вкладку цветных фото	403

Контактный телефон автора: +972 (0)54 5529955
e-mail: mikhael_33@012.net.il, rinmik@gmail.com

Printed in Tel-Aviv, Israel 2012
 Print: Shlomo Levy Ltd. 052-5471060